



А.Стругацкий
Б.Стругацкий

Понедельник
начинается в субботу.
СТРУГАЦКИЕ
О ТРОЙКЕ.

фантастические
повести

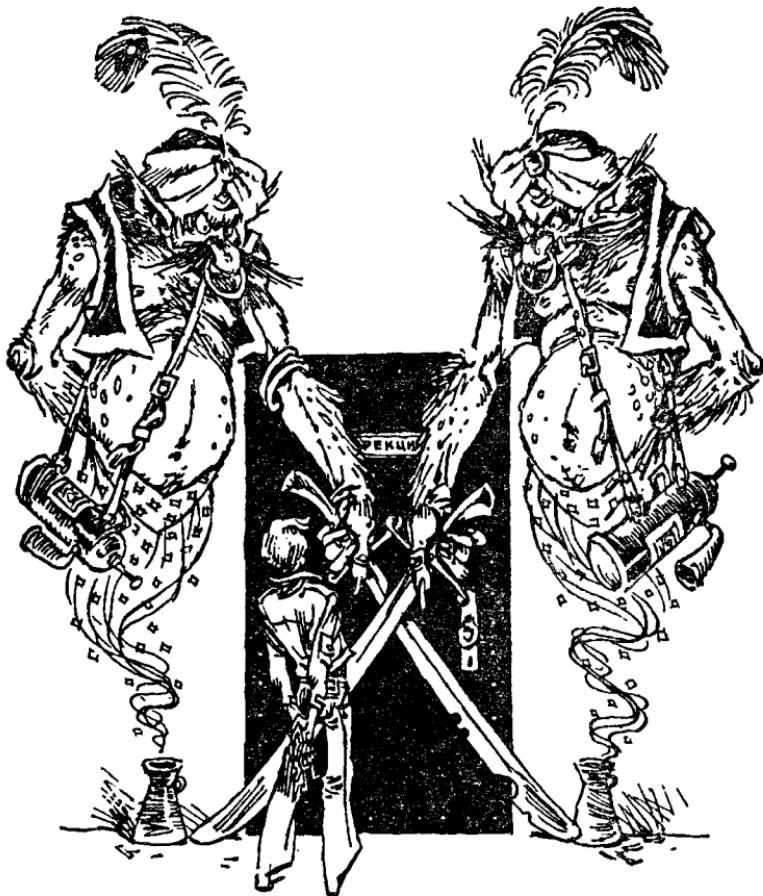
Текст переработанный авторами, впервые публикуется полностью, без искажений, допущенных в свое время партийно-художественной цензурой

Специально для этого издания художник Евгений Мигунов создал иллюстрации к «Сказке о Тройке», а известные каждому любителю фантастики рисунки к «Понедельнику...» им обновлены и дополнены

**Понедельник
начинается
в субботу**



*Сказка
для
научных
сотрудников
столичного
возраста*



Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты, признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю.

Н. В. Гоголь

История первая



СУЕТА ВОКРУГ ДИВАНА

Глава первая

Учитель: Дети, запишите предложение: «Рыба сидела на дереве».

Ученик: А разве рыбы сидят на деревьях?

Учитель: Ну... Это была сумасшедшая рыба.

Школьный анекдот

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокою. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры.

Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немногого старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглую горбоносое лицо и спросил, улыбаясь:

– Вы нас не подбросите до Соловца?

Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди.

– Давайте садитесь, – сказал я. – Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло на заднем сиденье.

– Благодетель! – обрадованно произнес горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мной.

Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал:

– А можно, я здесь немножко того?..

Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между коленей.

– Дверцу прикройте получше, – сказал я.

Все шло, как обычно. Машина тронулась. Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался и все хлопал и хлопал дверцей. «Плащ подберите, – посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида. – У вас плащ защемляется». Минут через пять все, наконец, устроилось. Я спросил: «До Соловца километров десять?» – «Да, – ответил горбоносый. – Или немножко больше. Дорога, правда, неважная – для грузовиков». – «Дорога вполне приличная, – возразил я, – Мне обещали, что я вообще не проеду». – «По этой дороге даже осенью можно проехать». – «Здесь – пожалуй, но вот от Коробца – грунтовая». – «В этом году лето сухое, все подсохло». – «Под Затонью, говорят, дожди», – заметил бородатый на заднем сиденье. – «Кто это говорит?», – спросил горбоносый. – «Мерлин говорит». – Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. «Фабрика Клары Цеткин, – сказал горбоносый, разглядывая пачку. – Вы из Ленинграда?». – «Да». – «Путешествуете?». – «Путешествую, – сказал я. – А вы здешние?». – «Коренные», – сказал горбоносый. «Я из Мурманска», – сообщил бородатый. – «Для Ленинграда, наверно, что Соловец, что Мурманск – одно и то же: север», – сказал горбоносый. «Нет, почему же», – сказал я вежливо. «В Соловце будете останавливаться?» – спросил горбоносый. «Конечно, – сказал я. – Я в Соловец и еду». – «У вас там родные или знакомые?» – «Нет, – сказал я. – Просто подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас – точка рандеву».

Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал: «Держитесь крепче». Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взревывал, камни били в днище. «Бедная машина», – сказал горбоносый. «Что делать...», – сказал я. «Не всякий поехал бы по такой дороге на своей машине». – «Я бы поехал», – сказал я. Россыпь кончилась. «А, так это не ваша машина», – догадался

горбоносый. «Ну, откуда у меня машина! Это прокат». – «Понятно», – сказал горбоносый, как мне показалось, разочарованно. Я почувствовал себя задетым. «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта». – «Да, конечно», – вежливо согласился горбоносый. «Глупо, по-моему, делать из машины идола», – заявил я. «Глупо, – сказал бородатый. – Но не все так думают». Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это «Газ-69», но их, к сожалению, не продают. Потом горбоносый спросил: «А где вы работаете?» Я ответил. «Колоссально! – воскликнул горбоносый. – Программист! Нам нужен именно программист. Слушайте, бросайте ваш институт и пошли к нам!» – «А что у вас есть?» – «Что у нас есть?» – спросил горбоносый, поворачиваясь. «Алдан-3», – сказал бородатый. «Богатая машина, – сказал я. – И хорошо работает?». – «Да как вам сказать...». – «Понятно», – сказал я. «Собственно, ее еще не отладили, – сказал бородатый. – Оставайтесь у нас, отладите...». – «А перевод мы вам в два счета устроим», – добавил горбоносый. «А чем вы занимаетесь?», – спросил я. «Как и вся наука, – сказал горбоносый. – Счастьем человеческим». – «Понятно, – сказал я. – Что-нибудь с космосом?». – «И с космосом тоже», – сказал горбоносый. «От добра добра не ищут», – сказал я. «Столичный город и приличная зарплата», – сказал бородатый негромко, но я услышал. «Не надо, – сказал я. – Не надо мерять на деньги». – «Да нет, я пошутил», – сказал бородатый. «Это он так шутит, – сказал горбоносый. – Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет». – «Почему вы так думаете?». – «Уверен». – «А я не уверен». Горбоносый усмехнулся. «Мы еще поговорим на эту тему, – сказал он. – Вы долго пробудете в Соловце?». – «Дня два максимум». – «Вот на второй день и поговорим». Бородатый заявил: «Лично я вижу в этом перст судьбы – шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены». – «Вам действительно так нужен программист?», – спросил я. «Нам позарез нужен программист». – «Я поговорю с ребятами, – пообещал я. – Я знаю недовольных». – «Нам нужен не всякий программист, – сказал горбоносый. – Программисты – народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный». – «Да, это сложнее», – сказал я. Горбоносый стал загибать пальцы: «Нам нужен программист: а – небалованный, бэ – доброволец, цэ – чтобы согласился жить в общежитии...». – «Дэ, – подхватил бородатый, – на сто двадцать рублей». – «А как насчет крыльшечек? – спросил я. – Или, скажем, сияния вокруг головы? Один на тысячу!». – «А нам всего-то один и нужен», – сказал горбоносый. «А если их всего девятьсот?». – «Согласны на девять десятых».

Лес расступился, мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. «Девять часов, – сказал горбоносый. – Где вы собираетесь ночевать?». – «В машине переночую. Магазины у вас до которого часа работают?». – «Магазины у нас уже закрыты», – сказал горбоносый. «Можно в общежитии, – сказал бородатый. – У меня в комнате свободная койка». – «К общежитию не подъедешь», – сказал горбоносый задумчиво. «Да, пожалуй», – сказал бородатый и почему-то засмеялся. «Машину можно поставить возле милиции», – сказал горбоносый. «Да ерунда это, – сказал бородатый. – Я несу оклесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитие-то пройдет?». – «Да-да, черт, – сказал горбоносый. – Действительно, день не поработаешь – забываешь про все эти штуки». – «А может быть, трансгрессировать его?». – «Ну-ну, – сказал горбоносый. – Это тебе не диван. А ты не Кристобаль Хунта, да и я тоже...».

– Да вы не беспокойтесь, – сказал я. – Переночую в машине, не впервые.

Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже четыре ночи спал в спальном мешке.

– Слушай, – сказал горбоносый, – хо-хо! Изнакурнож!

– Правильно! – воскликнул бородатый. – На Лукоморье его!

– Ей-богу, я переночую в машине, – сказал я.

– Вы переночуете в доме, – сказал горбоносый, – на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить...

– Не полтинник же вам совать, – сказал бородатый.

Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полузнакомое слово «лабазы». Улица была прямая и широкая, и называлась проспектом Мира. Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками.

– Следующий переулок направо, – сказал горбоносый.

Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький «Запорожец». Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно: «ул. Лукоморье». Он был неширок и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты.

— Стоп, — сказал горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. — Теперь так, — сказал он, потирая нос. — Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою.

— Да, право, не стоит, — сказал я в последний раз.

— Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке. Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уж феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пуд весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами:

**НИИЧАВО
ИЗБА НА КУРИНЫХ НОГАХ
ПАМЯТНИК СОЛОВЕЦКОЙ СТАРИНЫ**

На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка: «ул. Лукоморье, д. 13, Н. К. Горыныч», а под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами вкривь и вкось:

К О Т Н Е Р А Б О Т А Е Т

Администрация

— Какой КОТ? — спросил я. — Комитет Оборонной Техники?

Бородатый хихикнул.

— Вы, главное, не беспокойтесь, — сказал он. — Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке.

Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах умашивался, пристраиваясь поудобнее, гигантский — я таких никогда не видел — черно-серый, разводами, кот. Усевшись, он съто и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. «Кис-кис-кис», — сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубастую пасть, издал сиплый горловой звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Оттуда, из-за забора, голос горбоносого произнес:

— Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить. Завижжал засов. Кот поднялся и бесшумно канул во двор.

Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо горбоносого.

— Благодетель! — позвал он. — Заезжайте!



Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширный, в глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева, посередине лужайки, возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мохом.

Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал прилагивать рюкзак.

— Вот вы и дома, — сказал он.

Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота, я же, чувствуя себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать.

— А вот и хозяйка! — вскричал бородатый. — По здорову ли, бабушка Наина свет Києвна!

Хозяйке было, наверное, за сто. Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее было темно-коричневое; из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза были бледные, тусклые, словно бы закрытые бельмами.

— Здравствуй, здравствуй, внучек, — произнесла она неожиданно звучным басом. — Это, значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать!..

Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями атомиума и с надписями на разных языках: «Международная выставка в Брюсселе». На подбородке и под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье.

— Таким вот образом, Наина Киевна! — сказал горбоносый, подходя и обтирая с ладоней ржавчину. — Надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Позвольте вам представить... М-м-м...

— А не надо, — сказала старуха, пристально меня рассматривая. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот тридцать восьмой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, бриллиантовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый...

— Гхм! — громко сказал горбоносый, и бабка осеклась. Воцарилось неловкое молчание.

— Можно звать просто Сашей... — выдавил я из себя заранее приготовленную фразу.

— И где же я его положу? — осведомилась бабка.

— В запаснике, конечно, — несколько раздраженно сказал горбоносый.

— А отвечать кто будет?

— Наина Киевна!.. — раскатами провинциального трагика взревел горбоносый, схватил старуху под руку и поволок к дому. Было слышно, как они спорят: «Ведь мы же договорились!..». — «...А ежели он что-нибудь стибрит?..», — «Да тише вы! Это же программист, понимаете? Комсомолец! Ученый!..». — «А ежели он цыкать будет?..».

Я стесненно повернулся к Володе. Володя хихикал.

— Неловко как-то, — сказал я.

— Не беспокойтесь, все будет отлично...

Он хотел сказать еще что-то, но тут бабка дико заорала: «А диван-то, диван!..». Я вздрогнул и сказал:

— Знаете, я, пожалуй, поеду, а?

— Не может быть и речи! — решительно сказал Володя. — Все уладится. Просто бабке нужна мзда, а у нас с Романом нет наличных.

— Я заплачу, — сказал я. Теперь мне очень хотелось уехать: терпеть не могу этих так называемых житейских коллизий.

Володя замотал головой.



— Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке.

Горбоносый Роман подошел к нам, взял меня за руку и сказал:

— Ну, все устроилось. Пошли.

— Слушайте, неудобно как-то, — сказал я. — Она, в конце концов, не обязана...

Но мы уже шли к дому.

— Обязана, обязана, — приговаривал Роман.

Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дерматином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной. Старуха ждала нас, сложив руки на животе и поджав губы. При виде нас она мстительно пробасила:

— А расписочку чтобы сейчас же!.. Так, мол, и так: принял, мол, то-то и то-то от такой-то, каковая сдала вышеуказанное нижеподписавшемуся...

Роман тихонько взывал, и мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. Роман сказал напряженным голосом:

— Располагайтесь и будьте как дома.

Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась:

— А зубом оне не цыкают?

Роман, не оборачиваясь, рявкнул:

— Не цыкают! Говорят вам — зубов нет.

— Тогда пойдем расписочку напишем...

Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой, но все-таки вышел. Я осмотрелся. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой, перед столом — колченогий табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван, на другой стене, заклеенной разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлядью (ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки). В комнату вдавалась большая русская печь, сияющая свежей побелкой, а напротив, в углу, висело большое мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскошен и покрыт полосатыми половиками.

За стеной бубнили в два голоса: старуха басила на одной ноте, голос Романа повышался и понижался. «Скатерь, инвентарный номер двести сорок пять...». — «Вы еще каждую половицу запишите!...». — «Стол обеденный...». — «Печь вы тоже запишете?...». — «Порядок нужен... Диван...».

Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном был дуб, больше ничего не было видно. Я стал смотреть на дуб. Это было, видимо, очень древнее растение. Кора была на нем серая и какая-то мертвая. А чудовищные корни, вылезшие из земли, были покрыты красным и белым лишайником. «Еще дуб запишите!», — сказал за стеной Роман. На подоконнике лежала пухлая засаленная книга, я бездумно полистал ее, отошел от окна и сел на диван. И мне сейчас же захотелось спать. Я подумал, что вел сегодня машину четырнадцать часов, что не стоило, пожалуй, так торопиться, что спина у меня болит, а в голове все путается, что плевать мне, в конце концов, на эту нудную старуху, и скорей бы все кончилось и можно было бы лечь и заснуть...

— Ну вот, — сказал Роман, появляясь на пороге. — Формальности окончены. — Он помотал рукой с растопыренными пальцами, измазанными чернилами. — Наши пальчики устали: мы писали, мы писали...

Ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете?

— Жду, — вяло ответил я.

— Где?

— Здесь. И около почтамта.

— Завтра вы, наверное, не уедете?

— Завтра вряд ли... Скорее всего — послезавтра.

— Тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди, — он улыбнулся, махнул рукой и вышел. Я лениво подумал, что надо было бы его проводить и попрощаться с Володей, и лег. Сейчас же в комнату вошла старуха. Я встал. Старуха некоторое время пристально на меня глядела.

— Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь, — сказала она с беспокойством.

— Не стану я цыкать, — сказал я утомленно. — Я спать стану.

— И ложись, и спи... Денежки только вот заплати и спи... Я полез в задний карман за бумажником.

— Сколько с меня?

Старуха подняла глаза к потолку.

— Рубль положим за помещение... Полтинничек за постельное белье — мое оно, не казенное. За две ночи выходит три рубли... А сколько от щедрот накинешь — за беспокойство, значит, — я уж и не знаю...

Я протянул ей пятерку.

— От щедрот пока рубль, — сказал я. — А там видно будет. Старуха живо схватила деньги и удалилась, бормоча что-то про сдачу. Не было ее довольно долго, и я уже хотел махнуть рукой и на сдачу, и на белье, но она вернулась и выложила на стол пригоршню грязных медяков.

— Вот тебе и сдача, батюшка, — сказала она. — Ровно рублик, можешь не пересчитывать.

— Не буду пересчитывать, — сказал я. — Как насчет белья?

— Сейчас постелю. Ты выйди во двор, прогуляйся, а я постелю.

Я вышел, на ходу вытаскивая сигареты. Солнце, наконец, село, и наступила белая ночь. Где-то лаяли собаки. Я присел под дубом и стал смотреть на бледное звездное небо. Откуда-то бесшумно появился кот, глянул на меня флюоресцирующими глазами, затем быстро вскарабкался на дуб и исчез в темной листве. Я сразу забыл о нем и вздрогнул, когда он завозился где-то наверху. На голову мне посыпался мусор. «Чтоб тебя...», — сказал я вслух и стал отряхиваться. Спать хотелось необычайно. Из дома вышла старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что постель готова, и вернулся в комнату.

Вредная бабка постелила мне на полу. «Ну, уж нет», — подумал я, запер дверь на щеколду, перетащил постель на диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна, на дубе шумно возился кот. Я замотал

головой, вытряхивая из волос мусор. Странный это был мусор, неожиданный: крупная сухая рыбья чешуя. «Колко спать будет», – подумал я, повалился на подушку и сразу заснул.

Глава вторая

Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки.

А. Уэда

Я проснулся посреди ночи оттого, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое, едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хрипловатый, а другой выдавал крайнее раздражение.

- Не храни, – шептал раздраженный. – Ты можешь не храниТЬ?
- Могу, – отозвался сдавленный и заперхал.
- Да тише ты... – прошипел раздраженный.
- Хрипунец, – объяснил сдавленный. – Утренний кашель курильщица... – Он снова заперхал.
- Удались отсюда, – сказал раздраженный.
- Да все равно он спит...
- Кто он такой? Откуда свалился?
- А я почем знаю?
- Вот досада... Ну просто феноменально не везет.

«Опять соседям не спится», – подумал я спросонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брата-физика, которые обожают работать ночью. К двум часам пополудни у них кончаются сигареты, и тогда они забираются ко мне в комнату и начинают шарить, стучать мебелью и переругиваясь.

Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось, и стало тихо.

– Подушку верните, – сказал я, – и убирайтесь вон. Сигареты на столе.

Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки, за стеной грозно хранила старуха. Я, наконец, вспомнил, где нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло, рухнувшее с вешалки. «Бабка голову оторвет», – подумал я и вскочил. Пол был холодный, и я переступил на половики. Бабка перестала храниТЬ. Я замер. Потрескивали половицы, что-то хрустело и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и за хранила снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди

пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний салоп, как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала хрюкать, и я облился холодным потом. Где-то поблизости завопил петух. «В суп тебя», – подумал я с ненавистью. Старуха за стеной принялась вертеться, скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге. Во дворе кто-то сказал тихонько: «Спать пора, засиделись мы сегодня с тобой». Голос был молодой, женский. «Спать так спать, – отозвался другой голос. Послышался протяжный зевок. – Плескаться больше не будешь сегодня?». – «Холодно что-то. Давай банинки». Стало тихо. Бабка зарычала и заворчала, и я осторожно вернулся на диван. Утром встану пораньше и все поправлю как следует...

Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется – хочется есть. «Ай-яй-яй», – подумал я. Надо было срочно принимать меры, и я их принял.

Вот, скажем, система двух интегральных уравнений типа уравнений звездной статистики; обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на БЭСМе... Я вспомнил нашу БЭСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. «У тебя что?». – «У меня с сыром и колбасой». С польской полукопченой, кружочками. «Эх ты, жениться надо! У меня котлеты, с чесночком, домашние. И соленый огурчик». Нет, два огурчика... Четыре котлеты и, для ровного счета, четыре крепких соленых огурчика и четыре куска хлеба с маслом...

Я откинул одеяло и сел. Может быть, в машине что-нибудь осталось? Нет, все, что там было, я съел. Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая живет в Лежневе. Как это там... Соус пикан. Полстакана уксусу, две луковицы... и перчик. Подается к мясным блюдам... Как сейчас помню: к маленьkim бифштексам. «Вот подłość, – подумал я, – ведь не просто к бифштексам, а к ма-а-аленьkim бифштексам». Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло ма-а-аленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознания всплыло: «Подавались ему обычные в трактирах блюда, как-то: кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый (я глотнул) и вечный слоеный сладкий пирожок...». «Отвлечься бы», – подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой, «Хмурое утро». Я открыл наугад. «Махно, сломав сардиночный нож, вытащил из кармана перламутровый ножик с полсотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами («плохо дело», – подумал я), французским паштетом, с омарами, от которых резко запахло по комнате». Я осторожно положил книгу и сел за стол на табуретку. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий

запах: должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не попробовал омаров. Или, скажем, устриц. У Диккенса все едят устриц, орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом... Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштексы с соусом пикан. Большие и средние бифштексы тоже ели. Сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом... Отдуваться мне было нес чего, и я принялся цыкать зубом.

Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стенной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробасила:

– Откушай-ко, батюшка, Александр Иванович. Откушай, чем бог послал, со мной переслал...

– Что вы, что вы, Наина Киевна, – забормотал я, – зачем же было так беспокоить себя...

Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой, и я стал есть, а бабка стояла рядом, кивала и приговаривала:

– Кушай, батюшка, кушай на здоровье...

Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом.

– Наина Киевна, – сказал я истово, – вы меня спасли от голодной смерти.

– Поел? – сказала Наина Киевна как-то неприветливо.

– Великолепно поел. Огромное вам спасибо! Вы себе представить не можете...

– Чего уж тут не представить, – перебила она уже совершенно раздраженно. – Поел, говорю? Ну и давай сюда тарелку... Тарелку, говорю, давай!

– По... Пожалуйста, – проговорил я.

– «Пожалуйста, пожалуйста»... Корми тут вас за пожалуйста...

– Я могу заплатить, – сказал я, начиная сердиться.

– «Заплатить, заплатить»... – Она пошла к двери. – А ежели за это и не платят вовсе? И нечего врать было...

– То есть как это – врать?

– А так вот и врать! Сам говорил, что цыкать не будешь... Она замолчала и скрылась за дверью.

«Что это она? – подумал я. – Странная какая-то бабка... Может быть, она вешалку заметила?». Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати и недовольно ворча. Потом она запела негромко

на какой-то варварский мотив: «Покатаюся, повалюся, Ивашкиного мясца поевши...». Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня осенило, что дверь ведь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и протянул руку, чтобы проверить щеколду, но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощупываю холодное бревно стены.

Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вешал вполголоса:

— Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом потому, что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки...

Холода от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно:

— Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка, но когда пить его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели...

Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И, к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть.

— Тинктура экс витро антимонии, — провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул. — Магифтериум антимон ангелий салаэ. Бафилии олеум витри антимонии алесктериум антимониалэ! — послышалось явственное хихиканье. — Вот ведь бред какой! — сказал голос и продолжал с завыванием: — Вскоре очи сии, еще не отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться оным без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве... Сие есть «Дух или Нравственный Мысли Славнаго Юнга, извлеченный из нощных его размышлений». Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по два рубля в папке. — Кто-то всхлипнул. — Тоже бредятина, — сказал голос и произнес с выражением:

Чины, краса, богатства,
Сей жизни все приятства,
Летят, слабеют, исчезают,
О тлен, и щастье ложно!

Заразы сердце угрызают,
А славы удержать не можно..

Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало.

— А теперь, — сказал голос, — следующее. «Все — единое Я, это Я — мировое Я. Единение с неведением, происходящее от затмения света, Я исчезает с развитием духовности».

— А эта бредятина откуда? — спросил я. Я не ждал ответа. Я был уверен, что сплю.

— Изречения из «Упанишад», — ответил с готовностью голос.

— А что такое «Упанишады»? — я уже не был уверен, что сплю.

— Не знаю, — сказал голос.

Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей. Но меня в нем не было.

— В чем дело? — спросил голос. — Есть вопросы?

— Кто это говорит? — спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В. В. Битнера «Верить или не верить?». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы — в отличие от галлюцинаций — раздвоются. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение — заспанная, встревоженная физиономия. По ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул.

За окном никого не было, не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротом, ворота и свою машину у ворот. «Все-таки сплю», — успокоенно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрепанную книгу. В прошлом сне это был третий том «Хождений по мукам», теперь на обложке я прочитал: «П. И. Карпов. Творчество душевно-больных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Постукивая зубами от озноба, я перелистал книжку и просмотрел цветные вклейки. Потом прочитал «стих №2»:



В кругу облаков высоко
Чернокрылый воробей
Трепеща и одиноко
Парит быстро над землей.
Он летит ночной порой,
Лунным светом освещенный
И, ничем не удрученный,
Все он видит под собой.
Гордый, хищный, разъяренный
И, летая, словно тень,
Глаза светятся, как день.

Пол вдруг качнулся под моими ногами. Раздался пронзительный протяжный скрип, затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздались рокочущее: «Ко-о... Ко-о... Ко-о...». Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога, провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, я почувствовал, что падаю, схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упавшую вместе со мной. В комнате было совсем светло. За окном кто-то обстоятельно откашливался.

– Ну-с, так... – сказал хорошо поставленный мужской голос. – В некотором было царстве, в некотором государстве жил-был царь, по имени... Мнэ-э... Ну, в конце в концов, неважно. Скажем, мнэ-э... Полуэт... У него было три сына-царевича. Первый... Мнэ-э-э... Третий был дурак, а вот первый?...

Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиною к нему стоял в глубокой задумчивости кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Кот смотрел себе под ноги и тянул: «Мнэ-э-э...». Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и, слегка сутулясь, как доцент Дубино-Княжицкий на лекции, плавным шагом пошел в сторону от дуба.

— Хорошо... — говорил кот сквозь зубы. — Бывали-живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын... Мнэ-э... Дурак, естественно...

Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб.

— Отчаянное положение, — проговорил он. — Ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на обед, молодец — на ужин...». Откуда бы это? А Иван — сами понимаете — дурак, отвечает: «Эх ты, поганое чудище, не уловивши бела лебедя, да кушаешь!». Потом, естественно — каленая стрела, все три головы долой, Иван вынимает три сердца и привозит, кретин, домой матери... Каков подарочек! — Кот сardonически засмеялся, потом вздохнул. — Есть еще такая болезнь — склероз, — сообщил он.

Он снова вздохнул, повернулся обратно к дубу и запел: «Кря-кря, мои деточки! Кря-кря, голубяточки! Я... мнэ-э... Я слезой вас отпаивала... Вернее — выпаивала...». Он в третий раз вздохнул и некоторое время шел молча. Поравнявшись с дубом, он вдруг немузыкально заорал: «Сладок кус не доедала!..».

В лапах у него вдруг оказались массивные гусли — я даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударил по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку:

Дасс им танивальд финстер ист,
Дас махт дас хольтс,
Дас... Мнэ-э... Майн шатц... Или катц?..

Он замолк и некоторое время шагал, молча стучал по струнам. Потом тихонько, неуверенно запел:

Ой, бував я в тим садочку,
Та скажу вам всю правдочку:
Ото так
Копают мак.

Он вернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом.

— Труд, труд и труд, — сказал он. — Только труд!

Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба, бормоча:

— Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной, по имени... — он стал на четвереньки, выгнулся спину и злобно зашипел. — Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу... Али... Кто-то ибн чей-то... Н-ну, хорошо, скажем, Полуэкт,

Полуэкт ибн... мнэ-э... Полуэктович... Все равно не помню, что было с этим портным. Ну, и пес с ним, начнем другую...

Я лежал животом на подоконнике и, млея, смотрел, как злосчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево, бормочет, откашливается, подвывает, мычит, становится от напряжения на четвереньки – словом, мучается несказанно. Диапазон знаний его был грандиозен. Ни одной сказки и ни одной песни он не знал больше, чем наполовину, но это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, английские, по-моему, даже японские, китайские и африканские сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и припевки. Склероз приводил его в бешенство, несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями, он шипел и плевался, и глаза его при этом горели, как у дьявола, а пушистый хвост, толстый, как полено, то смотрел в зени, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Но единственной песенкой, которую он допел до конца, был «чижик-пыжик», а единственной сказочкой, которую он связно рассказал, был «Дом, который построил Джек» в переводе Маршака, да и то с некоторыми купюрами. Постепенно – видимо, от утомления – речь его обретала все более явственный кошачий акцент. «А в поли, поли, – пел он, – сам плужок ходэ, а... мнэ-э... А... Мнэ-а-а-у!.. А за тым плужком сам... Мья-а-у-ау!.. Сам господь ходе... Или броде?...». В конце концов, он совершенно изнемог, сел на хвост и некоторое время сидел так, понурив голову. Потом тихо, тоскливо мяукнул, взял гусли подмышку и на трех ногах медленно уковылял по росистой траве.

Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчетливо помнил, что в последний раз это было «Творчество душевнобольных», я был уверен, что на пол упала именно эта книга. Но подобрал я и положил на подоконник «Раскрытие преступлений» А. Свенсона и О. Венделя. Я тупо раскрыл ее, пробежал наудачу несколько абзацев, и мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка.

Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердое. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал поперек дивана, одеяло сползло с меня на пол, в окно сквозь листву дуба било утреннее солнце.

Глава третья

Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусственным использованием положений науки.

Г. Дж. Уэллс

Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в окно (дуб был на месте), посмотрел на вешалку (вешалка тоже была на месте). Телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол, отворил дверь (щеколда была на месте) и вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой – очень современный аппарат белой пластмассы, такие я видел только в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку.

– Алло...

– Это кто? – спросил пронзительный женский голос.

– А кого вам надо?

– Это Изнакурнож?

– Что?

– Я говорю, это Изба на курногах или нет? Кто говорит?

– Да, – сказал я. – Изба. Кого вам нужно?

– О, дьявол, – сказал женский голос. – Примите телефонограмму.

– Давайте.

– Записывайте.

– Одну минутку, – сказал я. – Возьму карандаш и бумагу.

– О, дьявол, – сказал женский голос.

Я принес записную книжку и цанговый карандаш.

– Слушаю вас

– Телефонограмма номер двести шесть, – сказал женский голос. – Гражданке Горыныч Наине Киевне...

– Не так быстро... Киевне... Дальше?

– «Настоящим... Предлагается вам... Прибыть сегодня... Двадцать седьмого июля... Сего года... В полночь... На ежегодный республиканский слет...». Записали?

– Записал.

– «Первая встреча... Состоится... На Лысой горе. Форма одежды парадная. Пользование механическим транспортом... За свой счет. Подпись... Начальник канцелярии... Ха... Эм... Вий».

– Кто?

– Вий! Ха Эм Вий.

– Не понимаю.

– Вий! Хрон Монадович! Вы что, начальника канцелярии не знаете?

- Не знаю, – сказал я. – Говорите по буквам.
- Дьявольщина! Хорошо, по буквам: вервольф — инкуб — ибикус краткий... Записали?
- Кажется записал, – сказал я. – Получилось — Вий.
- Кто?
- Вий!
- У вас что, полипы? Не понимаю!
- Владимир! Иван! Иван краткий!
- Так. Повторите телефонограмму. Я повторил.
- Правильно. Передала Онучкина. Кто принял?
- Привалов.
- С приветом, Привалов! Давно служишь?
- Собачки служат, – сердито сказал я. – Я работаю.
- Ну-ну, работай. На слете встретимся.

Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное, я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночными событиями, хотя я и представления не имел, каким образом. Впрочем, кое-какие идеи уже приходили мне в голову, и воображение мое было возбуждено.

Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым, о подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попадавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялось мне необычайно, раздражающее нелепым. Вместо того, чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическимиувечьями. Я еще не знал, как развернутся события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них.

Бродя по комнатах в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать. «Эти пугливые люди, – думал я, – похожи на некоторых ученых-экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но начисто лишенных воображения и поэтому очень осторожных. Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории...». Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем (она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь «Последним изгнаниником» Олдриджа), с говорящим зеркалом и цыганьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес, хотя временами

мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям... Хотя, с другой стороны, чешуя?..

Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко. Где-то гудели машины, послышался милицейский свисток, в небе с солидным гулом проплыл вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи мятую жестянную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постукивая по стенам, пошла в черную глубину. Раздался плеск, цепь натянулась. Я крутил ворот и смотрел на свой «Москвич». У машины был усталый, запыленный вид, ветровое стекло было заляпано разбившейся о него вдребезги мошкой. «Надо будет воды долить в радиатор, – подумал я. – И вообще...».

Бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Я отскочил.

– Опять на рынок поволочешь? – сильно окая, сказала щука. Я ошарашенно молчал. – Дай же ты мне покоя, ненасытная! Сколько можно?.. Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать – ташшит! Я ведь немолодая уже, постарше тебя буду... Жабры тоже не в порядке...

Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре, она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно скав челюсти.

– И воздух мне вреден, – продолжала она. – Вот подожну, что будешь делать? Все скучность твоя бабья да дурья... Все копишь, а для чего копишь – сама не знаешь... На последней реформе-та как погорела, а? То-то! А екатериновками? Сундуки оклеивала! А керенками-та, керенками! Ведь печку топила керенками...

– Видите ли, – сказал я, немного оправившись.

– Ой, кто это? – испугалась щука.

– Я... Я здесь случайно... Я намеревался слегка помыться.

– Помыться! А я думала, опять старуха. Не вижу я: старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки было себе заказала, да потеряла, не найду... А кто ж ты будешь?

– Турист, – коротко сказал я.

– Ах, турист... А я думала, опять бабка. Ведь что она со мной делает! Поймет меня, волочит на рынок и там продает, якобы на уху. Ну что мне остается? Конечно, говоришь покупателю: так и так, отпусти меня к малым детушкам – хотя какие у меня там малые детушки – не детушки



уже, которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу, скажи только «по щучьему велению, по моему, мол, хотению». Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности... Вот поплаваешь в реке, поплаваешь – холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь, а старуха с бадьей опять тут как тут... – Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась. – Ну что просить то будешь, служивый? Только попроще чего, а то просят телевизоры какие-то, транзисторы... Один совсем обалдел: «Выполни, – говорит, – за меня годовой план на лесопилке». Года мои не те – дрова пилить...

– Ага, – сказал я. – А телевизор вы, значит, все-таки можете?

– Нет, – честно призналась щука. – Телевизор не могу. И этот... комбайн с проигрывателем тоже не могу. Не верю я в них. Ты чего-нибудь попроще. Сапоги, скажем, скороходы или шапку-невидимку... А?

Возникшая было у меня надежда отвертеться сегодня от смазки «Москвича» погасла.

– Да вы не беспокойтесь, – сказал я. – Мне ничего, в общем, не надо. Я вас сейчас отпущу.

– И хорошо, – спокойно сказала щука. – Люблю таких людей. Давеча вот тоже... Купил меня на рынке какой-то, пообещала я ему царскую дочь. Плыту по реке, стыдно, конечно, глаза девать некуда. Ну, сослепу и въехала в сети. Тащшат. Опять, думаю, вратить придется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот не открыть. Ну, думаю, конец, свярят. Ан нет. Защемляет он мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. Во! – Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал: «Запущен сей экземпляр в Солове-реке в 1854 году. Доставить в Е. И. В. Академию наук, СПБ». – Старухе не говори, – предупредила щука. – С плавником оторвет. Жадная она, скупая.

«Что бы у нее спросить?», – лихорадочно думал я.

– Как вы делаете ваши чудеса?

– Какие такие чудеса?

– Ну... Исполнения желаний...

– Ах, это? Как делаю... Обучена сзымальства, вот и делаю. Откуда я знаю, как я делаю... Золотая Рыбка вот еще лучше делала, а все одно померла. От судьбы не уйдешь.

Мне показалось, что щука вздохнула.

– От старости? – спросил я.

– Какое там от старости! Молодая была, крепкая... Бросили в нее, служивый, глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой... Вот ведь как оно

бывает. – Она помолчала. – Так отпускаешь меня или как? Душно что-то, гроза будет...

– Конечно, конечно, – сказал я, встрепенувшись. – Вас как – бросить или в бадью?..

– Бросай, служивый, бросай.

Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку – было в ней килограммов восемь. Щука бормотала: «Ну, а ежели там скатерть-самобранку или, допустим, ковер-самолет, то я здесь буду... За мной не пропадет...». – «До свиданья», сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск.

Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване, но стоило тряхнуть головой, и я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Старуха все не показывалась. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота.

Я неторопливо шел по улице Лукоморье, засунув руки в карманы серой гэдээровской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных «молниями», брякали старухины медяки. Я размышлял. Тощие брошюрки общества «Знание» приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных. Даже попугаев. Я знал одного попугая, который мог рычать, как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь – щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неодушевленные предметы как раз разговаривают часто. И, между прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его, прадеда, точки зрения, говорящий кот – вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрюпит, воет, музенирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно. А вот как разговаривает щука? У щуки нет легких. Это верно. Правда, у нес должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтиолог Женя Скоромахов полагает даже, что эта функция неясна совершенно, и, когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества «Знание», Женя рычит и плюется. Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи... У меня такое впечатление, что о возможностях животных мы знаем пока еще очень мало. Только недавно выяснилось, что рыбы и морские животные обмениваются под водой сигналами. Очень интересно пишут

о дельфинах. Или, скажем, обезьяна Рафаил. Это я сам видел. Разговаривать она, правда, не умеет, но зато у нее выработан рефлекс: зеленый свет – банан, красный свет – электрический шок. И все было хорошо до тех пор, пока не включили красный и зеленый свет одновременно. Тогда Рафаил повел себя так же, как Женька, например. Он страшно обиделся. Он кинулся к окошечку, за которым сидел экспериментатор и принялялся, визжа и рыча, плеваться в это окошечко. И вообще, есть анекдот – одна обезьяна говорит другой: «Знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда зазвонит звонок, и все эти квазиобезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами». Конечно, все это чрезвычайно непросто. Терминология не разработана. Когда в этих условиях пытаешься решать вопрос, связанный с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно бессильным. Но, с другой стороны, когда тебе дают, скажем, ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то самочувствие не лучше. А поэтому главное – думать. Как Паскаль: «Будем же учиться хорошо мыслить – вот основной принцип морали».

Я вышел на проспект Мира и остановился, привлеченный необычным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флагами в руках. За ним, шагах в десяти, с натужным ревом медленно полз большой белый МАЗ с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны. На цистерне было написано «огнеопасно», справа и слева от нее также медленно катились красные пожарные «газики», ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателей вмешивалася какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце, и тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными касками были мужественны и суровы. Вокруг кавалькады тучей носились ребятишки. Они пронзительно вопили: «Тилили-тилили, а дракона повезли!». Взрослые прохожие опасливо жались к заборам. На их лицах было написано явственное желание уберечь одежду от возможных повреждений.

– Повезли родимого, – произнес у меня над ухом знакомый скрипучий бас.

Я обернулся. Позади стояла, пригорюнившись, Наина Киевна с котелкой, наполненной синими пакетами сахарного песку.

– Повезли, – повторила она. – Каждую пятницу возят...

– Куда? – спросил я.

– На полигон, батюшка. Все экспериментируют... Делать им больше нечего.

– А кого повезли, Наина Киевна?



– То есть, как это – кого? Сам не видишь, что ли?.. Она повернулась и пошла прочь, но я догнал ее.

– Наина Киевна, вам тут телефонограмму передали.

– Это от кого же?

– От Ха Эм Вия.

– А насчет чего?

– У вас слет какой-то сегодня, – сказал я, пристально глядя на нее. – На Лысой горе. Форма одежды – парадная.

Старуха явно обрадовалась.

– Вправду? – сказала она. – Вот хорошо-то!.. А где телефонограмма?

– В прихожей на телефоне.

– А насчет членских взносов там ничего не говорится? – спросила она, понизив голос

– В каком смысле?

– Ну, что, мол, надлежит погасить задолженность с одна тысяча семьсот... – она замолчала.

– Нет, – сказал я. – Ничего такого не говорилось.

– Ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что?

– Дайте я вам кошелку поднесу, – предложил я. Старуха отпрянула.

– Это тебе зачем? – спросила она подозрительно. – Ты это оставь – не люблю... Кошелку ему!.. Молодой, да, видно, из ранних...

«Не люблю старух», – подумал я.

– Так как же с транспортом? – повторила она.

– За свой счет, – сказал я злорадно.

– Ах, скопидомы! – застонала старуха. – Метлу в музей забрали, ступу не ремонтируют, взносы дерут по пять рубликов на ассигнации, а на Лысую гору за свой счет! Счет-то не малый, батюшка, да пока такси ждет...

Бормоча и кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. Мои предположения оправдывались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги.

На проспекте Мира было уже пусто, У перекрестка крутилась стая ребятишек – играли, по-моему, в чижка. Увидев меня, они бросили игру и стали приближаться. Предчувствуя недобroе, я торопливо миновал их и двинулся к центру. За моей спиной раздался сдавленный восторженный возглас: «Стиляга!». Я ускорил шаг. «Стиляга!», – завопили сразу несколько голосов. Я почти побежал. Позади визжали: «Стиля-а-ага! Тонконогий! Папина «Победа»!..». Прохожие смотрели на меня сочувственно. В таких ситуациях лучше всего куда-нибудь нырнуть. Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом, походил вдоль

прилавков, убедился в том, что сахар есть, выбор колбас и конфет не богат, но зато выбор так называемых рыбных изделий превосходит все ожидания. Там была такая семга и такой лосось!.. Я выпил стакан газированной воды и выглянул на улицу. Мальчишеск не было. Тогда я вышел из магазина и двинулся дальше. Скоро лабазы и бревенчатые избы-редуты кончились, пошли современные двухэтажные дома с открытыми сквериками. В сквериках копошились младенцы, пожилые женщины вязали что-то теплое, а пожилые мужчины резались в домино.

В центре города оказалась обширная площадь, окруженная двух- и трехэтажными зданиями. Площадь была асфальтирована, посередине зеленел садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью «Доска Почета» и несколько щитов поменьше со схемами и диаграммами. Почтamt я обнаружил здесь же, на площади. Мы договорились с ребятами, что первый, кто прибудет в город, оставит до востребования записку со своими координатами. Записки не было, и я оставил письмо, в котором сообщил свой адрес и объяснил, как дойти до избы на курногах. Затем я решил позавтракать.

Обойдя площадь, я обнаружил: кинотеатр, где шла «Козара»; книжный магазин, закрытый на переучет; горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных «газиков»; гостиницу «Студеное море» – как обычно, без свободных мест; два киоска с газированной водой и мороженым; магазин (промтоварный) № 2 и магазин (хозтоваров) № 18; столовую № 11, открывающуюся с двенадцати часов, и буфет № 3, закрытый без объяснений. Потом я обнаружил городское отделение милиции, возле открытых дверей которого побеседовал с очень юным милиционером в чине сержанта, объяснившим мне, где находится бензоколонка и какова дорога до Лежнева. «А где же ваша машина?», – осведомился милиционер, озирая площадь. «У знакомых», – ответил я. «Ах, у знакомых...», – сказал милиционер значительно. По-моему, он взял меня на заметку. Я робко откланялся.

Рядом с трехэтажной громадой «Солрыбснабпромпотребсоюза ФЦУ» я, наконец, нашел маленькую опрятную чайную № 16/27. В чайной было хорошо. Народу было не очень много, пили действительно чай и разговаривали о вещах понятных: что под Коробцом завалился, наконец, мостик и ехать теперь приходится вброд; что пост ГАИ уже неделю как с пятнадцатого километра убрали; что «искра – зверь, слона убьет, а ни шиша не схватывает...». Пахло бензином и жареной рыбой. Не занятые разговором люди пристально разглядывали мои джинсы, и я радовался, что сзади у меня имеет место профессиональное пятно – позавчера я очень удачно сел на шприц с солидолом.

Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, три стакана чаю и три бутерброда с балыком, расплатился кучей старухиных медяков («На

паперти стоял...», – проворчала буфетчица), устроился в укромном углу и принял за еду, с удовольствием наблюдая за этими хриплоголосыми, прокуренными людьми. Приятно было смотреть, какие они загорелые, независимые, жилистые, все повидавшие, как они с аппетитом едят, с аппетитом курят, с аппетитом рассказывают. Они до последней капли использовали передышку перед долгими часами тряской скучной дороги, раскаленной духоты кабины, пыли и солнца. Если бы я не был программистом, я бы обязательно стал шофером и уж работал бы не на плюгавенькой легковушке, и не на автобусе даже, а на каком-нибудь грузовом чудовище, чтобы в кабину надо было забираться по лестнице, а колеса чтобы менять с помощью небольшого подъемного крана.

За соседним столиком сидели два молодых человека, не похожих на шоферов, и поэтому сначала я на них внимания не обратил. Так же, впрочем, как и они на меня. Но когда я допивал второй стакан чая, до меня долетело слово «диван». Затем кто-то из них произнес: «...А тогда непонятно, зачем она вообще существует, эта Изнакурнож...», – и я стал слушать. К сожалению, говорили они негромко, да и сидел я к ним спиной, так что слышно было плохо. Но голоса показались мне знакомыми: «...Никаких тезисов... Только диван...», «...Такому волосатому?...», «...Диван... Шестнадцатая степень...», «...При трансгрессии только четырнадцать порядков...», «...Легче смоделировать транслятор...», «...Мало ли кто хихикает!...», «...Бритву подарю...», «...Не можем без дивана...». Тут один из них заперхал, да так знакомо, что я сразу вспомнил сегодняшнюю ночь и обернулся, но они уже шли к выходу – два здоровенных парня с крутymi плечами и спортивными затылками. Некоторое время я еще видел их в окно, они перешли площадь, обогнули садик и скрылись за диаграммами. Я допил чай, доел бутерброды и тоже вышел. Диван их, видите ли, волнует, думал я. Русалка их не волнует. Говорящий кот их не интересует. А без дивана они, видите ли, не могут... Я попытался вспомнить, какой же у меня там диван, но ничего особенного вспомнить не мог. Диван как диван. Хороший диван. Удобный. Только странная действительность на нем снится.

Теперь хорошо было бы вернуться домой и заняться всеми этими делами вплотную. Поэкспериментировать с книгой-перевертышем, поговорить с котом Василием начистоту и посмотреть, нет ли в избе на куриных ногах еще чего-нибудь интересного. Но дома меня ждал мой «Москвич» и необходимость делать как ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться, это всего-навсего Ежедневный Уход, всякое там вытряхивание ковриков и обмыв кузова струей воды под давлением, каковой обмыв, впрочем, можно заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот ТО... Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что ТО есть не что иное, как

Техническое Обслуживание, а техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его, покрытое толстым слоем засохшей грязи... Короче говоря, мне не очень хотелось домой.

Глава четвертая

*Кто позволил себе эту дьявольскую шутку?
Схватить его и сорвать с него маску, чтобы
мы знали, кого нам повесить поутру на крепо-
стной стене!*

Э. А. По

Я купил позавчерашнюю «Правду», выпил газированной воды и устроился на скамье в садике, в тени Доски почета. Было одиннадцать часов. Я внимательно просмотрел газету. На это ушло семь минут. Тогда я прочитал статью о гидропонике, фельетон о хапугах из Канска и большое письмо рабочих химического завода в редакцию. Это заняло всего двадцать две минуты. Не сходить ли в кино, подумал я. Но «Козару» я уже видел – один раз в кино и один раз по телевизору. Тогда я решил попить воды, сложил газету и встал. Из старухиной меди в кармане у меня остался всего один пятак. Пропью, решил я, выпил воды с сиропом, получил копейку сдачи и купил в соседнем ларьке коробок спичек. Больше делать мне в центре города было решительно нечего. И я пошел куда глаза глядят – в неширокую улицу между магазином № 2 и столовой № 11.

Прохожих на улице почти не было. Меня обогнал большой пыльный грузовик с грохочущим трейлером. Шофер, высунув в окно локоть и голову, устало смотрел на булыжную мостовую. Улица, понижаясь, круто заворачивала вправо, у поворота рядом с тротуаром торчал из земли ствол старинной чугунной пушки, дуло ее было забито землей и окурками. Вскоре улица кончилась обрывом к реке. Я посидел на краю обрыва и полюбовался пейзажем, затем перешел на другую сторону улицы и побрел обратно.

«Интересно, куда девался тот грузовик?», – подумал вдруг я. Спуска с обрыва не было. Я стал оглядываться, ища ворота по сторонам улицы, и тут обнаружил небольшой, но очень странный дом, стиснутый между двумя угремыми кирпичными лабазами. Окна нижнего этажа его были забраны железными прутьями и до половины замазаны мелом. Дверей же в доме вообще не было. На вывеске было написано: «АН СССР НИИЧАВО». Я отошел на середину улицы: да, два этажа по десяти окон

и ни одной двери. А справа и слева, вплотную, лабазы. НИИЧАВО, подумал я. Научно-исследовательский институт... Чаво? В смысле – чего? Чрезвычайно Автоматизированной Вооруженной Охраны? Черных Ассоциаций Восточной Океании? «Изба на курногах, – подумал я, – музей этого самого НИИЧАВО. Мои попутчики, наверное, тоже отсюда. И те, в чайной, тоже...». С крыши здания поднялась стая ворон и с карканьем закружилась над улицей. Я повернулся и пошел назад, на площадь.

Все мы наивные материалисты, думал я. И все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все было немедленно объяснено рационалистически, то есть, сведено к горсточке уже известных фактов. И ни у кого из нас ни на грош диалектики. Никому в голову не приходит, что между известными фактами и каким-то новым явлением может лежать море неизвестного, и тогда мы объявляем новое явление сверхъестественным и, следовательно, невозможным. Вот, например, как бы мэтр Монтескье принял сообщение об оживлении мертвеца через сорок пять минут после зарегистрированной остановки сердца? В штыки бы, наверное, принял. Так сказать, в багинеты. Объявил бы это обскуратизмом и поповщиной. Если бы вообще не отмахнулся от такого сообщения. А если бы это случилось у него на глазах, то он оказался бы в необычайно затруднительном положении. Как я сейчас, только я привычнее. А ему пришлось бы либо счесть это воскрешение жульничеством, либо отречься от собственных ощущений, либо даже отречься от материализма. Скорее всего, он счел бы воскрешение жульничеством. Но до конца жизни воспоминания об этом ловком фокусе раздражало бы его мысль, подобно соринке в глазу... Но мы-то дети другого века, мы всякое повидали: и живую голову собаки, пришитую к спине другой живой собаки; и искусственную почку величиной со шкаф; и мертвую железную руку, управляемую живыми нервами; и людей, которые могут небрежно заметить: «Это было уже после того, как я скончался в первый раз...». Да, в наше время у Монтескье было бы немного шансов остаться материалистом. А мы вот остаемся, и ничего! Правда, иногда бывает трудно – когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестного странные лепестки с необозримых материков непознанного. И особенно часто так бывает, когда находишь не то, что ищешь. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные, первые животные с Марса или Венеры. Да, конечно, мы будем глазеть на них и хлопать себя по бедрам, но ведь мы давно уже ждем этих животных, мы отлично подготовлены к их появлению. Гораздо более мы были бы поражены и разочарованы, если бы этих животных не оказалось или они оказались бы похожими на наших кошек и собак. Как правило, наука, в которую мы верим (и зачастую слепо), заранее и задолго готовит нас к грядущим чудесам, и психологический шок возникает у нас только тогда, когда мы

сталкиваемся с непредсказанным, – какая-нибудь дыра в четвертое измерение, или биологическая радиосвязь, или живая планета... Или, скажем, изба на куриных ногах... А ведь прав был горбоносый Роман: здесь у них очень, очень и очень интересно...

Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что мелочи у меня нет, и знал, что придется разменять бумажку, и уже готовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги, как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде. Потом я решительно направился домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и ТО и заняться рационал-диалектическими объяснениями. Копейку я сунул в карман и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный, на нем было написано «5 копеек 1961», и цифра «6» была замята неглубокой выщерблинкой. Может быть, я даже тогда не обратил бы внимания на это маленькое происшествие, если бы не то самое мгновенное ощущение, уже знакомое мне – будто я одновременно стою на проспекте Мира и сижу на диване, тупо разглядывая вешалку. И так же, как раньше, когда я тряхнул головой, ощущение исчезло.

Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак (он падал на ладонь все время «решкой»), и пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном, в котором утром спасался от мальчишек, и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами, я направился прямо к прилавку, где торговали соками и водой, и без всякого удовольствия выпил стакан без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман.

Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там – влажный, 1961 года, с выщерблинкой на цифре «6». Меня подтолкнули и спросили, не сплю ли я. Оказывается, я стоял в очереди в кассу. Я сказал, что не сплю, и выбил чек на три коробка спичек. Встав в очередь за спичками, я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив три коробка, я вышел из магазина, вернулся на площадь и принялся экспериментировать.

Эксперимент занял у меня около часа. За этот час я десять раз обошел площадь кругом, разбух от воды, спичечных коробков и газет, пerezнакомился со всеми продавцами и продавщицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращается, если им платить. Если его просто бросить, обронить, потерять, он останется там, где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца пере-

ходит в руки покупателя. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак появляется в другом. В кармане, застегнутом на «молнию», он не появляется никогда. Если держать руки в обоих карманах и принимать сдачу локтем, то пятак может появиться где угодно на теле (в моем случае он обнаружился в ботинке). Исчезновение пятака из тарелочки с медью на прилавке заметить не удается: среди прочей меди пятак сейчас же теряется, и никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит.

Итак, мы имели дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Сам по себе факт неразменности не очень заинтересовал меня. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью непространственного перемещения материального тела. Мне было совершенно ясно, что таинственный переход пятака от продавца к покупателю представляет собой не что иное, как частный случай пресловутой нуль-транспортировки, хорошо известной любителям научной фантастики также под псевдонимом: гиперпереход, рапагулярный скачок, феномен Тарантоги... Открывающиеся перспективы были ослепительны.

У меня не было никаких приборов. Обыкновенный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много, но у меня не было даже его. Я был вынужден ограничиваться чисто визуальными субъективными наблюдениями. Свой последний круг по площади я начал, поставив перед собой следующую задачу: «кладя пятак рядом с тарелкой для мелочи и по возможности препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами до вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода». Однако эксперимент был прерван в самом начале.

Когда я приблизился к продавщице Мане, меня уже ждал тот самый молоденький милиционер в чине сержанта.

— Так, — сказал он профессиональным голосом.

Я искательно посмотрел на него, предчувствуя недобро.

— Попрошу документики, гражданин, — сказал милиционер, отдавая честь и глядя мимо меня.

— А в чем дело? — спросил я, доставая паспорт.

— И пятак попрошу, — сказал милиционер, принимая паспорт.

Я молча отдал ему пятак. Мания смотрела на меня сердитыми глазами. Милиционер оглядел пятак и, произнеся с удовлетворением: «Ага...», раскрыл паспорт. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал. Вокруг медленно росла толпа. В толпе высказывались разные мнения на мой счет.

— Придется пройти, — сказал, наконец, милиционер. Мы прошли. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих было создано несколько вариантов моей нелегкой биографии и был сформулирован ряд причин, вызвавших начинаяющееся у всех на глазах следствие.

В отделении сержант передал пятак и паспорт дежурному лейтенанту. Тот осмотрел пятак и предложил мне сесть. Я сел. Лейтенант небрежно произнес: «Сдайте мелочь», и тоже углубился в изучение паспорта. Я выгреб из кармана медяки. «Пересчитай, Ковалев», — сказал лейтенант и, отложив паспорт, стал смотреть мне в глаза.

— Много накупили? — спросил он.

— Много, — ответил я.

— Тоже сдайте, — сказал лейтенант.

Я выложил перед ним на стол четыре номера позавчерашней «Правды», три номера местной газеты «Рыбак», два номера «Литературной газеты», восемь коробков спичек, шесть штук ирисок «Золотой ключик» и уцененный ершик для чистки примусов.

— Воду сдать не могу, — сказал я сухо. — Пять стаканов с сиропом и четыре без сиропа.

Я начинал понимать, в чем дело, и мне было чрезвычайно неловко и муторно при мысли, что придется оправдываться.

— Семьдесят четыре копейки, товарищ лейтенант, — доложил юный Ковалев.

Лейтенант задумчиво созерцал кучу газет и спичечных коробков.

— Развлекались или как? — спросил он меня.

— Или как, — сказал я мрачно.

— Неосторожно, — сказал лейтенант. — Неосторожно, гражданин. Расскажите.

Я рассказал. В конце рассказа я убедительно попросил лейтенанта не рассматривать мои действия как попытку скопить денег на «Запорожец». Уши мои горели. Лейтенант усмехнулся.

— А почему бы и не рассматривать? — осведомился он. — Были случаи, когда накапливали.

Я пожал плечами.

— Уверяю вас, такая мысль не могла бы прийти мне в голову... То есть, что я говорю — не могла бы, она действительно не приходила!..

Лейтенант долго молчал. Юный Ковалев взял мой паспорт и снова принял его рассматривать.

— Даже как-то странно предположить... — сказал я растерянно. — Совершенно бредовая затея... Копить по копейке... — я снова пожал плечами. — Тогда уж лучше, как говорится, на паперти стоять...

— С нищенством мы боремся, — значительно сказал лейтенант.

– Ну, правильно, ну, естественно... Я только не понимаю, при чем тут я, и... – Я поймал себя на том, что очень много пожимаю плечами, и дал себе слово впредь этого не делать.

Лейтенант снова изнуряюще долго молчал, разглядывая пятак.

– Придется составить протокол, – сказал он, наконец. Я пожал плечами.

– Пожалуйста, конечно... Хотя... – я не знал, что, собственно, «хотя».

Некоторое время лейтенант смотрел на меня, ожидая продолжения. Но я как раз соображал, под какую статью уголовного кодекса подходят мои действия, и тогда он придвинул к себе лист бумаги и принялся писать.

Юный Ковалев вернулся на свой пост. Лейтенант скрипел пером и часто со стуком макал его в чернильницу. Я сидел, тупо рассматривая плакаты, развешенные на стенах, и вяло размышлял о том, что на моем месте Ломоносов, скажем, схватил бы паспорт и выскочил в окно. «В чем, собственно, суть? – думал я. – Суть в том, чтобы человек сам не считал себя виновным. В этом смысле я не виновен. Но виновность, кажется, бывает объективная и субъективная. И факт остается фактом: вся эта медь в количестве семидесяти четырех копеек юридически является результатом хищения, произведенного с помощью технических средств, в качестве каковых выступает неразменный пятак».

– Прочтите и подпишите, – сказал лейтенант.

Я прочел. Из протокола явствовало, что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., неизвестным мне способом вступил в обладание действующей модели неразменного пятака образца ГОСТ 718-62 и злоупотребил ею; что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., утверждаю, будто действия свои производил с целью научного эксперимента, без каких-либо корыстных намерений; что я готов возместить причиненные государству убытки в размере одного рубля пятидесяти пяти копеек; что я, наконец, в соответствии с постановлением соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года, передал указанную действующую модель неразменного пятака дежурному по отделению лейтенанту Сергиенко У. У. и получил взамен пять копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Я подписался.

Лейтенант сверил мою подпись с подписью в паспорте, еще раз тщательно пересчитал медяки, позвонил куда-то с целью уточнить стоимость ирисок и примусного ершика, выписал квитанцию и отдал ее мне вместе с пятью копейками в монетных знаках, имеющих хождение. Возвращая газеты, спички, конфеты и ершик, он сказал:

– А воду вы, по собственному вашему признанию, выпили. Итого с вас восемьдесят одна копейка.

С гигантским облегчением я рассчитался. Лейтенант, еще раз внимательно пролистав, вернул мне паспорт.

— Можете идти, гражданин Привалов, — сказал он. — И впредь будьте осторожнее. Вы надолго в Соловец?

— Завтра уеду, — сказал я.

— Вот до завтра и будьте осторожнее.

— Ох, постараюсь, — сказал я, пряча паспорт. Затем, повинувшись импульсу, спросил, понизив голос: — А скажите мне, товарищ лейтенант, вам здесь, в Соловце, не странно?

Лейтенант уже смотрел в какие-то бумаги.

— Я здесь давно, — сказал он рассеянно. — Привык.

Глава пятая

*— А вы сами-то верите в привидения? —
спросил лектора один из слушателей.*

— Конечно, нет, — ответил лектор и медленно растаял в воздухе.

Правдивая история

До самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения я отправился домой на Лукоморье и там сразу же залез под машину. Было очень жарко. С запада медленно ползла грозная черная туча. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Кивенна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую гору. «Говорят, батюшка, машине вредно стоять, — скрипуче ворковала она, заглядывая под передний бампер, — говорят, ей ездить полезно. А уж я бы заплатила, не сомневайся...». Ехать на Лысую гору мне не хотелось. Во-первых, в любую минуту могли приехать ребята. Во-вторых, старуха в своей воркующей модификации была мне еще неприятнее, нежели в сварливой. Далее, как выяснилось, до Лысой горы было девяносто верст в одну сторону, а когда я спросил бабку насчет качества дороги, она радостно заявила, чтобы я не беспокоился, — дорога гладкая, а в случае чего она, бабка, будет сама машину выталкивать. («Ты не смотри, батюшка, что я старая, я еще очень даже крепкая»). После первой неудачной атаки старуха временно отступила и ушла в избу. Тогда ко мне под машину зашел кот Василий. С минуту он внимательно следил за моими руками, а потом произнес вполголоса, но явственно: «Не советую, гражданин... мнэ-э... Не советую. Съедят», после чего сразу удалился, подрагивая хвостом. Мне хотелось быть очень осторожным, и поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом со всем покончить, запросил с нее пятьдесят рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением.



Я сделал ЕУ и ТО, с величайшей осторожностью съездил заправившись к бензоколонке, пообедал в столовой № 11 и еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного Ковалева. Для очистки совести я спросил у него, какова дорога до Лысой горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал: «Дорога? Да что вы говорите, гражданин? Какая же там дорога? Нет там никакой дороги». Домой я вернулся уже под проливным дождиком.

Старуха отбыла. Кот Василий исчез. В колодце кто-то пел на два голоса, и это было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождем. Стало темно.

Я забрался в свою комнату и попытался экспериментировать с книгой-перевертышем. Однако в ней что-то застопорило. Может быть, я делал что-нибудь не так или влияла погода, но она как была, так и оставалась «Практическими занятиями по синтаксису и пунктуации» Ф. Ф. Кузьмина, сколько я ни ухищрялся. Читать такую книгу было совершенно невозможно, и я попытал счастья с зеркалом. Но зеркало отражало все, что угодно, и молчало. Тогда я лег на диван и стал лежать.

От скуки и шума дождя я уже начал было дремать, когда вдруг зазвонил телефон. Я вышел в прихожую и взял трубку.

— Алло...

В трубке молчало и потрескивало.

— Алло, — сказал я и подул в трубку. — Нажмите кнопку. Ответа не было.

— Постучите по аппарату, — посоветовал я. Трубка молчала. Я еще раз подул, подергал шнур и сказал: — Перезвоните с другого автомата.

Тогда в трубке грубо осведомились:

— Это Александр?

— Да, — я был удивлен.

— Ты почему не отвечаешь?

— Я отвечаю. Кто это?

— Это Петровский тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтобы мне позвонил.

— Какому мастеру?

— Ну, кто там сегодня у тебя?

— Не знаю...

— Что значит — не знаю? Это Александр?

— Слушайте, гражданин, — сказал я. — По какому номеру вы звоните?

— По семьдесят второму... Это семьдесят второй?

Я не знал.

— По-видимому, нет, — сказал я.

— Что же вы говорите, что вы Александр?

— Я в самом деле Александр!

– Тыфу!.. Это комбинат?
– Нет, – сказал я. – Это музей.

– А... Тогда извиняюсь. Мастера, значит, позвать не можете...

Я повесил трубку. Некоторое время я стоял, оглядывая прихожую. В прихожей было пять дверей: в мою комнату, во двор, в бабкину комнату, в туалет и еще одна, обитая железом, с громадным висячим замком. «Скучно, – подумал я. – Одиноко. И лампочка тусклая, пыльная...». Волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге.

Дивана не было.

Все остальное было совершенно по-прежнему: стол, и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка. И книга лежала на подоконнике точно там, где я ее оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный, замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное белье, аккуратно сложенное под вешалкой.

– Только что здесь был диван, – вслух сказал я. – Я на нем лежал.

Что-то изменилось в доме. Комната наполнилась невнятным шумом. Кто-то разговаривал, слышалась музыка, где-то смеялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрипнули половицы. Потом вдруг запахло аптекой, и в лицо мне пахнуло холодом. Я попятился. И тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли. Оглядываясь на то место, где раньше был диван, я вновь вышел в сени и открыл дверь.

Передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной чистоты с поднятым воротником. Он снял шляпу и с достоинством произнес:

– Прошу прощения, Александр Иванович. Не могли бы вы уделить мне пять минут для разговора?

– Конечно, – сказал я растерянно. – Заходите...

Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Не знаю, зачем я это сделал, – наверное, потому, что мне не хотелось расспросов насчет пыли и мусора на полу.

– Извините, – пролепетал я, – может быть, здесь?.. А то у меня беспорядок. И сесть негде...

– Как – негде? – сказал он негромко. – А диван? С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза.

– М-м-м... Что – диван? – спросил я почему-то шепотом. Незнакомец опустил веки.

– Ах, вот как? – медленно произнес он. – Понимаю. Жаль. Ну что ж, извините...

Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета.

— Куда вы? — закричал я. — Вы не туда!

Незнакомец, не оборачиваясь, пробормотал: «Ах, это безразлично», — и скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет, постоял немного, прислушиваясь, затем рванул дверь. В туалете никого не было. Я осторожно вытащил сигарету и закурил. Диван, подумал я. При чем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет. Была скатерть-самобранка. Были: шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды. Было чудо-зеркальце. А чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат, диван — это нечто прочное, очень обыкновенное... В самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном?..

Вернувшись в комнату, я сразу увидел Маленького Человечка. Он сидел на печке под потолком, скорчившись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серые волосатые уши.

— Здравствуйте, — сказал я утомленно.

Маленький Человечек страдальчески скривил длинные губы.

— Добрый вечер, — сказал он. — Извините, пожалуйста, занесло меня сюда — сам не понимаю, как... Я насчет дивана.

— Насчет дивана вы опоздали, — сказал я, садясь к столу.

— Вижу, — тихо сказал Человечек и неуклюже заворочался. Пояснялась известка.

Я курил, задумчиво его разглядывая. Маленький Человечек неуверенно заглядывал вниз.

— Вам помочь? — спросил я, делая движение.

— Нет, спасибо, — сказал Человечек уныло. — Я лучше сам...

Пачкаясь в мелу, он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня екнуло внутри, но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он сейчас же встал и вытер рукавом мокре лицо.

— Совсем старик стал, — сообщил он хрипло. — Лет сто назад или, скажем, при Гонзасте за такой спуск меня лишили бы диплома, будьте уверены, Александр Иванович.

— А что вы кончали? — осведомился я, закутивая вторую сигарету.

Он не слушал меня. Присев на табурет напротив, он продолжал горестно:

— Раньше я левитировал, как Зекс. А теперь, простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно... Но если нет таланта? Огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, а таланта нет! У нас многие обрастают к старости. Корифеев

это, конечно, не касается. Жиан Жиакомо, Кристобаль Хунта, Джузеппе Бальзамо или, скажем, товарищ Киврин Федор Симеонович... Никаких следов растительности! – он торжествующе посмотрел на меня. – Ни-ка-ких! Гладкая кожа, изящество, стройность...

– Позвольте, – сказал я. – Вы сказали – Джузеппе Бальзамо... Но это то же самое, что граф Калиостро! А по Толстому, граф был жирен и очень неприятен на вид...

Маленький Человечек с сожалением посмотрел на меня и снисходительно улынулся.

– Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович, – сказал он. – Граф Калиостро – это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это... Как бы вам сказать... Это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности сматрировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив, но вы знаете, как это делается в молодости... Побыстрее, посмешнее – тяп-ляп, и так сойдет... Да-с. Никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро – это одно и то же. Может получиться неловко.

Мне стало неловко.

– Да, – сказал я. – Я, конечно, не специалист. Но... Простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился?

Маленький Человечек вздрогнул.

– Непростительная самонадеянность, – сказал он громко и поднялся.

– Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты... А тут еще наглые мальчишки... – Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки. – Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил... Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю. – Он приблизился к печке и боязливо поглядел на верх. – Старый я, Александр Иванович, – сказал он, тяжело вздохнув. – Старенький...

– А может быть, вам было бы удобнее... Через... Э-э... Тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался.

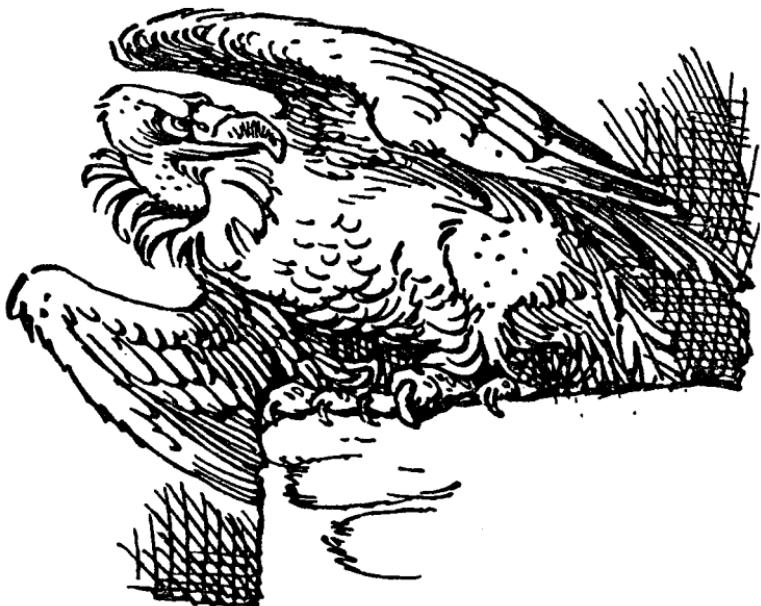
– И-и, батенька, так это же был Кристобаль Хунта! Что ему – просочиться через канализацию на десяток лье... – Маленький Человечек горестно махнул рукой. – Мы попроще... Диван он с собой взял или трансгрессировал?

– Н-не знаю, – сказал я. – Дело-то в том, что он тоже опоздал.

Маленький Человечек ошеломленно пощипал шерсть на правом ухе.

– Опоздал? Он? Невероятно... Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович, простите великодушно.

Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. Ай да диван! Это тебе не говорящая кошка. Это что-то посолиднее – какая-то драма. Может быть, даже драма идей. А



ведь, пожалуй, придут еще... опоздавшие. Наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник?

Веник стоял рядом с кадкой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндр величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндр качнулся, что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь. Я пощелкал по нему ногтем, и он снова затрещал. Я повернул его, чтобы осмотреть с торца, и в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я пребольно ударился обо что-то пятками, потом плечом и макушкой, выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя, я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел.

— Однако, — подумал я вслух. — Не просочиться бы в канализацию!..

Я поиском глазами цилиндр. Он стоял, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него на корточки. Цилиндр тихо потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндр качнулся сильнее, наклонился, и

тут за моей спиной раздался хриплый клекот и пахнуло ветром. Я оглянулся и сел на пол. На печке аккуратно складывал крылья исполинский гриф с голой шеей и зловещим загнутым клювом.

– Здравствуйте, – сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий.

Гриф, склонив голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похож на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искааться у себя под мышкой, щелкая клювом. Цилиндртик все покачивался и трещал. Гриф перестал искаться, втянул голову в плечи и прикрыл глаза желтой пленкой. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я закончил уборку и выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Потом я вернулся в комнату.

Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы: было двадцать минут первого. Я немного постоял над цилиндртиком, размышая над законом сохранения энергии, а заодно и вещества.

Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф (не обязательно данный) исчез на Кавказе или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндртика. «Лучше его не трогать, – подумал я, – Лучше его чем-нибудь прикрыть и пусть стоит». Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндртика. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью, огромные когти впились в известку. От него медленно распространялся запах гнили.

– Напрасно вы это сделали, Александр Иванович, – сказал приятный мужской голос.

– Что именно? – спросил я, оглянувшись на зеркало.

– Я имею в виду умклайдет...

Говорило не зеркало. Говорил кто-то другой.

– Не понимаю, о чём речь, – сказал я. В комнате никого не было, и я чувствовал раздражение.

– Я говорю про умклайдет, – произнес голос. – Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Умклайдет, или как вы его называете – волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения.

– Потому я и накрыл... Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

– Благодарю вас, – сказал голос.

Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонив голову набок, он осведомился с изысканнейшей вежливостью:

– Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас?

– Отнюдь, – сказал я, поднимаясь. – Прошу вас, садитесь и будьте как дома. Угодно чайку?

– Благодарю вас, – сказал незнакомец и сел напротив меня, изящным жестом поддернув штанины. – Что же касается чаю, то прошу извинения, Александр Иванович, я только что отужинал.

Некоторое время он, светски улыбаясь, глядел мне в глаза. Я тоже улыбался.

– Вы, вероятно, насчет дивана? – сказал я. – Дивана, увы, нет. Мне очень жаль, и я даже не знаю...

Незнакомец всплеснул руками.

– Какие пустяки! – сказал он. – Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто к тому же по-настоящему не верит... Пожалуйста сами, Александр Иванович, устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического – я не боюсь этого слова – именно мифического Белого Тезиса... Каждый трезво мыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе. И тем более смешны старые невежды, болтающие о Белом Тезисе... Нет, я и говорить не желаю об этом диване.

– Как вам будет благоугодно, – сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светскость. – Поговорим о чем-нибудь другом.

– Суеверия... Предрассудки... – рассеянно проговорил незнакомец. – Леность ума и зависть, зависть, поросшая волосами зависть... – он прервал самого себя, – Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. К сожалению, железо практически непрозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме...

Я поднял руки.

– Ради бога, все, что вам угодно! Убирайте ковшик... Убирайте даже этот самый... Ум... Ум... Эту волшебную палочку... – тут я остановился, с изумлением обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндр стоял в луже жидкости, похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась.

– Так будет лучше, уверяю вас, – сказал незнакомец. – Что же касается вашего великодушного предложения убрать умклайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно... Условности так сильны! Я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к умклайдету. Я вижу, вы ушиблись, и этот орел... Я думаю, вы чувствуете... Э-э... Некотороеambre...

– Да, – сказал я с чувством. – Воняет гадостно. Как в обезьяннике.

Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлившись, дремал.

— Искусство управлять умклайдетом, — сказал незнакомец, — это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления умклайдетом занимает восемь семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Как программист, вы, вероятно, без особого труда освоили бы умклайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17... Но квантовый умклайдет... Гиперполе... Трансгрессивные воплощения... Обобщенный закон Ломоносова-Лавуазье... — он виновато развел руками.

— О чём разговор! — поспешил сказать я. — Я ведь и не претендую... Конечно же, я абсолютно не подготовлен.

Тут я спохватился и предложил ему закурить.

— Благодарю вас, — сказал незнакомец. — Не употребляю, к великому моему сожалению.

Тогда, пошевелив от вежливости пальцами, я осведомился — не спросил, а именно осведомился:

— Не позволено ли мне будет узнать, чему я обязан приятностью нашей встречи?

Незнакомец опустил глаза.

— Боюсь показаться нескромным, — сказал он, — но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но, я думаю, даже вам, как вы ни далеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суeta, назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет, В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности... Не будем далеко ходить за примерами. Некто — повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более, что это сотрудник, достойный всяческого уважения, а говоря об уважении, я имею в виду если не манеры, то большой талант и самоотверженность, — так вот, некто, спеша и нервничая, теряет здесь умклайдет, и умклайдет становится центром сферы событий, в которые оказывается вовлеченный человек, совершенно к оным не причастный... — он поклонился в мою сторону. — А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредные влияния... — Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке. Затем он улыбнулся мне. — Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора... Впрочем, я не намерен более мешать вам, и поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с умклайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться. Он поднялся.

— Ну что вы! — вскричал я. — Не уходите! Мне так приятно беседовать с вами, у меня к вам тысяча вопросов!..

— Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович, но вы утомлены, вам необходимо отдохнуть...

— Нисколько! — горячо возразил я. — Наоборот!

— Александр Иванович, — произнес незнакомец, ласково улыбаясь и пристально глядя мне в глаза. — Но ведь вы действительно утомлены. И вы действительно хотите отдохнуть.

И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались. Говорить больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. Страшно хотелось спать.

— Было исключительно приятно познакомиться с вами, — сказал незнакомец негромко.

Я видел, как он начал бледнеть, бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул.

Разбудило меня хлопанье крыльев и неприятный клекот. В комнате стоял странный голубоватый полумрак. Орел на печке шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку. Я сел и огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в тренировочных брюках и в полосатой гавайке навыпуск. Он парил над цилиндром и, не прикасаясь к нему, плавно помавал огромными костищами лапами.

— В чем дело? — спросил я.

Детина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся.

— Не слышу ответа, — сказал я зло. Мне все еще очень хотелось спать.

— Тихо, ты, смертный, — сипло произнес детина. Он прекратил свои пассы и взял цилиндр с пола. Голос его показался мне знакомым.

— Эй, приятель! — сказал я угрожающе. — Положи эту штуку на место и очисти помещение.

Детина смотрел на меня, выпячивая челюсть. Я откинулся на спину и встал.

— А ну, положи умклайдет! — сказал я в полный голос.

Детина опустился на пол и, прочно упервшись ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела.

— Детка, — сказал детина, — ночью надо спать. Лучше ляг сам.

Парень был явно не дурак подраться. Я, впрочем, тоже.

— Может, выйдем во двор? — деловито предложил я, подтягивая трусы.

Кто-то вдруг произнес с выражением:

— «Устремив свои мысли на высшее Я, свободный от вожделения и себялюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!».

Я вздрогнул. Парень тоже вздрогнул.



- «Бхагават-гита»! — сказал голос. — Песнь третья, стих тридцатый.
- Это зеркало, — сказал я машинально.
- Сам знаю, — проворчал детина.
- Положи умклайдет, — потребовал я.
- Чего ты орешь, как больной слон? — сказал парень. — Твой он, что ли?
- А может быть, твой?
- Да, мой!
- Тут меня осенило.
- Значит, диван тоже ты уволок?
- Не суйся не в свои дела, — посоветовал парень.
- Отдай диван, — сказал я. — На него расписка написана.
- Пошел к черту! — сказал детина, озираясь.
- И тут в комнате появились еще двое: тощий и толстый, оба в полосатых пижамах, похожие на узников Синг-Синга.
- Корнеев! — завопил толстый. — Так это вы воруете диван?! Какое безобразие!
- Идите вы все... — сказал детина.
- Вы грубиян! — закричал толстый. — Вас гнать надо! Я на вас докладную подам!
- Ну и подавайте, — мрачно сказал Корнеев. — Займитесь любимым делом.
- Не смейте разговаривать со мной в таком тоне! Вы мальчишка! Вы дерзец! Вы забыли здесь умклайдет! Молодой человек мог пострадать!
- Я уже пострадал, — вмешался я. — Дивана нет, сплю, как собака, каждую ночь разговоры... Орел этот вонючий...
- Толстый немедленно повернулся ко мне.
- Неслыханное нарушение дисциплины, — заявил он. — Вы должны жаловаться... А вам должно быть стыдно! — Он снова повернулся к Корнееву.
- Корнеев угрюмо запихивал умклайдет за щеку. Тощий вдруг спросил тихо и угрожающе:
- Вы сняли Тезис, Корнеев?
- Детина мрачно ухмыльнулся.
- Да нет там никакого Тезиса, — сказал он. — Что вы все сепетите? Не хотите, чтобы мы диван воровали — дайте нам другой транслятор...
- Вы читали приказ о неизъятии предметов из запасника? — грозно осведомился тощий.
- Корнеев сунул руки в карманы и стал смотреть в потолок.
- Вам известно постановление Ученого совета? — осведомился тощий.

— Мне, товарищ Демин, известно, что понедельник начинается в субботу, — угрюю сказал Корнеев.

— Не разводите демагогию, — сказал тощий. — Немедленно верните диван и не смейте сюда больше возвращаться.

— Не верну я диван, — сказал Корнеев. — Эксперимент закончим — вернем.

Толстый устроил безобразную сцену. «Самоуправство!.. — визжал он.

— Хулиганство!..». Гриф опять взъяренно заорал. Корнеев, не вынимая рук из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстый устремился за ним с криком: «Нет, вы вернете диван!». Тощий сказал мне:

— Это недоразумение. Мы примем меры, чтобы оно не повторилось.

Он кивнул и тоже двинулся к стене.

— Погодите! — вскричал я. — Орла! Орла заберите! Вместе с запахом!

Тощий, уже наполовину войдя в стену, обернулся и поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Тощий исчез. Голубой свет медленно померк, стало темно, в окно снова забарабанил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, только на печке зияли глубокие царапины от когтей грифа да на потолке дико и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок.

— Прозрачное масло, находящееся в корове, — с идиотским глубоко-мыслием произнесло зеркало, — не способствует ее питанию, но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надлежащим способом.

Я выключил свет и улегся. На полу было жестко, тянуло холодом. «Будет мне завтра от старухи», — подумал я.

Глава шестая

— Нет, — произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз, — я не член клуба, я — призрак.

— Хорошо, но это не дает вам права расхаживать по клубу.

Г. Дж. Уэллс

Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился. Я только подумал, что так или иначе старуха добилась своего: диван стоит в одном углу, а я лежу в другом. Собирая постель и делая зарядку, я размышлял о том, что существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. Я даже испытывал некоторое утомление. Я пытался представить себе что-

нибудь такое, что могло бы меня сейчас поразить, но фантазии у меня не хватало. Это мне очень не нравилось, потому что я терпеть не могу людей, неспособных удивляться. Правда, я был далек от психологии «подумаешь эканевидаль», скорее, мое состояние напоминало состояние Алисы в Стране Чудес: я был словно во сне и принимал, и готов был принять любое чудо за должное, требующее более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопанье глазами.

Я еще делал зарядку, когда в прихожей хлопнула дверь, зашаркали и застучали каблуки, кто-то закашлял, что-то загремело и упало, и начальственный голос позвал: «Товарищ Горыныч!». Старуха не отозвалась, и в прихожей начали разговаривать: «Что это за дверь?.. А, понятно. А это?». – «Тут вход в музей». – «А здесь?.. Что это – все заперто, замки...». – «Весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. А это телефон». – «А где же знаменитый диван? В музее?». – «Нет. Тут должен быть запасник».

– Это здесь, – сказал знакомый угрюмый голос.

Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый старик с великолепной снежно-белой сединой, чернобровый и черноусый, с глубокими черными глазами. Увидев меня (я стоял в одних трусах, руки в стороны, ноги на ширине плеч), он приостановился и звучным голосом произнес:

– Так.

Справа и слева от него заглядывали в комнату еще какие-то лица. Я сказал: «Прошу прощения», – и побежал к своим джинсам. Впрочем, на меня не обратили внимания. В комнату вошли четверо и столпились вокруг дивана. Двоих я знал: угрюмого Корнеева, небритого, с красными глазами, все в той же легкомысленной гавайке, и смуглого, горбоносого Романа, который подмигнул мне, сделал непонятный знак рукой и сейчас же отвернулся. Седовласого я не знал. Не знал я и полного, рослого мужчину в черном, лоснящемся со спины костюме и с широкими хозяйствскими движениями.

– Вот этот диван? – спросил лоснящийся мужчина.

– Это не диван, – угрюмо сказал Корнеев. – Это транслятор.

– Для меня это диван, – заявил лоснящийся, глядя в записную книжку. – Диван мягкий, полуторный, инвентарный номер одиннадцать двадцать три. – Он наклонился и пощупал. – Вот он у вас влажный, Корнеев, таскали под дождем. Теперь считайте: пружины проржавели, обшивка сгнила.

– Ценность данного предмета, – как мне показалось, издевательски произнес горбоносый Роман, – заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет.



— Вы это прекратите, Роман Петрович, — предложил лоснящийся с достоинством. — Вы мне вашего Корнеева не выгораживайте. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться...

— Это прибор, — сказал Корнеев безнадежно. — С ним работают...

— Этого я не знаю, — заявил лоснящийся. — Я не знаю, что это за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают.

— Мы это тоже знаем, — тихонько сказал Роман.

— Вы это прекратите, — сказал лоснящийся, поворачиваясь к нему. — Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении. Что вы, собственно, имеете в виду?

— Я имею в виду, что это не есть диван, — сказал Роман. — Или, в доступной для вас форме, это есть не совсем диван. Это есть прибор, имеющий внешность дивана.

— Я попросил бы прекратить эти намеки, — решительно сказал лоснящийся. — Насчет доступной формы и все такое. Давайте каждый делать свое дело. Мое дело — прекратить разбазаривание, и я его прекрашаю.

— Так, — звучно сказал седовласый. Сразу стало тихо. — Я беседовал с Кристобалем Хозевичем и с Федором Симеоновичем. Они полагают, что этот диван-транслятор представляет лишь музейную ценность. В свое время он принадлежал королю Рудольфу Второму, так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, года два назад, если память мне не изменяет, мы уже выписывали серийный транслятор... Кто его выписывал, вы не помните, Модест Матвеевич?

— Одну минутку, — сказал лоснящийся Модест Матвеевич и стал быстро листать записную книжку. — Одну минуточку... Транслятор двухходовой ТДХ-80Е Китежградского завода... По заявке товарища Бальзамо.

— Бальзамо работает на нем круглосуточно, — сказал Роман.

— И баражло этот ТДХ, — добавил Корнеев. — Избирательность на молекулярном уровне.

— Да-да, — сказал седовласый. — Я припоминаю. Был доклад об исследовании ТДХ. Действительно, кривая селективности не гладкая... Да. А этот... э... диван?

— Ручной труд, — быстро сказал Роман. — Безотказен. Конструкции Льва Бен Бецалеля. Бен Бецалель собирал и отлаживал его триста лет...

— Вот! — сказал лоснящийся Модест Матвеевич. — Вот как надо работать! Стариk, а все делал сам.

Зеркало вдруг прокашлялось и сказало:

— Все оне помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нее такими же красивыми, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какими были в двадцать лет.

— Вот именно, — сказал Модест Матвеевич. Зеркало говорило голосом седовласого.

Седовласый досадливо поморщился.

— Не будем решать этот вопрос сейчас, — произнес он.

— А когда? — спросил грубый Корнеев.

— В пятницу на Ученом совете.

— Мы не можем разбазаривать реликвии, — вставил Модест Матвеевич.

— А мы что будем делать? — спросил грубый Корнеев.

Зеркало забубнило угрожающим замогильным голосом:

Видел я сам, как, подобравши черные платья,
Шла босая Канидия, простоволосая, с воем,
С ней и Сагана, постарше годами, и бледные обе.
Страшны были на вид. Тут начали землю ногтями
Обе рыть и черного рвать зубами ягненка...

Седовласый, весь сморшившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечу и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало.

— Так, — сказал седовласый. — Вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы... — по лицу его было видно, что он забыл имя-отчество Корнеева, — вы пока воздержитесь... э... от посещения музея.

С этими словами он вышел из комнаты. Через дверь.

— Добились своего, — сказал Корнеев сквозь зубы, глядя на Модеста Матвеевича.

— Разбазаривать не дам, — коротко ответил тот, засовывая во внутренний карман записную книжку

— Разбазаривать! — сказал Корнеев. — Плевать вам на все это. Вас ответность беспокоит. Лишнюю графу вводить неохота.

— Вы это прекратите, — сказал непреклонный Модест Матвеевич. — Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия...

— Инвентарный номер одиннадцать двадцать три, — вполголоса добавил Роман.



Джон Восса

Элджерн Мамбеби



Рон Вакер

Дэниэль Кинна



— В таком вот АКСЕПТЕ, — величественно произнес Модест Матвеевич, повернулся и увидел меня. — А вы что здесь делаете? — осведомился он. — Почему это вы здесь спите?

— Я... — начал я.

— Вы спали на диване, — провозгласил ледяным тоном Модест, сверля меня взглядом контрразведчика. — Вам известно, что это прибор?

— Нет, — сказал я. — То есть, теперь известно, конечно.

— Модест Матвеевич! — воскликнул горбоносый Роман. — Это же наш новый программист, Саша Привалов!

— А почему он здесь спит? Почему не в общежитии?

— Он еще не зачислен, — сказал Роман, обнимая меня за талию.

— Тем более!

— Значит, пусть спит на улице? — злобно спросил Корнеев.

— Вы это прекратите, — сказал Модест. — Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, госучреждение. Если все будут спать в музеях... Вы откуда?

— Из Ленинграда, — сказал я мрачно.

— Вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

— Пожалуйста, — сказал я, пожимая плечами.

Роман все держал меня за талию.

— Модест Матвеевич, вы совершенно правы, непорядок, но сегодня он будет ночевать у меня.

— Это другое дело. Это пожалуйста, — великодушно разрешил Модест. Он хозяйственным взглядом окинул комнату, увидел отпечатки на потолке и сразу же посмотрел на мои ноги. К счастью, я был босиком. — В таком вот аксепте, — сказал он, поправил рухлядь на вешалке и вышел.

— Д-дубина, — выдавил из себя Корнеев. — Пень. — Он сел на диван и взялся за голову. — Ну их всех к черту... Сегодня же ночью опять утащу.

— Спокойно, — ласково сказал Роман. — Ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил, какой это Янус?

— Ну? — сказал Корнеев безнадежно.

— Это же А-Янус.

Корнеев поднял голову.

— И какая разница?

— Огромная, — сказал Роман и подмигнул. — Потому что У-Янус улетел в Москву. И в частности — по поводу этого дивана. Понял, расхититель музеиных ценностей?

— Слушай, ты меня спасаешь, — сказал Корнеев, и я впервые увидел, как он улыбается.

— Дело в том, Саша, — сказал Роман, обращаясь ко мне, — что у нас идеальный директор. Он один в двух лицах. Есть А-Янус Полуэктович и У-Янус Полуэктович. У-Янус — это крупный ученый международного

класса. Что же касается А-Януса, то это довольно обыкновенный администратор.

– Близнецы? – осторожно спросил я.

– Да нет, это один и тот же человек. Только он один в двух лицах.

– Ясно, – сказал я и стал надевать ботинки.

– Ничего, Саша, скоро все узнаешь, – сказал Роман ободряюще.

Я поднял голову.

– То есть?

– Нам нужен программист, – проникновенно сказал Роман.

– Мне очень нужен программист, – сказал Корнеев, оживляясь.

– Всем нужен программист, – сказал я, возвращаясь к ботинкам. – И прошу без гипноза и всяких там заколдованных мест.

– Он уже догадывается, – сказал Роман.

Корнеев хотел что-то сказать, но за окном грянули крики.

– Это не наш пятак! – кричал Модест.

– А чей же это пятак?

– Я не знаю, чей это пятак! Это не мое дело! Это ваше дело – ловить фальшивомонетчиков, товарищ сержант!..

– Пятак изъят у некоего Привалова, каковой проживает здесь у вас, в Изнакурноже!..

– Ах, у Привалова? Я сразу подумал, что он ворюга!

Укоризненный голос А-Януса произнес:

– Ну-ну, Модест Матвеевич!..

– Нет, извините, Янус Полуэктович! Этого нельзя так оставить! Товарищ сержант, пройдемте!.. Он в доме... Янус Полуэктович, встаньте у окна, чтобы он не выскоцил! Я докажу! Я не позволю бросать тень на товарища Горыныча!..

У меня нехорошо похолодело внутри. Но Роман уже оценил положение. Он схватил с вешалки засаленный картуз и нахлобучил мне на уши.

Я исчез.

Это было очень странное ощущение. Все осталось на месте, все, кроме меня. Но Роман не дал мне насытиться новыми переживаниями.

– Это кепка-невидимка, – прошипел он. – Отойди в сторонку и помалкивай.

Я на цыпочках отбежал в угол и сел под зеркало. В ту же секунду в комнату ворвался возбужденный Модест, волоча за рукав юного сержанта Ковалева.

– Где он? – завопил Модест, озираясь.

– Вот, – сказал Роман, показывая на диван.

– Не беспокойтесь, стоит на месте, – добавил Корнеев.

– Я спрашиваю, где этот ваш... программист?

– Какой программист? – удивился Роман.

– Вы это прекратите, – сказал Модест. – Здесь был программист. Он стоял в брюках и без ботинок.

– Ах, вот что вы имеете в виду, – сказал Роман. – Но мы же пошутили, Модест Матвеевич. Не было здесь никакого программиста. Это было просто... – он сделал какое-то движение руками, и посередине комнаты возник человек в майке и в джинсах. Я видел его со спины и ничего о нем сказать не могу, но юный Ковалев покачал головой и сказал:

– Нет, это он.

Модест обошел призрак кругом, бормоча:

– Майка... Штаны... Без ботинок... Он! Это он.

Призрак исчез.

– Да нет же, это не тот, – сказал сержант Ковалев. – Тот был молодой, без бороды...

– Без бороды? – переспросил Модест. Он был сильно сконфужен.

– Без бороды, – подтвердил Ковалев.

– М-да... – сказал Модест. – А по-моему, у него была борода...

– Так я вручаю вам повестку, – сказал юный Ковалев и протянул Модесту листок бумаги казенного вида. – А вы уж сами разбирайтесь со своим Приваловым и со своей Горыныч...

– А я вам говорю, что это не наш пятак! – заорал Модест. – Я про Привалова ничего не говорю, может быть, Привалова и вообще нет как такового... Но товарищ Горыныч наша сотрудница!..

Юный Ковалев, прижимая руки к груди, пытался что-то сказать.

– Я требую разобраться немедленно! – орал Модест. – Вы мне это прекратите, товарищи милиция! Данная повестка бросает тень на весь коллектив! Я требую, чтобы вы убедились!

– У меня приказ... – начал было Ковалев, но Модест с криком: «Вы это прекратите! Я настаиваю!» – бросился на него и поволок из комнаты.

– В музей повлек, – сказал Роман. – Саша, где ты? Снимай кепку, пойдем посмотрим...

– Может, лучше не снимать? – сказал я.

– Снимай, снимай, – сказал Роман. – Ты теперь фантом. В тебя теперь никто не верит – ни администрация, ни милиция.

Корнеев сказал:

– Ну, я пошел спать. Саша, ты приходи после обеда. Посмотришь наш парк машин и вообще...

Я снял кепку.

– Вы это прекратите, – сказал я. – Я в отпуске.

– Пойдем, пойдем, – сказал Роман.



В прихожей Модест, вцепившись одной рукой в сержанта, другой отпирал мощный висячий замок. «Сейчас я вам покажу наш пятак! — кричал он. — Все заприходовано... Все на месте». — «Да я ничего не говорю, — слабо защищался Ковалев. — Я только говорю, что пятаков может быть не один...». Модест распахнул дверь, и мы все вошли в обширное помещение.

Это был вполне приличный музей — со стендами, диаграммами, витринами, макетами и муляжами. Общий вид более всего напоминал музей криминалистики: много фотографий и неаппетитных экспонатов. Модест сразу уволок сержанта куда-то за стенды, и там они вдвоем загудели, как в бочку: «Вот наш пятак...». — «А я ничего и не говорю...». — «Товарищ Горыныч...». — «А у меня приказ!..». — «Вы мне это прекратите!..».

— Полюбопытствуешь, полюбопытствуешь, Саша, — сказал Роман, сделал широкий жест и сел в кресло у входа.

Я пошел вдоль стены. Я ничему не удивлялся. Мне было просто очень интересно. «Вода живая. Эффективность 52%. Допустимый осадок 0,3» (старинная прямоугольная бутыль с водой, пробка залита цветным воском). «Схема промышленного добывания живой воды». «Макет живоводоперегонного куба». «Зелье приворотное Вешковского-Траубенбаха» (аптекарская баночка с ядовито-желтой мазью). «Кровь порченая обыкновенная» (запаянная ампула с черной жидкостью)... Над всем этим стендом висела табличка: «Активные химические средства. XII-XVIII вв.». Тут было еще много бутылочек, баночек, реторт, ампул, пробирок, действующих и недействующих моделей установок для возгонки, перегонки и сгущения, но я пошел дальше.

«Меч-кладенец» (очень ржавый двуручный меч с волнистым лезвием, прикован цепью к железной стойке, витрина тщательно опечатана). «Правый глазной (рабочий) зуб графа Дракулы Задунайского» (я не Киевье, но, судя по этому зубу, граф Дракула Задунайский был человеком весьма странным и неприятным). «След обыкновенный и след вынутый. Гипсовые отливки» (следы, по-моему, не отличались друг от друга, но одна отливка была с трещиной). «Ступа на стартовой площадке. IX век» (мощное сооружение из серого пористого чугуна)... «Змей Горыныч, скелет, 1/25 нат. вел.» (Похоже на скелет диплодока с тремя шеями)... «Схема работы огнедышащей железы средней головы»... «Сапоги-скороходы гравигенные, действующая модель» (очень большие резиновые сапоги)... «Ковер-самолет гравизащитный. Действующая модель» (ковер примерно полтора на полтора, с черкесом, обнимающим младую черкешенку на фоне соплеменных гор)...

Я дошел до стенд «Развитие идеи философского камня», когда в зале вновь появились сержант Ковалев и Модест Матвеевич. Судя по все-

му, им так и не удалось сдвинуться с мертвой точки. «Вы это прекратите», – вяло говорил Модест. «У меня приказ», – так же вяло ответствовал Ковалев. «Наш пятак на месте...». – «Вот пусть старуха явится и даст показания...». – «Что же мы, по-вашему, фальшивомонетчики?..». – «А я этого и не говорил...». – «Тень на весь коллектив...». – «Разберемся...». Ковалев меня не заметил, а Модест остановился, мутно осмотрел с головы до ног, а затем поднял глаза, вяло прочитал вслух: «Го-мункулус лабораторный, общий вид», – и пошел дальше.

Я двинулся за ним, предчувствуя нехорошее. Роман ждал нас у дверей.

– Ну как? – спросил он.

– Безобразие, – вяло сказал Модест. – Бюрократы.

– У меня приказ, – упрямо повторил сержант Ковалев, уже из прихожей.

– Ну, выходите, Роман Петрович, выходите, – сказал Модест, позвякивая ключами.

Роман вышел. Я сунулся было за ним, но Модест остановил меня.

– Я извиняюсь, – сказал он. – А вы куда?

– Как – куда? – спросил я упавшим голосом.

На место, на место идите.

– На какое место?

– Ну, где вы там стоите? Вы, извиняюсь, это... Хам-мун-кулс? Ну и стойте, где положено...

Я понял, что погиб. И я бы, наверное, погиб, потому что Роман, по-видимому, тоже растерялся, но в эту минуту в прихожую с топотом и стуком ввалилась Наина Киевна, ведя на веревке здоровенного черного козла. При виде сержанта милиции козел взмемекнул дурным голосом и рванулся прочь. Наина Киевна упала. Модест кинулся в прихожую, и поднялся невообразимый шум. С грохотом покатилась пустая кадушка. Роман схватил меня за руку и, прошептав: «Ходу, ходу!..» – бросился в мою комнату. Мы захлопнули за собой дверь и навалились на нее, тяжело дыша. В прихожей кричали:

– Предъявите документы!

– Батюшки, да что же это!

– Почему козел?! Почему в помещении козел?!

– Мэ-э-э-э-э...

– Вы это прекратите, здесь не пивная!

– Не знаю я ваших пятаков и не ведаю!

– Мэ-э-э-э..

– Гражданка, уберите козла!

– Прекратите, козел заприходован!

– Как заприходован?!

– Это не козел! Это наш сотрудник!

– Тогда пусть предъявит!..

– Через окно – и в машину! – приказал Роман.

Я схватил куртку и выпрыгнул в окно. Из-под ног моих с мяном шарахнулся кот Василий. Пригибаясь, я подбежал к машине, распахнул дверцу и вскочил за руль. Роман уже откатывал воротину. Мотор не заводился. Терзая стартер, я увидел, как дверь избы распахнулась, из прихожей вылетел черный козел и гигантскими прыжками помчался прочь куда-то за угол. Мотор взревел. Я развернул машину и вылетел на улицу. Дубовая воротина с треском захлопнулась. Роман вынырнул из калитки и с размаху сел рядом со мной.

– Ходу! – сказал он бодро. – В центр!

Когда мы поворачивали на проспект Мира, он спросил:

– Ну, как тебе у нас?

– Нравится, – сказал я. – Только очень шумно.

– У Наины всегда шумно, – сказал Роман. – Вздорная старуха. Она тебя не обижала?

– Нет, – сказал я. – Мы почти и не общались.

– Подожди-ка, – сказал Роман. – Притормози.

– А что?

– А вон Володька идет. Помнишь Володю?

Я затормозил. Бородатый Володя влез на заднее сиденье и, радостно улыбаясь, пожал нам руки.

– Вот здорово! – сказал он. – А я как раз к вам иду!

– Только тебя там и не хватало, – сказал Роман.

– А чем все кончилось?

– Ничем, – сказал Роман.

– А куда вы теперь едете?

– В институт, – сказал Роман.

– Зачем? – спросил я.

– Работать, – сказал Роман.

– Я в отпуске.

– Это неважно, – сказал Роман. – Понедельник начинается в субботу, а август в этот раз начнется в июле!

– Меня ребята ждут, — сказал я умоляюще.

– Это мы берем на себя, – сказал Роман. – Ребята абсолютно ничего не заметят.

– С ума сойти, – сказал я.

Мы проехали между магазином № 2 и столовой № 11.

– Он уже знает, куда ехать, – заметил Володя.

– Отличный парень, – сказал Роман. – Гигант!

– Он мне сразу понравился, – сказал Володя.

– Видимо, вам позарез нужен программист, – сказал я.

– Нам нужен далеко не всякий программист, – возразил Роман.

Я затормозил возле странного здания с вывеской «НИИЧАВО» между окнами.

– Что это означает? – спросил я. – Могу я, по крайней мере, узнать, где меня вынуждают работать?

– Можешь, – сказал Роман. – Ты теперь все можешь. Это Научно-Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства... Ну, что же ты стал? Загоняй машину.

– Куда? – спросил я.

– Ну неужели ты не видишь?

И я увидел.

Но это уже совсем другая история.



История вторая



СУЕТА СУЕТ

Глава первая

Среди героев рассказа выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные.

«Методика преподавания литературы»

Около двух часов, когда в «Алдане» снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Камноедов.

— Привалов, — сурово сказал он, — почему вы опять не на месте?

— Как это не на месте? — обиделся я. День сегодня выдался хлопотливый, и я все позабыл.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич. — Вам уже пять минут назад надлежало явиться на инструктаж.

— Елки-палки, — сказал я и повесил трубку.

Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за полузамерзшими окнами мела пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел.

Модест Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственной приемной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцами по обширной ведомости.

— Вы, Привалов, как какой-нибудь этот... хам-мункулс, — произнес Модест. — Никогда вас нет на месте.

С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный. Поэтому я рявкнул: «Слушаюсь!» — и щелкнул каблуками.

— Все должны быть на своих местах, — продолжал Модест Матвеевич. — Всегда. У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.

— Больше не повторится! — сказал я, выкатив глаза.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги и некоторое время глядел в него. — Так вот, Привалов, — сказал он, наконец, — сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников — занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых — противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздавиваниями и растраививаниями. Без этих ваших дублей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды... — он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. — А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период, но все равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всем институте чтобы ни одной живой души. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был преп-цен-дент; сбежал черт и украл луну. Широко известный преп-цен-дент, даже в кино отражен, — он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы.

Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернулся и произнес:

— Все верно. А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубель. Вот так. Значит, в пятнадцать ноль-ноль в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые три часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай — прекратите. Были сигналы:

не чай он там пьет. В таком вот аксепте. Пост ваш в приемной у директора. На диване можете отдохнуть. Завтра в шестнадцать ноль-ноль вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?

— Вполне, — сказал я.

— Я буду звонить вам ночью и завтра дуем. лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами.

— Вас понял, — сказал я и проглядел список.

Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович Невстроев с карандашной пометкой «два экз.». Вторым шел лично Модест Матвеевич, третьим — товарищ завкадрами гражданин Демин Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которые я никогда и нигде не встречал.

— Что-нибудь недоступно? — осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший.

— Вот тут, — сказал я веско, тыча пальцем в список, — наличествуют товарищи в количестве... м-м-м... двадцати одного экземпляра, лично мне не известные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать. — Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо: — Во избежание.

Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки.

— Все верно, — сказал он снисходительно. — Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера четвертого по номер двадцать пятый и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?

Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки очень трудно.

— Занимайте свой пост, — величественно сказал Модест Матвеевич. — Я со своей стороны и от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни.

Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор.

Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался: я намеревался закончить один расчет для Романа Ойры-Ойры. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре, и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление.

ление, потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфоресцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, Ойра-Ойра прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. Первым делом заговорю демонов, подумал я.

У входа в приемную мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.

– Ну? – сказал грубый Корнеев, останавливаясь.

– Я сегодня дежурю, – сообщил я.

– Ну и дурак, – сказал Корнеев.

– Грубый ты все-таки, Витька, – сказал я. – Не буду я с тобой больше общаться.

Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня.

– А что же ты будешь? – спросил он.

– Да уж найду что, – сказал я, несколько растерявшись.

Витька вдруг оживился.

– Постой-ка, – сказал он. – Ты что, в первый раз дежуришь?

– Да.

– Ага, – сказал Витька. – И как ты намерен действовать?

– Согласно инструкции, – ответил я. – Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься?

– Да собирается там одна компания, – неопределенно сказал Витька.

– У Верочки... А это у тебя что? – Он взял у меня список. – А, мертвые души...

– Никого не пущу, – сказал я. – Ни живых, ни мертвых.

– Правильное решение, – сказал Витька. – Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль.

– Чей дубль?

– Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот, возьми ключ, раз ты дежурный.

Я взял ключ.

– Слушай, Витька, часов до десяти пусть он поработает, но потом я все обесточу. В соответствии с законодательством.

– Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?

– Не встречал, – сказал я. – И не забивай мне баки. В десять часов все обесточу.

– А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город.

Тут дверь приемной отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.

— Так, — произнес он, увидев нас.

Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.

— Прошу, — сказал он, подавая мне ключи. — Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь... Кстати... — он поколебался. — Я с вами не беседовал вчера?

— Да, — сказал я, — вы заходили в электронный зал.

Он покивал.

— Да-да, действительно... Мы говорили о практикантах...

— Нет, — возразил я почтительно, — не совсем так. Это насчет нашего письма в Центракадемснаб. Про электронную приставку.

— Ах, вот как, — сказал он. — Ну хорошо, желаю вам спокойного дежурства... Виктор Павлович, можно вас на минутку?

Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал: «Так», — и снова принялся позывкать ключами. Это был А-Янус, я уже немножко научился различать их. А-Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, уверяли, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У-Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?». Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А-Янус и У-Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак была в этом какая-то условность. Я даже подозревал, что это просто метафора.

А-Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался — видимо, девочки уже разошлись. Было четырнадцать часов тридцать минут.

В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом Линейного Счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче — царе Грозном — опричники тогдашнего министра государственной безопасности Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревянной бане как колдуна;

при Алексее Михайловиче царе Тишайшем, его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче – царе Великом, он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князю-кесарю Ромодановскому, попал в каторгу на тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибрался к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом.

– П-приветствую вас! – пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий – Б-бедняга, к-как же вы это? В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позовню Модесту, что за г-глупости, я сам п-подежурю...

Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову, и он страшно ею загорелся.

– Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? П-проклятье, н-никогда не помню т-телефонов... Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать...

– Что вы, Федор Симеонович, спасибо! – вскричал я. – Не надо! Я тут как раз поработать собрался!

– Ах, п-поработать! Это д-другое дело! Эт' х-хорошо, эт' здорово, вы м-молодец!.. А я, ч-черт, электроники н-ни черта не знаю... Н-надо учиться, а т-то вся эта м-магия слова, с-старье, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив... Д-дедовские п-приемчики...

Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие «антоновки», одну вручил Мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть.

– П-проклятье, опять ч- червивое сделал... У вас как – х-хорошее? Эт' х-хорошо... Я к-в вам, Саша, п-попозже еще загляну, а то я н-не совсем п-понимаю все-таки систему к-ко манд... В-водки только выпью и з-зайду... Д-девятая к-команда у вас там в м-машинах... Т-то ли машина врет, то ли я н-не понимаю... Д-детективчик вам п-принесу, Г-гарднера. Вы ведь читаете по-аглицки? Х-хорошо, шельма, пишет,



з-здраво! П-перри Мейсон там у него, з-зверюга-адвокат, з-знаете?.. А п-потом еще что-нибудь д-дам, с-сайнс-фикшн к-какую-нибудь... Аз-зимова дам или Б-бредбери...

Он подошел к окну и сказал восхищенно:

– П-пурга, черт возьми, л-люблю!..

Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозевич Хунта. Федор Симеонович обернулся.

– А, К-кристо! – воскликнул он. – П-полюбуйся, Камноедов этот, д-дурак, засадил м-молодого п-парня дежурить н-на Новый год. Д-давай отпустим его, вдвоем останемся, в-вспомним старину, в-выпьем, а? Ч-что он тут будет мучиться?.. Ему п-плясать надо, с д-девушками...

Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно:

Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий...

– Н-ну еще бы! – загремел Федор Симеонович. – М-много крови, много п-песен за п-прелестных льется дам... К-как это там у вас?..

Только тот д-достигнет цели, кто не знает с-слова «страх»...

– Именно, – сказал Хунта. – И по-том – я не терплю благотворительности.

– Б-благотворительности он не терпит! А кто у меня выпросил Одихмантьева? П-переманил, п-понимаешь, такого лаборанта... Ставь теперь б-бутилку шампанского, н-не меньше... С-слушай, не надо шампанского! Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?

– Нас ждут, Теодор, – напомнил Хунта.

– Д-да, верно... Надо еще г-галстук найти... И валенки, такси же не д-достанешь... Мы пошли, Саша, н-не скучайте тут.

– В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, – негромко сказал Хунта. – Особенно новички.

Они пошли к двери. Хунта пропустил Федора Симеоновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на



стене Соломонову звезду. Звезда вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плонул через левое плечо.

Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом Смысла Жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда, в ранней молодости, он долго был Великим Инквизитором и по сию пору сохранил тогдашние замашки. Почти все свои неудобопонятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне возмущенно говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались — на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобала Хозевича, штандартенфюрера СС в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксiderмистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобала Хозевича, — тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше — всегда и во всем. Не чужд ему был и некоторый скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат: «Нужны ли мы нам?». Очень незаурядный человек.

Ровно в три часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвросий Амбуразович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе, из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей.

— Эта... — сказал он, приближаясь. — У меня там, может, сегодня кто выпустится. В лаборатории, значит. Надо бы, эта, присмотреть. Я ему там запасов наложил, эта, хлебца, значит, буханок пять, ну там отрубей пареных, два ведра обрату. Ну, а как все, эта, поест, кидаться начнет, значит. Так ты мне, мон шер, того, брякни, милый.

Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено.

— Куда брякнуть-та? — спросил я.

Очень я его не любил. Был он циник, и был он дурак. Работу, которой он занимался, за триста пятьдесят рублей в месяц, можно было смело назвать евгеникой, но никто ее так не называл – боялись связываться. Этот Выбегалло заявлял, что все беды, эта, от неудовольствия происходят, и ежели, значить, дать человеку все – хлебца, значить, отрубей пареных, – то и будет не человек, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время Ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью, Выбегалло заложил три экспериментальные модели: модель Человека, неудовлетворенного полностью, модель Человека, неудовлетворенного желудочно, модель Человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым – он вывёлся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серии нечленораздельных жалоб и издохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить, не лечить, то он, эта, будет, значит, несчастлив и даже, может, помрет. Как вот этот помер. Ученый совет ужаснулся. Затея Выбегаллы оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы Выбегаллы. Но тот, не растерявшись, представил две справки, из коих следовало, во-первых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз, и, во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он нетороп-



ливо вывез с подшефного рыбозавода (в порядке связи с производством) четыре грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи Выбегаллы по этажу брали отпуска за свой счет.

— Куда брякнуть-та? — спросил я.

— Брякнуть-та? А домой, куда же еще в Новый год-та. Мораль должна быть, милай. Новый год дома встречать надо. Так это выходит понашему, нес па?¹

— Я знаю, что домой. По какому телефону?

— А ты, эта, в книжечку посмотри. Грамотный? Вот и посмотри, значить, в книжечку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Ан масс².

— Хорошо, — сказал я. — Брякну.

— Брякни, мон шер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его по суналам, не стесняйся. Се ля ви³.

Я набрался храбрости и буркнул:

— А ведь мы с вами на брудершафт не пили.

— Пардон?

— Ничего, это я так, — сказал я.

Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил:

— А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя с наступающим. Бывай здоров. Аривуар⁴, значит.

Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился:

— Выбегалло забегалло?

— Забегалло, — сказал я.

— Н-да, — сказал он. — Это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жиана Жиакомо. Прямо под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкурю-ка я у тебя здесь сигарету.

Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил.

— А ну-ка, займись, — сказал он. — Дано: запах селедочного рассола, интенсивность шестнадцать микроторов, кубатура... — Он оглядел

¹ Не так ли? (франц.)

Выбегалло обожает вкраплять в свою речь отдельные словосочетания на французском, как он выражается, диалекте. Никак не отвечая за его произношение, мы взяли на себя труд обеспечить перевод. (*Примеч. автора*)

² В массе, у большинства.

³ Такова жизнь.

⁴ До свидания.

комнату. – Ну, сам сообразишь, год на переломе, Сатурн в созвездии Весов... Удаляй!

Я почесал за ухом.

– Сатурн... Что ты мне про Сатурн... А вектор магистратум какой?

– Ну, брат, – сказал Ойра-Ойра, – это ты сам должен...

Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие (произнес заклинание). Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска (ужасно больно и глупо) и поляризовал вектор. Запах опять усилился.

– Плохо, – с упреком сказал Ойра-Ойра. – Что ты делаешь, ученик чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?

– А, – сказал я, – верно. — Я учел дивергенцию и ротор, попытался решить уравнение Стокса в уме, запутался, вырвал, дыша через рот, еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Ауэрса и совсем собрался было вырвать еще волосок, но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку.

– Посредственно, – сказал он. – Займемся материализацией.

Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное», – говорил он. – А это отдашь Модесту. Он у нас Камноедов». В конце концов я сотворил настоящую грушу – большую, желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть.

Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, как всегда озабоченный и разобщенный. Бакалавра он получил триста лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и, наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад «О некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина», его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там засело, и брюки, вместо того, чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако, главным образом Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так: «Материализация и линейная натурализация Белого Тезиса, как аргумента достаточно произвольной функции сигма не вполне представимого человеческого счастья».

Тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам Белый Тезис, а, главное, понять, что это такое и где его искать.

Упоминание о Белом Тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бенцалель якобы выделил Белый Тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: «И можете вы себе представить? Тот Белый Тезис не оправдал-таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза – я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, – я уже забыл, куда же я его вмонтировал». За институтом числилось семь приборов, принадлежавших некогда Бен Бецаллю. Шесть из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами, и оставались ими по сей день. Ко мне, как представителю точных наук, Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с «этим плагиатором». В общем-то, Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения («Не в деньгах счастье»), простейшие позитивные определения («Высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача»), определения казуистические («Счастье есть отсутствие несчастья») и парадоксальные («Счастливей всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются»).

Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас исподлобья, сказал:



- Я еще одно определение нашел.
– Какое? – спросил я.
– Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?
– Конечно, хотим, – сказал Роман.

Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел:

Вы спрашиваете:
Что считаю
Я наивысшим счастьем на земле?
Две вещи:
Менять вот так же состоянье духа,
Как пенни выменял бы я на шиллинг,
И
Юной девушки
Услышать пенье
Вне моего пути, но вслед за тем,
Как у меня дорогу разузнала.

– Ничего не понял, – сказал Роман. – Дайте, я прочту глазами.

Редькин отдал ему записную книжку и пояснил:

- Это Кристофер Лог. С английского.
– Отличные стихи, – сказал Роман.

Магнус Федорович вздохнул.

- Одни одно говорят, другие – другое.
– Тяжело, – сказал я сочувственно.

– Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушки услышать пенье... И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит... Разве же так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?

– Вряд ли, – сказал я. – Я бы не взялся.

– Вот видите! – подхватил Магнус Федорович. – А вы у нас заведующий вычислительным центром! Кому же тогда?

– А может, его вообще нет? – сказал Роман голосом кинопровокатора.

- Чего?
– Счастья.

Магнус Федорович сразу обиделся.

– Как же его нет, – с достоинством сказал он, – когда я сам его неоднократно испытывал?

– Выменяв пенни на шиллинг? – спросил Роман.

Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку.

– Вы еще молодой... – начал он.

Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посередине приемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшись от неожиданности к окну, сказал: «Тыфу на вас!» – и выбежал вон.

— Good God! — сказал Ойра-Ойра, протирая запорошенные глаза. — Canst thou not come in by usual way as decent people do? Sir¹... — добавил он.

— Beg thy pardon², — сказал Мерлин самодовольно и с удовольствием посмотрел на меня. Наверное, я был бледен, потому что очень испугался самовозгорания.

Мерлин оправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес:

— Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?

— Предсказанные, — сказал Роман.

— Именно, сэр Ойра-Ойра! Именно предсказанные!

— Полезная вещь — радио, — сказал Роман.

— Я радио не слушаю, — сказал Мерлин.

— У меня свои методы.

Он потряс подолом мантии и поднялся на метр над полом.

— Люстра, — сказал я, — осторожнее.

Мерлин посмотрел на люстру и ни с того, ни с сего начал:

— Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром председателем райсовета товарищем Переяславльским...

Ойра-Ойра душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем Выбегалло, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующие отделом Предсказаний и Пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма янки еще в раннем средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений — и с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из



¹ Господи! Неужели вы не можете войти обычным образом, как входят достойные люди?.. Сэр (староангл.).

² Прошу прощения.

оной. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам, похищенным еще в двадцатые годы с соловецкой выставки юных техников. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч, и вместе с ней занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о плениении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие вочных бдениях на Лысой горе с Ха Эм Вием, Хомой Брутом и другими хулиганами.

Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель соловецкого райсовета товарищ Переяславльский совершили инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром.

— Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, герою труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь, и в пути сэр Ар... председатель сказал: «У меня нет меча». — «Не беда, — сказал ему Мерлин, — я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур: из озера поднялась рука, мозолистая и своя...

Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку.

— Алло, — сказал я. — Алло, вас слушают.

В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянулся Мерлин: «...И возле Лежнева они встретили сэра Пеллинова, однако Мерлин сделал так, что Пеллинов не заметил председателя...».

— Сэр гражданин Мерлин, — сказал я. — Нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу.

Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжить в любой момент.

— Алло, — сказал я в трубку.

— Кто у аппарата?

— А вам кого нужно? — сказал я по старой привычке.

— Вы мне это прекратите. Вы не в балагане, Привалов.

— Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает.

— Вот так. Докладывайте.

— Что докладывать?

— Слушайте, Привалов. Вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему в институте после окончания рабочего дня находятся люди?

— Это Мерлин, — сказал я.

— Гоните его в шею!

— С удовольствием, — сказал я. (Мерлин, несомненно подслушивавший, покрылся пятнами, сказал: «Гр-рубиян!» — и растаял в воздухе).

— С удовольствием или без удовольствия — это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того, чтобы запирать их в ящик.

«Выбегалло донес», — подумал я.

— Вы почему молчите?

— Будет исполнено.

— В таком вот аксепте, — сказал Модест Матвеевич. — Бдительность должна быть на высоте. Доступно?

— Доступно.

Модест Матвеевич сказал: «У меня все», — и дал отбой.

— Ну ладно, — сказал Ойра-Ойра, застегивая зеленое пальто. — Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я еще забегу попозже.

Глава вторая

Я шел, спускаясь в темные коридоры и потом опять поднимаясь наверх. Я был один; я кричал, мне не отвечали; я был один в этом обширном, в запутанном, как лабиринт, доме.

Ги де Мопассан

Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. По парадной лестнице, которой на моей памяти пользовались всего один раз, когда институт посетило августейшее лицо из Африки, я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслоениями архитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там в фосфоресцирующем тумане маячили два макродемона Максвелла. Демоны играли в самую стохастическую из игр — в орлянку. Они занимались этим все свободное время, огромные, вялые, неописуемо нелепые, более всего похожие на колонии вируса полиомиелита под электронным микроскопом, одетые в поношенные ливреи. Как и полагается демонам Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Это были опытные, хорошо выдрессированные экземпляры, но один из них, тот, что ведал выходом, достиг уже пенсионного воз-

раста, сравнимого с возрастом Галактики, и время от времени впадал в детство и начинал барахлить. Тогда кто-нибудь из отдела технического обслуживания надевал скафандр, забирался в швейцарскую, наполненную сжатым аргоном, и приводил старика в чувство.

Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Демоны не отреагировали, им было не до того. Один выигрывал, а другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что нарушало статистическое равновесие. Я закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сырьо, сумрачно и гулко. Здание института было вообще довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах, справа от входа у стены громоздились обломки древних идолов, наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. С почерневших портретов под потолком строго взирали маститые старцы, в их лицах усматривались знакомые черты Федора Симеоновича, товарища Жиана Жиакомо и других мастеров. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубы дневного света, но все было заприходовано, заинвентаризировано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено.

На капителях колонн и в лабиринтах исполнинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали нетопыри и летучие собаки. С ними Модест Матвеевич боролся. Он поливал их скипидаром и креозотом, опылял дустом, опрыскивал гексахлораном, они гибли тысячами, но возрождались десятками тысяч. Они мутировали, среди них появлялись поющие и разговаривающие штаммы, потомки наиболее древних родов питались теперь исключительно пиретрумом, смешанным с хлорофосом, а институтский киномеханик Саня Дрозд клялся, что своими глазами видел здесь однажды нетопыря, как две капли воды похожего на товарища завкадрами.

В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите, – строго сказал я. – Что еще за мистика! Как нестыдно!...». В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице.

Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нем было не менее двенадцати этажей. Выше двенадцатого я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Фасад с десятью окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался, по крайней мере, на километр, и, тем не менее, решитель-



но все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Это поражало меня необычайно. Первое время я приставал к Ойре-Ойре, чтобы он мне объяснил, как это совмещается с классическими или хотя бы с релятивистскими представлениями о свойствах пространства. Из объяснений я ничего не понял, но постепенно привык и перестал удивляться. Я совершенно убежден, что через десять-пятнадцать лет любой школьник будет лучше разбираться в общей теории относительности, чем современный специалист. Для этого вовсе не нужно понимать, как происходит искривление пространства-времени, нужно только, чтобы такое представление с детства вошло в быт и стало привычным.

Весь первый этаж был занят отделом Линейного Счастья. Здесь было царство Федора Симеоновича, здесь пахло яблоками и хвойными лесами, здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов черной магии, здесь никто не рвал, шипя и кривясь от боли, из себя волос, никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки, не варил заживо жаб и ворон в полночь, в полнолунье, на Ивана Купала, по несчастливым числам. Здесь работали на оптимизм. Здесь делали все возможное в рамках белой, субмолекулярной и инфранейронной магии, чтобы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый, беззлобный смех; разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь; возгоняли и сублимировали экстракты гореутолителей, не содержащих ни одной молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты.

Я отомкнул дверь центрального зала, и, стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор Детского Смеха, похожий чем-то на генератор Ван де Граафа. Только, в отличие от генератора, он работал совершенно бесшумно и около него хорошо пахло. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно, — короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но я даже колебаться не стал, попятился в коридор и запер за собой дверь. Обесточивать что бы то ни было в лабораториях Федора Симеоновича представлялось мне просто кощунством.

Я медленно пошел по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лабораторий, и на углу встретил домового Тихона, который ри-

совал и еженощно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием. Тихон был славный серенький домовик из рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность: с кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку вареную... Федор Симеонович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма, и он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно, в стиле Бидструпа, и славился среди местных домовых рассудительностью и трезвым поведением.

Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал. Надзиратель вивария, пожилой вольноотпущеный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко.

— С наступающим, — сказал я, сделав вид, что ничего не заметил.

Он прокашлялся, прикрыл рот ладонью и сипло ответил:

— Благодарствуйте. И вас тоже.

— Все в порядке? — спросил я, оглядывая ряды клеток и стойл.

— Бриарей палец сломал, — сказал Альфред.

— Как так?

— Да так уж. На восемнадцатой правой руке. В носе ковырял, повернулся неловко — они ж неуклюжие, гекатонхейры, — и сломал.

— Так ветеринара надо, — сказал я.

— Обойдется! Что ему, впервые, что ли...

— Нет, так нельзя, — сказал я. — Пойдем посмотрим.

Мы прошли вглубь вивария мимо вольера с гарпиями, проводившими нас мутными со сна глазами, мимо клетки с Лернейской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года — Гекатонхейры, сторукие и пятидесятиголовые братцы-близнецы, первенцы Неба и Земли, помещавшиеся в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Гиес и Котт спали, свернувшись в узлы, из которых торчали синие бритые головы с закрытыми глазами и волосатые расслабленные руки. Бриарей маялся. Он сидел на корточках, прижаввшись к решетке и выставив в проход руку с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками. Остальными девяносто двумя руками он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали.

— Что? — сказал я жалостливо. — Болит?

Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык.

— Страсть как болит, — сказала она. Остальные притихли и, раскрыв рты, уставились на меня.

Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. У нас в спортзале такие травмы

вылечивались без всякого врача. Я вцепился в палец и рванул его на себя, что было силы. Бриарей взревел всеми пятьюдесятью глотками и повалился на спину.

– Ну-ну-ну, – сказал я, вытирая руки носовым платком. – Все уже, все...

Бриарей, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули шеи и нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы те не застили. Альфред ухмылялся.

– Кровь бы ему пустить полезно, – сказал он с давно забытым выражением, потом вздохнул и добавил: – Да только какая в нем кровь – видимость одна. Одно слово – нежить.

Бриарей поднялся. Все пятьдесят голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощяя Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были развешаны портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичи, одного из Борджиа и то ли Голдуотера, то ли Маккарти. Сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги, перед огромным пюпитром и читал офсетную копию «Молота ведьм». При этом он делал длинными пальцами неприятные движения: не то что-то завинчивал, не то что-то вонзал, не то что-то сдирал. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычом. (Сам З. Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносилось его металлическое храпение и взревывания спросонок). Я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удаленной от нас точке времени Кощяя и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении: смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно, а вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл...

Тут меня схватили за штанину, и пропитой голос произнес:

– А ну, урки, с кем на троих?

Мне удалось вырваться. Троє вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизые морды к металлической сетке, через которую был пропущен ток в двести вольт.

– Руку отдавил, дылда очкастая! – сказал один.

– А ты не хватай, – сказал я. – Осины захотел?

Подбежал Альфред, щелкая плетью, и вурдалаки убрались в темный угол, где сейчас же принялись скверно ругаться и шлепать самодельными картами.

Я сказал Альфреду:

– Ну хорошо. По-моему, все в порядке. Пойду дальше.

– Путь добрый, – отвечал Альфред с готовностью.

Поднимаясь по ступенькам, я слышал, как он гремит чайником и булькает.

Я заглянул в машинный зал и посмотрел, как работает энергогенератор. Институт не зависел от городских источников энергии. Вместо этого, после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо известное Колесо Фортуны как источник даровой механической энергии. Над цементным полом зала возвышался только небольшой участок блестящего отполированного обода гигантского колеса, ось вращения которого лежала где-то в бесконечности, отчего обод выглядел просто лентой конвейера, выходящей из одной стены и уходящей в другую. Одно время было модно защищать диссертации на уточнении радиуса кривизны Колеса Фортуны, но, поскольку все эти диссертации давали результат с крайне невысокой точностью, до десяти мегапарсеков, Ученый совет института принял решение прекратить рассмотрение диссертационных работ на эту тему вплоть до того времени, когда создание трансгалактических средств сообщения позволит рассчитывать на существенное повышение точности.

Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у колеса – вскачивали на обод, проезжали до стены, соскачивали и мчались обратно. Я решительно призвал их к порядку. «Вы это прекратите, – сказал я, – это вам не балаган». Они попятались за кожухи трансформаторов и принялись обстреливать меня оттуда жеваной бумагой. Я решил не связываться с молокососами, прошел вдоль пультов и, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж.

Здесь было тихо, темно и пыльно. У низенькой полуоткрытой двери дремал, опираясь на длинное кремневое ружье, старый, дряхлый солдат в мундире Преображенского полка и в треуголке. Здесь размещался отдел Оборонной Магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики, за исключением, может быть, Федора Симеоновича, в свое время отдали дань увлечению этим разделом магии. Бен Бецалель успешно использовал Голема при дворцовых переворотах: глиняное чудовище, равнодушное к подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно и императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзамо создал первый в истории самолетный эскадрон на помехах, хорошо показавший себя на полях сражений Столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался: часть ведьм повыходила замуж, а остальные увязались за рейтарскими полками в качестве маркитанок. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину дюжин ифритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнемет-

ный батальон. Молодой Кристобаль Хунта привел в дружину Карлу Великому китайского, натасканного на мавров дракона, но, узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, рассвирепел и дезертировал. На протяжение многовековой истории войн разные маги предлагали применять в бою вампиров (для ночной разведки боем), василисков (для поражения противника ужасом до полной окаменелости), ковры-самолеты (для сбрасывания нечистот на неприятельские города), мечи-кладенцы различных достоинств (для компенсации малочисленности) и многое другое. Однако уже после первой мировой войны, после Длинной Берты, танков, иприта и хлора оборонная магия начала хиреть. Из отдела началось повальное бегство сотрудников. Дольше всех задержался там некий Питирим Шварц, бывший монах и изобретатель подпорки для мушкета, беззаветно трудившийся над проектом джинн-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джиннами, выдержанными в заточении не менее трех тысяч лет. Хорошо известно, что джинны в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Основательно выдержаный джинн (рассуждал Питирим Шварц), освободившись из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придется туго. Некоторым препятствием к осуществлению этого замысла являлось недостаточное количество бутылок с джиннами, но Шварц рассчитывал пополнить запасы глубоким тралением Красного и Средиземного морей. Рассказывают, что, узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Питирим потерял душевное равновесие, раздал имевшихся у него джиннов по отделам и ушел исследовать смысл жизни к Кристобалю Хунте. Больше его никто и никогда не видел.

Когда я остановился на пороге, солдат посмотрел на меня одним глазом, прохрипел: «Не велено, проходи дальше...» – и снова задремал. Я оглядел пустую захламленную комнату с обломками диковинных моделей и обрывками безграмотных чертежей, пошевелил носком ботинка валявшуюся у входа папку со смазанным грифом «Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь» и пошел прочь. Обесточивать здесь было нечего, а что касается самовозгорания, то все, что могло самовозгореться, самовозгорело здесь много лет назад.

На этом же этаже располагалось книгохранилище. Это было мрачноватое пыльное помещение под стать вестибюлю, но значительно более обширное. По поводу его размеров рассказывали, что в глубине, в полукилометре от входа, идет вдоль стеллажей неплохое шоссе, оснащенное верстовыми столбами. Ойра-Ойра доходил до отметки «19», а настырный Витька Корнеев в поисках технической документации на диван-транслятор раздобыл семимильные сапоги и добежал до отметки «124».



Он продвинул бы и дальше, но дорогу ему преградила бригада данаид в ватниках и с отбойными молотками. Под присмотром толстомордого Каина они взламывали асфальт и прокладывали какие-то трубы. Ученый совет неоднократно поднимал вопрос о постройке вдоль шоссе высоковольтной линии для передачи абонентов хранилища по проводам, однако все позитивные предложения наталкивались на недостаток фондов.

Хранилище было битком набито интереснейшими книгами на всех языках мира и истории, от языка атлантов до пиджин-инглиш включительно. Но меня там больше всего заинтересовало многотомное издание Книги Судеб. Книга Судеб печаталась петитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73 619 024 511-ти людях разумных. Первый том начинался питекантропом Агуыхх. («Род. 2 Авг. 965543 г. до н. э., ум. 13 Ян. 965522 г. до н. э. Родители рамапитеки. Жена рамапитек. Дети: самец Ад-Амм, самка Э-уа. Кочевал с трибой рамапитеков по Ааратской долине. Ел, пил, спал в свое удовольствие. Провертел первую дыру в камне. Сожран пещерным медведем во время охоты»). Последним в последнем томе регулярного издания, вышедшем в прошлом году, числился Франсиско-Каэтано-Августин-Лусия-и-Мануэль-и-Хосефа-и-Мигель-Лука-Карлос-Педро Тринидад. («Род. 16 июля 1491 г. н. э., ум. 17 июля 1491 г. н. э. Родители: Педро-Карлос-Лука-Мигель-и-Хосефа-и-Мануэль-и-Лусия-Августин-Каэтано-Франсиско Тринидад и Мария Тринидад (см.) Португалия. Анацефал. Кавалер ордена Святого Духа, полковник гвардии»).

Из выходных данных явствовало, что Книга Судеб выходит тиражом в 1 (один) экземпляр, и этот последний том подписан в печать еще во времена полетов братьев Монгольфье. Видимо, для того, чтобы как-то удовлетворить потребности современников, изательство предприняло публикацию срочных нерегулярных выпусков, в которых значились только годы рождения и годы смерти. В одном из таких выпусков я нашел и свое имя. Однако, из-за спешки в эти выпуски вкраплялась масса опечаток, и я с изумлением узнал, что умру в 1611 году. В восьмитомнике же замеченных опечаток до моей фамилии еще не добрались.

Консультировала издание Книги Судеб специальная группа в отделе Предсказаний и Пророчеств. Отдел был захудалый, запущенный, он никак не мог оправиться после кратковременного владычества сэра гражданина Мерлина, и институт неоднократно объявлял конкурс на замещение вакантной должности заведующего отделом, и каждый раз на конкурс подавал заявление один-единственный человек – сам Мерлин.

Ученый совет добросовестно рассматривал заявление и благополучно проваливал его – сорока тремя голосами «против» при одном «за». (Мерлин по традиции тоже был членом Ученого совета).

Отдел Предсказаний и Пророчеств занимал весь третий этаж. Я, прошёлся вдоль дверей с табличками «Группа кофейной гущи», «Группа авгуроў», «Группа пифий», «Синоптическая группа», «Группа пасъянсов», «Соловецкий Оракул». Обесточивать мне ничего не пришлось, поскольку отдел работал при свечах. На дверях синоптической группы уже появилась свежая надпись мелом: «Темна вода во облацах». Каждое утро Мерлин, проклиная интриги завистников, стирал эту надпись мокрой тряпкой, и каждую ночь она возобновлялась. Вообще, на чем держался авторитет отдела, мне было совершенно непонятно. Время от времени сотрудники делали доклады на странные темы, вроде: «Относительно выражения глаз авгура» или «Предикторские свойства гущи из-под кофе мокко урожая 1926 года». Иноща группе пифий удавалось что-нибудь правильно предсказать, но каждый раз пифии казались такими удивлёнными и напуганными своим успехом, что весь эффект пропадал даром. У-Янус, человек деликатнейший, не мог, как было неоднократно отмечено, сдержать неопределенной улыбки каждый раз, когда присутствовал на заседаниях семинара пифий и авгуроў.

На четвертом этаже мне, наконец, нашлась работа: я погасил свет в кельях отдела Вечной Молодости. Молодежи в отделе не было, и эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали гасить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они все еще называли электричку чугункой.

В лаборатории сублимации между длинных столов бродила, зевая – руки в карманы, – унылая модель вечно молодого юнца. Ее седая двухметровая борода волочилась по полу и цеплялась за ножки стульев. На всякий случай я убрал в шкаф стоявшую на табуретке бутыль с «царской водкой» и отправился к себе в электронный зал.

Здесь стоял мой «Алдан». Я немножко полюбовался на него, какой он компактный, красивый, таинственно поблескивающий. В институте к нам относились по-разному. Бухгалтерия, например, встретила меня с распростёртыми объятиями, и главный бухгалтер, скромно улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчетами заработной платы и рентабельности. Жиан Жиакомо, заведующий отделом универсальных превращений, вначале тоже обрадовался, но, убедившись, что «Алдан» не способен рассчитать даже элементарную трансформацию кубика свинца в кубик золота, охладел к моей электронике и удостаивал нас только редкими случайными заданиями. Зато от его подчиненного и любимого ученика Витьки Корнеева спасу не было. И Ойра-Ойра постоянно сидел

у меня на шее со своими зубодробительными задачами из области иррациональной метаматематики. Кристобаль Хунта, любивший во всем быть первым, взял за правило подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе, так что на другой день у него в голове все время что-то явственно жужжало и щелкало, а сбитый с толку «Алдан», вместо того, чтобы считать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на древнюю шестидесятичную, да еще менял логику, начисто отрицая принцип исключенного третьего. Федор же Симеонович Киврин забавлялся с машиной, как ребенок с игрушкой. Он мог часами играть с ней в чет-нечет, обучил ее японским шахматам, а чтобы было интереснее, вселил в машину чью-то бессмертную душу – впрочем, довольно жизнерадостную и работящую. Янус Полуэктович (не помню уже, А или У) воспользовался машиной только один раз. Он привнес с собой небольшую полупрозрачную коробочку, которую подсоединил к «Алдану». Примерно через десять секунд работы с этой приставкой в машине полетели все предохранители, после чего Янус Полуэктович извинился, забрал свою коробочку и ушел.

Но, несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря на то, что одушевленный теперь «Алдан» иногда печатал на выходе: «Думаю. Прошу не мешать», несмотря на недостаток запасных блоков и на чувство беспомощности, которое охватывало меня, когда требовалось произвести логический анализ «неконгруэнтной трансгрессии в психополе инкуб-преобразования», – несмотря на все это, работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Я провел все расчеты в работе Ойра-Ойры о механизме наследственности биполярных гомункулов. Я составил для Витьки Корнеева таблицы напряженности М- поля дивана-транслятора в девятимерном магопространстве. Я вел рабочую калькуляцию для подшefного рыбозавода. Я рассчитал схему для наиболее экономного транспортирования эликсира Детского Смеха. Я даже сосчитал вероятности решения пасьянсов «Большой слон», «Государственная дума» и «Могила Наполеона» для забавников из группы пасьянсов и проделал все квадратуры численного метода Кристобаля Хозевича, за что тот научил меня впадать в нирвану. Я был доволен, дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла.

Было еще рано – всего седьмой час. Я включил «Алдан» и немножко поработал. В девять часов вечера я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился на пятый этаж. Пурга все не унималась. Это была настоящая новогодняя пурга. Она выла и визжала в старых заброшенных дымоходах, она наметала сугробы под окнами, бешено дергала и раскачивала редкие уличные фонари.

Я миновал территорию административно-хозяйственного отдела. Вход в приемную Модеста Матвеевича был заложен крест-накрест дву



Петр Семёнович Кречум



Сергей Петрович Кречум



Пётр Михаилович Глебов Кречум

тавровыми железными балками, а по сторонам, сабли наголо, стояли два здоровенных ифрита в тюрбанах и в полном боевом снаряжении. Нос каждого, красный и распухший от насморка, был прободен массивным золотым кольцом с жестяным инвентарным номерком. Вокруг пахло серой, паленой шерстью и стрептоцидовой мазью. Я задержался на некоторое время, рассматривая их, потому что ифриты в наших широтах существа редкие. Но тот, что стоял справа, небритый и с черной повязкой на глазу, стал есть меня глазом. О нем ходила дурная слава, будто он бывший людоед, и я поспешно пошел дальше. Мне было слышно, как он с хлюпаньем тянет носом и причмокивает за моей спиной.

В помещениях отдела Абсолютного Знания были открыты все форточки, потому что сюда просачивался запах селедочных голов профессора Выбегаллы. На подоконниках намело, под батареями парового отопления темнели лужи. Я закрыл форточки и прошелся между девственно чистыми столами работников отдела. На столах красовались новенькие чернильные приборы, не знавшие чернил, из чернильниц торчали окурки. Станный это был отдел. Лозунг у них был такой: «Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому работай не работай – все едино». И в интересах неувеличения энтропии Вселенной они не работали. По крайней мере, большинство из них. «Ан масс», – как сказал бы Выбегалло. По сути, задача их сводилась к анализу криевой относительного познания в области ее ассильтотического приближения к абсолютной истине. Поэтому одни сотрудники все время занимались делением нуля на нуль на настольных «мерседесах», а другие отпрашивались в командировки на бесконечность. Из командировок они возвращались бодрые, отъевшиеся и сразу брали отпуск по состоянию здоровья. В промежутках между командировками они ходили из отдела в отдел, присаживались с дымящимися сигаретками на рабочие столы и рассказывали анекдоты о раскрытии неопределенностей методом Лопиталия. Их легко узнавали по пустому взору и по исцарапанным от непрерывного бритья ушам. За полгода моего пребывания в институте они дали «Алдану» всего одну задачу, которая сводилась все к тому же делению нуля на нуль и не содержала никакой абсолютной истины. Может быть, кто-нибудь из них и занимался настоящим делом, но я об этом ничего не знал.

В половине одиннадцатого я вступил на этаж Амвросия Амбуразовича Выбегаллы. Прикрывая лицо носовым платком и стараясь дышать через рот, я направился прямо в лабораторию, известную среди сотрудников как «Родильный Дом». Здесь, по утверждению профессора Выбе-

галлы, рождались в колбах модели идеального человека. Вылуплялись, значить. Компрене ву?¹

В лаборатории было душно и темно. Я включил свет. Озарились серые гладкие стены, украшенные портретами Эскулапа, Парацельса и самого Амвросия Амбуразовича. Амвросий Амбуразович был изображен в черной шапочке на благородных кудрях, и на его груди неразборчиво сияла какая-то медаль.

В центре лаборатории стоял автоклав, в углу – другой, побольше. Около центрального автоклава прямо на полу лежали буханки хлеба, стояли оцинкованные ведра с синеватым обратом и огромный чан с паренными отрубями. Судя по запаху, где-то поблизости находились и селедочные головы, но я так и не смог понять, где. В лаборатории царила тишина, из недр автоклава доносились ритмичные щелкающие звуки.

Почему-то на цыпочках, я приблизился к центральному автоклаву и заглянул в смотровой иллюминатор. Меня и так мутило от запаха, а тут стало совсем плохо, хотя ничего особенного я не увидел: нечто белое и бесформенное медленно колыхалось в зеленоватой полутьме. Я выключил свет, вышел и старательно запер дверь. «По сусалам его», – вспомнил я. Меня беспокоили смутные предчувствия. Только теперь я заметил, что вокруг порога проведена толстая магическая черта, расписанная корявыми каббалистическими знаками. Присмотревшись, я понял, что это было заклинание против гаки – голодного демона ада.

С некоторым облегчением я покинул владения Выбегаллы и стал подниматься на шестой этаж, где Жиан Жиакомо и его сотрудники занимались теорией и практикой универсальных превращений. На лестничной площадке висел красочный стихотворный плакат, призывающий к созданию общественной библиотеки. Идея принадлежала местному, стихи были мои:

Раскопай своих подвалов
И шкафов перетряси,
Разных книжек и журналов
По возможности неси.

Я покраснел и пошел дальше. Вступив на шестой этаж, я сразу увидел, что дверь Витъкиной лаборатории приоткрыта, и услышал сиплое пение. Я крадучись подобрался к двери.

¹ Понимаете?

Глава третья

Хочу тебя прославить. Тебя, пробивающегося сквозь метель зимним ветром. Твое сильное дыхание и мерное биение твоего сердца...

У. Уитмен

Давечка Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль – это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Не хватает, скажем, человеку рук – он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что паять контакты, или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Или нужна человеку модель-антропоид для какого-нибудь эксперимента – он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего ходить по потолку или принимать телепатемы, но зато уж умеющего хорошо. Или самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату, а времени терять ему не хочется, и он посыпает вместо себя своего дубля, только и умеющего что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дублей умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело – даже ходить. И вот стоишь, бывало, в очереди, вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин, а поговорить не с кем. Стоят как каменные, не мигают, не дышат, с ноги на ногу не переминаются, и сигарету спросить не у кого.

Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине. И никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой «Москвич», ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез прямо на глазах ошеломленного директора проката.

Одно время я думал, что А-Янус и У-Янус – это дубль и оригинал, однако это было совсем не так. Прежде всего, оба директора имели паспорта, дипломы, пропуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казенной печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. Этим загадочным свойством дублей долго занимался Магнус Редъкин, но задача оказалась ему явно не по силам.

Далее, Янусы были белковыми существами. По поводу же дублей до сих пор еще не прекратился спор между философами и кибернетиками: считать их живыми или нет. Большинство дублей представляли собою кремнийорганические структуры, были дубли и на германиевой основе, а последнее время вошли в моду дубли на алюмополимерах.

И наконец, самое главное – ни А-Януса, ни У-Януса никто никогда не создавал искусственно. Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями-близнецами, они были одним человеком – Янусом Полуэктовичем Невструевым. Никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались.

Витькин дубль стоял, упервшись ладонями в лабораторный стол, и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив:

Мы не Декарты, не Ньютоны мы,
Для нас наука — темный лес
Чудес.
А мы нормальные астрономы — да!
Хватаем звездочки с небес...

Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Но от Витькиного дубля можно было ожидать всего. Я помню одного Витькиного дубля, который осмеливался препираться по поводу неумеренного расхода психоэнергии с самим Модестом Матвеевичем. А ведь Модеста Матвеевича даже сформированные мною чучела без рук, без ног боялись до судорог, по-видимому, инстинктивно.

Справа от дубля, в углу, стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80Е, убыточное изделие китежградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом, в свете трех рефлекторов, блестел штопаной кожей мой старый знакомец – диван. На диване была водружена детская ванна с водой, в ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Еще в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, у самой двери стояла большая, зеленого стекла четвертная бутыль, покрытая пылью. В бутыли находился опечатанный джин, можно было видеть, как он там шевелится, посверкивая глазками.

Витькин дубль перестал рассматривать гомеостат, сел на диван рядом с ванной и, уставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбку, пропел следующий куплет:

В целях природы обуздания,
В целях рассеять неученья
Тьму
Берем картину мироздания — да!
И тупо смотрим, что к чему...

Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принял сопя, что-то там с трудом проворачивать.

Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Наины Киевны, и спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, на темновых токах, а иначе я проснулся бы каким-нибудь мальчиком-с пальчик в сапогах. Для Магнуса Редькина диван был возможным вместилищем искомого Белого Тезиса. Для Модеста Матвеевича – музеинм экспонатом инвентарный номер 1123, к разбазариванию запрещенным. Для Витьки это был инструмент номер один. Поэтому Витька крал диван каждую ночь, Магнус Федорович из ревности доносил об этом завкадрами товарищу Демину, а деятельность Модеста Матвеевича сводилась к тому, чтобы все это прекратить. Витька крал диван до тех пор, пока не вмешался Янус Полуэктович, которому в тесном взаимодействии с Федором Симеоновичем при активной поддержке Жиана Жиакомо, опираясь на официальное письмо Президиума Академии наук за личными подписями четырех академиков, удалось-таки полностью нейтрализовать Редькина и слегка потеснить с занимаемых позиций Модеста Матвеевича.

Модест Матвеевич объявил, что он, как лицо материально ответственное, не желает ни о чем слышать и что желает он, чтобы диван инвентарный номер 1123 находился в специально отведенном для него, дивана, помещении. А ежели этого не будет, сказал Модест Матвеевич грозно, то пусть все, до академиков включительно, пеняют на себя. Янус Полуэктович согласился пенять на себя, Федор Симеонович тоже, и Витька быстренько перетащил диван в свою лабораторию. Витька был серьезный работник, не то что шалопай из отдела Абсолютного Знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента.

Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок и снова перевернулся на спину.

– С-скотина, – сказал дубль с выражением.

Я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я ехидно осведомился:

– Работаем?

Дубль тупо смотрел на меня.

– Ну брось, брось, – сказал я. – Все ясно.

Дубль молчал. Он стоял, как каменный, и не мигал.

– Ну, вот что, – сказал я. – Сейчас пол-одиннадцатого. Даю тебе десять минут. Все прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. А уж обесточу я сам.

Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятаился очень осторожно, обогнулся диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание, на столе появился «мерседес», авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать, время от времени опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже, и я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно нечувствительны к боли. Пошарив в кармане, я извлек маленькие острые клещи и, выразительно пощелкивая ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола, и сказал:

– Н-н-ну?

– Чего ты ко мне пристал? – осведомился Витьяка. – Видишь ведь, что человек работает.

– Ты же дубль, – сказал я. – Не смей со мной разговаривать.

– Убери клещи, – сказал он.

– А ты не валяй дурака, – сказал я. – Тоже мне дубль.

Витьяка сел на край стола и устало потер уши.

– Ничего у меня сегодня не получается, – сообщил он. – Дурак я сегодня. Дубля сотворил – получился какой-то уж совершенно безмозглый. Все ронял, на умклайдет сел, животное... Треснул я его по шее, руку отбил... И окунь дохнет систематически.

Я подошел к дивану и заглянул в ванну.

– А что с ним?

– А я откуда знаю?

– Где ты его взял?

– На рынке.

Я поднял окуня за хвост.

– А чего ты хочешь? Обыкновенная снулая рыбка.

– Дубина, – сказал Витьяка. – Вода-то живая...

– А-а, – сказал я и стал соображать, что бы ему посоветовать. Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно. В основном, по сказке об Иване-царевиче и Сером Волке.

Джинн в бутыли двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запыленное снаружи.

– Протер бы бутыль, – сказал я, ничего не придумав.

– Что?

– Пыль с бутылки сотри. Скучно же ему там.

— Черт с ним, пусть скучает, — рассеянно сказал Витька. Он снова за-сунул руку в диван и снова провернул там что-то. Окунь ожил.

— Видал? — сказал Витька. — Когда даю максимальное напряжение — все в порядке.

— Экземпляр неудачный, — сказал я наугад.

Витька вынул руку из дивана и уставился на меня.

— Экземпляр... — сказал он. — Неудачный... — Глаза у него стали как у дубля. — Экземпляр экземпляру люпус эст...

— Потом он, наверное, мороженый, — сказал я, осмелев.

Витька меня не слушал.

— Где бы рыбу взять? — сказал он, озираясь и хлопая себя по карманам. — Рыбочку бы...

— Зачем? — спросил я.

— Верно, — сказал Витька. — Зачем? Раз нет другой рыбы, — рассудительно произнес он, — почему бы не взять другую воду? Верно?

— Э, нет, — возразил я. — Так не пойдет.

— А как? — жадно спросил Витька.

— Выметайся отсюда, — сказал я. — Покинь помещение.

— Куда?

— Куда хочешь.

Он перелез через диван и сгреб меня за грудки.

— Ты меня слушай, понял? — сказал он угрожающе. — На свете нет ничего одинакового. Все распределяется по гауссиане. Вода воде рознь... Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств...

— Эй, милый, — позвал я его. — Новый год скоро! Не увлекайся так.

Он отпустил меня и засуетился:

— Куда же я его дел?.. Вот лапоть!.. Куда я его сунул?.. А, вот он...

Он бросился к стулу, на котором торчком стоял умклайдет. Тот самый. Я отскочил к двери и сказал умоляюще:

— Опомнись! Двенадцатый же час! Тебя же ждут! Верочка ждет!

— Не, — отвечал он. — Я им туда дубль послал. Хороший дубль, развесистый... Дурак дураком. Анекдоты, стойку делает, танцует, как вол...

Он крутил в руках умклайдет, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз.

— Выметайся, говорят тебе! — заорал я в отчаянии.

Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с джинном и стал смотреть.

Витька замер в классической позе для материального заклинания (позиция «мартихор»), над столом поднялся розовый пар, вверх-вниз



Brunica Kopress



Carina Styrbaards



Boguslava Chmelová

запрыгали тени, похожие на летучих мышей, исчез «мерседес», исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул умклайдет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее и протер джинну окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории.

Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то сломя голову мчался по лестнице, кто-то кричал: «Валька! Напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную!», кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом быстро шел изящно изогнутый Жиан Жиакомо, за ним с его огромным портфелем под мышкой и с его тростью в зубах семенил гном. Мы раскланялись. От великого престиджитатора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить его я не посмел, и он прошел сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном просунул ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления.

— Какого дьявола? — вскричал я и побежал на лестницу.

Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул: треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания, дробный стук «мерседесов» и «рейнметаллов». И над всем этим раскатистый и победительный рык Федора Сименовича: «Эт' хорошо, эт' здо-о-рово! Вы молодец, голубчик! Но к-какой дурак выключил г-генератор?». Меня саданули в спину твердым углом, и я ухватился за перила. Я рассвирепел. Это был Володя Почкин и Эдик Амперян, они тащили на свой этаж координатно-измерительную машину весом в полтонны.

— А, Саша? — приветливо сказал Эдик. — Здравствуй, Саша.

— Сашка, посторонись с дороги! — крикнул Володя Почкин, пятаясь задом. — Заноси, заноси!..

Я схватил его за ворот:

— Ты почему в институте? Ты как сюда попал?

— Через дверь, через дверь, пусти... — сказал Володя. — Эдька, еще правее! Ты видишь, что не проходит?

Я отпустил его и бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. «Я вам покажу, — бормотал я, прыгая через четыре ступеньки. — Я вам покажу бездельничать. Я вам покажу всех пус-

кать без разбору!..» Макродемоны Вход и Выход, вместо того, чтобы заниматься делом, дрожа от азарта и лихорадочно фосфоресцируя, резались в рулетку. На моих глазах забывший свои обязанности Вход сорвал банк примерно в семьдесят миллиардов молекул у забывшего свои обязанности Выхода. Рулетку я узнал сразу. Это была моя рулетка. Я сам смастерили ее для одной вечеринки и держал ее за шкафом в электронном зале, и знал об этом один только Витька Корнеев. Заговор, решил я. Всех разнесу. А через вестибюль все шли и шли покрытые снегом краснолицые веселые сотрудники.

– Ну и метет! Все уши забило...

– А ты тоже ушел?

– Да ну, скукотища... Напились все. Дай, думаю, пойду лучше поработаю. Оставил им дубля и ушел...

– Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки – не помогает...

– А если пучок электронов? Масса большая? Ну, тогда фотонов...

– Алексей, у тебя лазер свободный есть? Ну, давай хоть газовый...

– Галка, как же это ты мужа оставила?

– Я еще час назад вышел, если хочешь знать. В сугроб, понимаешь, провалился, чуть не занесло меня...

Я понял, что не оправдал. Не было уже смысла отбирать рулетку у демонов, оставалось только пойти и вдребезги разругаться с провокатором Витькой, а там будь что будет. Я погрозил демонам кулаком и побрел вверх по лестнице, пытаясь представить себе, что было бы, если бы в институт сейчас заглянул Модест Матвеевич.

По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джинна. Джинн, огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженном щитами Джян бен Джяна и закрытом сверху мощным магнитным полем. Джинна стегали высоковольтными разрядами, он выл, ругался на нескольких мертвых языках, скакал, отрыгивал языки огня, в запальчивости начинал строить и тут же разрушал дворцы, потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл:

– Ну, хватит, ну, отстаньте, ну, я больше не буду... Ой- йой-йой... Ну, я уже совсем тихий...

У пульта разрядника стояли спокойные немигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столпившись около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки.

Я подошел к ним.

– А, Сашка!

– Сашенция, ты, говорят, дежурный сегодня... Я к тебе потом забегу в зал.

– Эй, кто-нибудь, сотворите ему стакан, у меня руки заняты...

Я был ошеломлен и не заметил, как в руке у меня очутился стакан. Пробки грянули в щиты Джян бен Джяна, шипя, полилось ледяное шампанское. Разряды смолкли, джинн перестал скулить и начал принюхиваться. В ту же секунду кремлевские часы принялись бить двенадцать.

– Ребята! Да здравствует понедельник!

Стаканы сдвинулись. Потом кто-то сказал, осматривая бутылку:

– Кто творил вино?

– Я.

– Не забудь завтра заплатить.

– Ну что, еще бутылочку?

– Хватит, простудимся.

– Хороший джинн попался... Нервный немножко.

– Дареному коню...

Ничего, полетит как миленький. Сорок витков продержится, а там пусть катится со своими нервами.

– Ребята, – робко сказал я, – ночь на дворе... И праздник. Шли бы вы по домам...

На меня посмотрели, меня похлопали по плечу, мне сказали: «Ничего, это пройдет», – и гурьбой двинулись к вольеру... Дубли откатили один из щитов, а оригиналы деловито окружили джинна, крепко взяли его за руки и за ноги и поволокли к вибростенду. Джинн трусливо причитал и неуверенно сузил всем сокровища царей земных. Я одиноко стоял в сторонке и смотрел, как они пристегивают его ремнями и прикрепляют к разным частям его тела микродатчики. Потом я потрогал щит. Он был огромный, тяжелый, изрытый вмятинами от ударов шаровых молний, местами обуглившийся. Щиты Джян бен Джяна были сделаны из семи драконьих шкур, склеенных желчью отцеубийцы, и расчитаны на прямое попадание молнии.

К каждому щиту были обойными гвоздиками прибиты жестяные инвентарные номера. Теоретически на лицевой стороне щитов должны были быть изображения всех знаменитых битв прошлого, а на внутренней – всех великих битв грядущего. Практически же на лицевой стороне щита, перед которым я стоял, виднелось что-то вроде реактивного самолета, штурмующего автоколонну, а внутренняя сторона была покрыта странными разводами и напоминала абстрактную картину.

Джинна стали трясти на вибростенде. Он хихикал и взвизгивал: «Ой, щекотно!.. Ой, не могу!...». Я вернулся в коридор. В коридоре пахло бенгальскими огнями. Под потолком крутились штухи; стучали о стены и оставляя за собой струи цветного дыма, проносились ракеты. Я повстречал дубля Володи Почкина, волочившего гигантскую инкунаабулу

с медными застежками, двух дублей Романа Ойры-Ойры, изнемогавших под тяжеленным швейлером, потом самого Романа с кучей ярко-синих папок из архива отдела Недоступных Проблем, а затем свирепого лаборанта из отдела Смысла Жизни, конвоирующего на допрос к Хунте стадо ругающихся привидений в плащах крестоносцев... Все были заняты и деловиты.

Трудовое законодательство нарушалось злостно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкою, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, люди с большой буквы, и девизом их было – «понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха, внешнее. Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перевило у них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье – в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни – в том же. Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тоща, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И, наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, потому что так же, как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну.

В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, развратник и карьерист продолжает ходить на задних конечностях, разговаривать вполне членораздельно (хотя круг тем у них сужается до предела). Что касается узких брюк и увлечения джазом, по которым одно время пытались определять степень обезьяноподобия, то довольно быстро выяснилось, что они свойственны даже лучшим мз магов.

В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт предоставлял неограниченные возможности для превращения человека в мага. Но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило

сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а иногда даже просто мыслям), как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. Теперь все зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек – переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на все рукой («живем один раз», «надо брать от жизни все», «все человеческое мне не чуждо»), и тогда ему остается одно: как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он еще может остаться, по крайней мере, добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая,уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выест. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но этих еще можно пожалеть, можно пытаться помочь им, можно еще надеяться вернуть им человеческий облик...

Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. Расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющие любое зло обратить себе в добро и в этом неутомимые. Они тщательно выбирают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле – в строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой...

Я вернулся на свой пост в приемную директора, свалил бесполезные ключи в ящик и прочел несколько страниц из классического труда Я. П. Невструева «Уравнения математической магии». Эта книга читалась как приключенческий роман, потому что была битком набита поставленными и нерешенными проблемами. Мне жгуче захотелось работать, и я совсем было уже решил начхать на дежурство и уйти к своему «Алдану», как позвонил Модест Матвеевич.

С хрустом жуя, он сердито осведомился:

– Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню, безобразие!

– С Новым годом, Модест Матвеевич, – сказал я.

Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже:

– Соответственно. Как дежурство?

– Только что обошел помещения, – сказал я. – Все нормально.

– Самовозгораний не было?

– Никак нет.

– Везде обесточено?

– Бриарей палец сломал, – сказал я.

Он встревожился.

– Бриарей? Постойте... Ага, инвентарный номер 1489... Почему?

Я объяснил.

– Что вы предприняли?

Я рассказал.

– Правильное решение, – сказал Модест Матвеевич. – Продолжайте дежурить. У меня все.

Сразу после Модesta Матвеевича позвонил Эдик Амперян из отдела Линейного Счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Я согласился, и мы договорились встретиться в электронном зале через два часа. Потом зашел дубль Ойры-Ойры и бесцветным голосом попросил ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Я отказал. Он стал настаивать. Я выгнал его вон.

Через минуту примчался сам Роман.

– Давай ключи.

Я помотал головой.

– Не дам.

– Давай ключи!

– Иди ты в баню. Я – лицо материально ответственное.

– Сашка, я сейф унесу!

Я ухмыльнулся и сказал:

– Прошу.

Роман уставился на сейф и весь напрягся, но сейф был либо заговорен, либо привинчен к полу.

– А что тебе там нужно? – спросил я.

– Документация на РУ-16, – сказал Роман. – Ну, дай ключи!

Я засмеялся и протянул руку к ящику с ключами. И в то же мгновение пронзительный вопль донесся откуда-то сверху. Я вскочил.

Глава четвертая

*Горе! Малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем...*

А. С. Пушкин

- Вылупился, – спокойно сказал Роман, глядя в потолок.
- Кто? – мне было не по себе: крик был женский.
- Выбегаллов упырь, – сказал Роман. – Точнее, кадавр.
- А почему женщина кричала?
- А вот увидишь, – сказал Роман.

Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. Пронизывая потолки, мы врезались в перекрытия, как нож в замерзшее масло, затем с чмокающим звуком высакивали в воздух и снова врезались в перекрытия. Между перекрытиями было темно, и маленькие гномы вперемешку с мышами с испуганными писками шарахались от нас, а в лабораториях и кабинетах, через которые мы пролетали, сотрудники с озадаченными лицами смотрели вверх.

В «Родильном Доме» мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалло. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залепили низкий лоб, на котором плавнел действующий вулканический прыщ. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате.

Профессор Выбегалло кашал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная пареными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову набок и жмурился, словно от огромного наслаждения. Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал за края чан с отрубями и ведра с обратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый раз придвигал их к себе все ближе и ближе. На другом конце стола молоденькая ведьма-практикантка Стелла с чистыми розовыми ушками, бледная и заплаканная, с дрожащими губками, нарезала хлебные буханки огромными скибами и, отворачиваясь, подносила их Выбегалле на вытянутых руках. Центральный автоклав был раскрыт, опрокинут, и вокруг него растеклась обширная зеленоватая лужа.

- Выбегалло вдруг произнес неразборчиво:
- Эй, девка... эта... Молока давай! Лей, значит, прямо сюда, в отрубя... С иль ву пле, значит...

Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обрат.



— Эх! — воскликнул профессор Выбегалло. — Посуда мала, значить! Ты, девка, как тебя, эта, прямо в чан лей, будем, значить, из чана кушать.

Стелла стала опрокидывать ведра в чан с отрубями, а профессор, ухвативши кювету, как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть, раскрывшуюся вдруг невероятно широко.

— Да позовите же ему, — жалобно закричала Стелла. — Он же сейчас все доест!

— Звонили уже, — сказали в толпе. — Ты лучше от него отойди все-таки. Ступай сюда.

— Ну, он придет? Придет?

— Сказал, что выходит. Галоши, значить, надевает и выходит. Отойди от него, тебе говорят.

Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был новорожденный кадавр, модель Человека, неудовлетворенного же-лудочно. И слава богу, а то я уж было подумал, что профессора хватил мозговой паралич. Как следствие напряженных занятий.

Стелла осторожненько отошла. Ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. Кадавр жрал. В лаборатории, полной народа, стояла потрясенная тишина, и было слышно только, как он сопит и хрустит, словно лошадь, и скребет кюветой по стенкам чана. Мы смотрели. Он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечке Новосмеховой стало плохо, и ее вывели в коридор. Потом ясный голос Эдика Амперяна произнес:

— Хорошо. Будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доесть хлеб. А потом?

В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском:

— Еще селедочные головы есть...

— Много?

— Две тонны.

— М-да, — сказал Эдик. — И где же они?

— Они должны подаваться по конвейеру, — сказала Стелла. — Но я пробовала, а конвейер сломан...

— Между прочим, — сказал Роман громко, — уже в течении двух минут я пытаюсь его пассивизировать, и совершенно безрезультатно...

— Я тоже, — сказал Эдик.

— Поэтому, — сказал Роман, — было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера. Как паллиа-

тив. Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Эдика я вижу. Еще кто-нибудь есть? Корнеев! Виктор Павлович, ты здесь?

– Нет его. Может быть, за Федором Симеоновичем сбегать?

– Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся как-нибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно.

– В каком режиме?

– В режиме торможения. Вплоть до тетануса. Ребята, помогайте все, кто умеет.

– Одну минутку, – сказал Эдик. – А если мы его повредим?

– Да-да-да, – сказал я. – Вы уж лучше не надо. Пусть уж он лучше меня сожрет.

– Не беспокойся, не беспокойся. Мы будем осторожны. Эдик, давай на прикосновениях. В одно касание.

– Начали, – сказал Эдик.

Стало еще тише. Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, возившиеся с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцепил последнюю буханку хлеба. Затем он рокочуще отрыгнул и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бессмысленно улыбался. Он был несомненно счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добрившийся, наконец, до желанной постели.

– Подействовало, кажется, – с облегченным вздохом сказал кто-то в толпе.

Роман с сомнением поджал губы.

– У меня нет такого впечатления, – вежливо сказал Эдик.

– Может быть, у него завод кончился? – сказал я с надеждой.

Стелла жалобно сообщила:

– Это просто релаксация... Пароксизм довольства. Он скоро опять проснется.

– Слабаки вы, магистры, – сказал мужественный голос. – Пустите-ка меня, пойду, Федора Симеоновича позову.

Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл умклайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча: «Что ж это будет? Саша, я боюсь!». Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту Матвеевичу. Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Это была слабость, и я был бессилен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете. Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» – как упырь немедленно бы прекратил.

– Роман, – сказал я небрежно, – я думаю, что, в крайнем случае, ты способен его дематериализовать?

Роман засмеялся и похлопал меня по плечу.

– Не трусь, – сказал он. – Это все игрушки. С Выбегаллою только связываться неохота... Этого ты не бойся, ты вон того бойся! – Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу.

Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан. Потом погремел пустыми ведрами. Потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки.

– Ну, держись, ребята... – прошептали в толпе.

Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно бы от сильного раздражения, глаза увлажнились, но он кусал раз за разом, пока не сковал всю кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошелся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд – оценивающий, выбирающий какой-то. Володя Почкин непроизвольно произнес: «Но-но, тихо, ты...». И тут пустые прозрачные глаза уперлись в Стеллу, и она испустила вопль, тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора четырьмя этажами ниже. Я содрогнулся. Кадавра это тоже смущило: он опустил глаза и нервно забарабанил пальцами по столу.

В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбуазович Выбегалло. Настоящий. От него пахло водкой, зипуном и морозом.

– Милай! – закричал он. – Что же это, а? Кель сетуасъен!¹ Стелла, что же ты, эта, смотришь!.. Где селедка? У него же потребности!.. У него же они растут!.. Мои труды читать надо!

Он приблизился к кадавру, и кадавр сейчас же принял ядно его обнюхивать. Выбегалло отдал ему зипун.

– Потребности надо удовлетворять! – говорил он, торопливо щелкая переключателями на пульте конвейера. – Почему сразу не дала? Ох уж эти ле фам, ле фам!².. Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе, а заго-

¹ Ну и дела!

² Женщины, женщины!



ворен. Чтоб, значит, не всякому пользоваться, потому что, эта, потребности у всех, а селедка – для модели...

В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селедочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегалло, стоя рядом, хлопал в ладоши, радостно вскрикивал, и время от времени, переполняясь чувствами, принимался чесать кадавра за ухом.

Толпа облегченно вздыхала и шевелилась. Выяснилось, что Выбегалло привел с собой двух корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомые – Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая бликами, они принялись фотографировать и записывать в книжечку. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались по науке. Г. Проницательный был прославлен фразой: «Оорт первый взглянул на звездное небо и заметил, что Галактика вращается». Ему же принадлежали: литературная запись повествования Мерлина о путешествии с председателем райсовета и интервью, взятое (по неграмотности) у дубля Ойры-Ойры. Интервью имело название «Человек с большой буквы» и начиналось словами: «Как всякий истинный ученый, он был немногословен...». Б. Питомник паразитировал на Выбегалле. Его боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающейся самоукладывающейся в грузовики моркови и о других проектах Выбегаллы были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов.

Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства, и он задремал, подоспевшие лаборанты Выбегаллы, с корнем выдранные из-за новогодних столов и потому очень неприветливые, торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки на плечи кадавру и, нацелясь объективами, попросили продолжать.

– Главное – что? – с готовностью провозгласил Выбегалло. – Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках: счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, все, что хочет, а хочет все, что может. Нес па, товарищи? Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собой имеем? Мы имеем модель. Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Так сказать, экселент, экsvи, шарман¹... И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то

¹ Чудесно, превосходно, прелестно.

она... Он, значит, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся. Вот оно сейчас просыпается... Оно хочет. И потому оно пока несчастливо. Но оно может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во, во!.. Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный!.. Во, во! Вот как оно может! Минут десять-пятнадцать оно может... Вы, там, товарищ Питомник, свой фотоаппаратик отложите, а возьмите вы киноаппаратик, потому как здесь мы имеем процесс... здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Вот так. Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью. К довольству, то есть. Видите, оно глаза закрыло. Наслаждается. Ему хорошо. Я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. В данный, конечно, момент... Вы, товарищ Проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я приглажу и ссылки вставлю... Вот теперь оно дремлет, но это еще не все. Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Это, значит, будет единственно верный процесс. Он ди ке¹, Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади. Сатур вентур, как известно, нон студит либентур²... Что мы, применительно к данному случаю, переведем так: голодной куме все хлеб на уме...

– Наоборот, – сказал Ойра-Ойра.

Некоторое время Выбегалло пусто смотрел на него, затем сказал:

– Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметем с негодованием. Как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного – от практики. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. То есть, посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому, и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету... Мы, товарищи, не забываем, что ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение матпотребностей особенных способностей не требует, они всегда есть, ибо природа следует материализму. Пока насчет духовных способностей данной модели мы сказать не можем, поскольку ее рациональное зерно есть желудочная неудовлетворенность. Но эти духпотребности мы сейчас у нее вычленим.

¹ Говорят что...

² Сытое брюхо к учению глухо.

Угрюмые лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Кадавр окинул инструменты культуры равнодушным взором и попробовал на вкус магнитофонную ленту. Стало ясно, что духпотребности модели спонтанно не проявятся. Тогда Выбегалло приказал начинать, как он выразился, насильтвенное внедрение культурных навыков. Магнитофон сладко запел: «Мы с милым расставалися, клялись в любви своей...». Радиоприемник засвистел и заулююкал. Проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два лаборанта встали с журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать вслух...

Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопатить, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопатить и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий Выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана (из радиоприемника) и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Это подрагивание привело его в восторг.

– Ногу! – закричал он, хватая за рукав Б. Питомника. – Снимайте ногу! Крупным планом! Ля вибрасъен са моле гош этюн гранд синь!¹ Эта нога отметет все проказы и сорвет все ярлыки, которые на меня навешиваю! Уи сан дот², человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, все великолепное обнаруживается в малом, а я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно – только одной потребности и, называя вещи своими именами, прямо, по нашему, без всех этих вуалей – модель потребности желудочной. Поэтому у нее такое ограничение и в духпотребностях. А мы утверждаем, что только разнообразие матпотребностей может обеспечить разнообразие духпотребностей. Поясняю для прессы на доступном ей примере. Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне «Астра-7» за сто сорок рублей, каковая потребность должна пониматься нами как материальная, и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы, потому что, сами понимаете, что еще с магнитофоном делать? А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка – надо ее слушать или там танцевать... А что, товарищи, есть слушанье музыки с танцами или без них? Это есть удовлетворение духпотребностей. Компране ву?

¹ Дрожание его левой икры есть великий признак!

² Разумеется.

Я уже давно заметил, что поведение кадавра существенно переменилось. То ли в нем что-то разладилось, то ли так и должно было быть, но время релаксаций у него все сокращалось и сокращалось, так что к концу речи Выбегаллы он уже не отходил от конвейера. Впрочем, возможно, ему просто стало трудно передвигаться.

— Разрешите вопрос, — вежливо сказал Эдик. — Чем вы объясняете прекращение пароксизмов довольства?

Выбегалло замолк и посмотрел на кадавра. Кадавр жрал. Выбегалло посмотрел на Эдика.

— Отвечаю, — самодовольно сказал он. — Вопрос, товарищи, верный. И, я бы даже сказал, умный вопрос, товарищи. Мы имеем перед собою конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. И только поверхностному наблюдателю может казаться, что пароксизмы довольства якобы прекратились. На самом деле они диалектически перешли в новое качество. Они, товарищи, распространялись на сам процесс удовлетворения потребностей. Теперь ему мало быть сытым. Теперь потребности возросли, теперь ему надо все время кушать, теперь он самообучился и знает, что жевать, — это тоже прекрасно. Понятно, товарищ Амперян?

Я посмотрел на Эдика. Эдик вежливо улыбался. Рядом с ним стояли рука об руку дубли Федора Симеоновича и Кристобала Хозевича. Головы их, с широко расставленными ушами, медленно поворачивались вокруг оси, как аэродромные радиолокаторы.

— Еще вопрос можно? — сказал Роман.

— Прошу, — сказал Выбегалло с устало-снисходительным видом.

— Амвросий Амбуразович, — сказал Роман, — а что будет, когда оно все потребит?

Взгляд Выбегаллы стал гневным.

— Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит малтизианством, неомальтизианством, прагматизмом, экзистенци... оа... нализмом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ Ойра-Ойра? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра! Не подумали вы! А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим.

Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный, скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос:

— Я, конечно, не специалист. Но какое будущее данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно. Но очень уж активно она потребляет.

Выбегалло горько усмехнулся.

— Вот видите, товарищ Ойра-Ойра, — сказал он. — Так вот и возникают нездоровые сенсации. Вы, не подумав, задали вопрос. И вот уже рядовой товарищ неверно сориентирован. Не на тот идеал смотрит... Не на тот идеал смотрите, товарищ Проницательный! — обратился он прямо к корреспонденту. — Данная модель есть уже пройденный этап! Вот идеал, на который нужно смотреть! — Он подошел ко второму автоклаву и положил рыжеволосую руку на его полированный бок. Борода его задралась. — Вот наш идеал! — провозгласил он. — Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря, по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть, для удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.

— Простите, — вежливо сказал Эдик, — и все ее потребности будут материальными?

— Ну, разумеется! — вскричал Выбегалло. — Духовные потребности разовьются в соответствии! Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполнин духа и корифей!

Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали. Некоторые, как я заметил, со странным выражением переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Стелла, припав лбом к моему плечу, всхлипывала и шептала: «Уйду я отсюда, не могу, уйду...». Я, кажется, тоже начинал понимать, чего опасался Ойра-Ойра. Мне представилась громадная отверстая пасть, в которую, брошенные магической силой, сыплются животные, люди, города, континенты, планеты и солнца...

— Амвросий Амбруазович, — сказал Ойра-Ойра. — А может универсальный потребитель создать камень, который даже при самом сильном желании не сумеет поднять?

Выбегалло задумался, но только на секунду.

— Это не есть матпотребность, — ответил он. — Это есть каприз. Не для того я создавал своих дублей, чтобы они, значит, капризничали.

— Каприз тоже может быть потребностью, — возразил Ойра-Ойра.

— Не будем заниматься схоластикой и казуистикой, — предложил Выбегалло. — И не будем проводить церковно-мистических аналогий.

— Не будем, — сказал Роман.

Б. Питомник сердито оглянулся на него и снова обратился к Выбегалло:

— А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амвросий Амбруазович?

— Ответ, — сказал Выбегалло. — Демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте прессы будет оповещена дополнительно.

— Но это будет в ближайшие дни?

— Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего остаться и подождать.

Тут дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича, словно по команде, повернулись и вышли. Ойра-Ойра сказал:

— Вам не кажется, Амвросий Амбруазович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города, опасно?

— Нам опасаться нечего, — веско сказал Выбегалло. — Пусть наши враги, эта, опасаются.

— Помните, я говорил вам, что возможна...

— Вы, товарищ Ойра-Ойра, недостаточно, значит, подкованны. Отличать надо, товарищ Ойра-Ойра, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще...

— Все-таки, может быть, на полигоне...

— Я испытываю не бомбу, — высокомерно сказал Выбегалло. — Я испытываю модель идеального человека. Какие будут еще вопросы?

Какой-то умник из отдела Абсолютного Знания принялся расспрашивать о режиме работы автоклава. Выбегалло с охотой пустился в объяснения. Угрюмые лаборанты собирали свою технику удовлетворения духпотребностей. Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расползаясь по швам. Ойра-Ойра изучающе глядел на него. Потом он вдруг громко сказал:

— Есть предложение. Всем лично не заинтересованным немедленно покинуть помещение.

Все обернулись к нему.

— Сейчас здесь будет очень грязно, — пояснил он. — До невозможности грязно.

— Это провокация, — с достоинством сказал Выбегалло.

Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили, Выбегалле — нет: В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты, а мы столпились в коридоре.

— В чем дело? — спрашивали Романа. — Что будет? Почему грязно?

— Сейчас он рванет, — отвечал Роман, не сводя глаз с двери.

— Кто рванет? Выбегалло?

— Корреспондентов жалко, — сказал Эдик. — Слушай, Саша, душ у нас сегодня работает?

Дверь лаборатории отворилась, и оттуда вышли два лаборанта, волоча чан с пустыми ведрами. Третий лаборант, опасливо оглядываясь, суетился вокруг и бормотал: «Давайте, ребята, давайте, я помогу, тяжело ведь...».

— Двери закройте, — посоветовал Роман.

Суетящийся лаборант поспешил захлопнуть дверь и подошел к нам, вытаскивая сигареты. Глаза у него были круглые и бегали.

— Ну, сейчас будет... — сказал он. — Проницательный дурак, я ему подмигивал... Как он жрет!.. С ума сойти, как он жрет...

— Сейчас двадцать пять минут третьего... — начал Роман.

И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесло фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись. Стелла опять взвигнула.

— Спокойно, — сказал Роман. — Уже все. Одним потребителем на земле стало меньше.

Лаборант, белый, как халат, непрерывно затягиваясь, курил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил:

— Надо посмотреть, что ли.

Никто не отозвался. Все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шепотом: «Он дежурный сегодня, понял?.. Надо же кому-то идти выгребать...».

Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и Выбегалло.

Господи, в каком они были виде!..

Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул. Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда домовых-ассенизаторов.

Глава пятая

Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете.

Ф. Рабле

Больше всего меня поразило то, что Выбегалло нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывав ли его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вещал фальцетом:

— Вот вы, товарищи Ойра-Ойра и Амперян, вы тоже все опасались. Что, мол, будет, да как, мол, его остановить... Есть, есть в вас, товарищи, эдакий нездоровый, значить, скептицизм. Я бы сказал, эдакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло! Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности и забрызгало меня и вот товарищей из прессы...

Пресса потеряно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов. Г. Проницательного била крупная дрожь. Б. Питомник мотал головой и непроизвольно облизывался.

Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало: кучка пуговиц с надписью «фор джентльмен»¹, рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая искошаемую челюсть гигантопитека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль. Выбегалло осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что все в порядке. «Прессу прошу ко мне, — сказал он. — Прочим предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям». Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия» и информационной заметки «Профессор Выбегалло рассказывает».

Зрители разошлись. Ушел Ойра-Ойра, забрав у меня ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Ушла в отчаянии Стелла, которую Выбегалло отказался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты. Ушел Эдик, окруженный толпою теоретиков, прикидывая на ходу минимальное возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. Я тоже отправился на свой пост, предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не раньше восьми утра.

Эксперимент произвел на меня тягостное впечатление, и, устроившись в огромном кресле в приемной, я некоторое время пытался понять, дурак Выбегалло или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собст-

¹ «Мужские».

венных дублей умел создавать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию и закончивший двухгодичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов-аспирантов. Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали и, с точки зрения науки, представляли не больший интерес, чем карточные фокусы или шпагоглотание. Можно было, конечно, понять всех этих горе-корреспондентов, которые липли к Выбегалле, как мухи к помойке. Потому что с точки зрения неспециалиста все это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутные ощущения каких-то громадных возможностей. Труднее было понять Выбегаллу с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным, лишенным возможности (да и желания) разобраться в сути вопроса. Если не считать двух-трех изнуренных командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности, никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контактами с прессой: это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование.

Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященным заумными и тоскливо-непонятными. Люди, далекие от науки, в наше время ждут от нее чуда и только чуда, и практически не способны отличить настояще научное чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальто-морталя. Наука чародейства и волшебства не составляет исключения. Организовать на телестудии конференцию знаменитых привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие, и это никому не нужно, но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящим свойством взгляда и филологическими характеристиками слова «бетон», попробуйте решить эту маленькую частную проблемку, известную под названием Великой Проблемы Ауэрса! Ее решил Ойра-Ойра, создав теорию фантастической общности и положив начало совершенно новому разделу математической магии. Но почти никто не слыхал об Ойре-Ойре, зато все превосходно знают профессора Выбегаллу. («Как, вы работаете в НИИЧАВО? Ну, как там Выбегалло? Что он еще новенького открыл?..»). Это происходит потому, что идеи Ойры-Ойры способны воспринять всего двести-триста человек на всем земном шаре, и среди этих двух-трех сотен довольно много членов-корреспондентов и – увы! – нет ни одного корреспондента. А классический труд Выбегаллы «Основы технологии производства самонадевающейся обуви», набитый

демагогической болтовней, произвел в свое время заботами Б. Питомника изрядный шум. (Позже выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости).

Время было позднее. Я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть: многоногие гигантские комары, бородатые, как Выбегалло, говорящие ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Приснулся я от боли и увидел рядом с собою мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру.

«Брысь!», – заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу.

Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом «Уравнений математической магии», открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. «Вот так возникают нездоровые сенсации», – подумал я.

Было шесть часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз восемнадцать часов назад. И я решил пустить вместо себя дубль.

Вообще, я пока еще очень слабый маг. Неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В «Уравнениях матмагии» я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнегреческом. Все-таки учение и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня, только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по шести пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к З. Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе Колеса Фортуны – не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак.

Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у

меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом – сливочным, из хрустальной масленки – и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я различил вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица, – сказал я себе, – ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их. Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольная и не экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и, по мере того, как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались, они издавали отвратительные звуки, они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал

его креслом к стене. Часть предметов, в конце концов, мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались: блюдо, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размера кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно.

В коридоре послышались шаги и голоса, дверь распахнулась, на пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу небрежно, одним универсальным движением брови ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним последовали Федор Симеонович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю, кто. Я принял завтракать, прислушиваясь к голосам, доносящимся из кабинета.

— Начнем с того, — с холодным презрением говорил Кристобаль Хозевич, — что ваш, простите «Родильный Дом» находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение десяти минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят выплетевшие стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений...

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь, — отвечал Выбегалло фальцетом. — Я до вашего этажа не касаюсь, хотя вот у вас в последнее время бесперечь текет живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от нее заводятся. Но я вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего.

— Г-голубчик, — пророкотал Федор Симеонович, — Амвросий Амбруазович! Н-надо же принять во внимание в-возможные осложнения... В-ведь никто же не занимается, скажем, д-драконом в здании, хотя есть и огнеупоры, и...

— У меня не дракон, у меня счастливый человек! Исполин духа! Както странно вы рассуждаете, товарищ Киврин, странные у вас аналогии, чужие! Модель идеального человека — и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!..

— Г-голубчик, да дело же не в том, ч-что он внеклассовый, а в том, что он п-пожар может устроить...

— Вот, опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович!

— Я г-говорю о д-драконе...

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович! Вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия... Между умственным и физическим... Между городом и деревней... Между мужчиной и женщиной, наконец... Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Симеонович!

— К-какую пропасть? Что за ч-чертовщина, Р-роман, в конце концов?.. Вы же ему при мне объясняли! Я г-говорю, Амвросий Амбруазович, что ваш эксперимент оп-пасен, понимаете?.. Г-город можно повредить, пронимаете?

— Я-то все понимаю. Я-то не позволю сдельному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру!

— Амвросий Амбруазович, — сказал Роман, — я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен потому...

— Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу. Идеальный человек ему, видите ли, опасен!

Тут Роман, видимо, по молодости лет, потерял терпение.

— Да не идеальный человек! — заорал он. — А ваш гений-потребитель! Воцарилось зловещее молчание.

— Как вы сказали? — страшным голосом осведомился Выбегалло. — Повторите. Как вы назвали идеального человека?

— Ян-нус Полуэктович, — сказал Федор Симеонович, — так, друг мой, нельзя все-таки...

— Нельзя! — воскликнул Выбегалло. — Правильно, товарищ Киврин, нельзя! Мы имеем эксперимент международно-научного звучания! Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института! Это символично! Товарищ Ойра-Ойра с его прагматическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме! И товарищ Хунта тоже смотрит узколобо! Не смотрите на меня, товарищ Хунта, царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете! Разве в нашем, товарищи, духе бояться эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди!

— П-прекратите демагогию! — взорвался, наконец, и Федор Симеонович. — К-как вам не совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за словечко такое — п-простой? Это д-дубли у нас простые!..

— Я могу сказать только одно, — равнодушно сообщил Кристобаль Хозевич. — Я простой бывший Великий Инквизитор, и я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне.

— И не ближе пяти километров от г-города, — добавил Федор Симеонович. — Или д-даже десяти.

По-видимому, Выбегалле ужасно не хотелось тащить свою аппаратуру и тащиться самому на полигон, где была выюга и не было достаточного освещения для кинохроники.

— Так, — сказал он, — понятно. Отгораживаете науку от народа. Тогда уж, может быть, не на десять километров, а прямо на десять тысяч километров, Федор Симеонович? Где-нибудь по ту сторону? Где-нибудь на Аляске, Кристобаль Хозевич, или откуда вы там? Так прямо и скажите. А мы запишем!

Снова воцарилось молчание, и было слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— Лет триста назад, — холодно произнес Хунта, — за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насеквозд.

— Ничего, ничего, — сказал Выбегалло. — Это вам не Португалия. Критики не любите. Триста лет назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафолик недорезанный.

Меня скрутило от ненависти. Почему молчит Янус? Сколько же можно? В тишине раздались шаги, в приемную вышел бледный, оскаленный Роман и, щелкнув пальцами, создал дубль Выбегаллы. Затем он с наслаждением взял дубля за грудь, мелко потряс, взялся за бороду, сладострастно рванул несколько раз, успокоился, уничтожил дубля и вернулся в кабинет.

— А ведь в-вас гнать надо, В-выбегалло, — неожиданно спокойным голосом произнес Федор Симеонович. — Вы, оказывается, н-неприятная фигура.

— Критики, критики не любите, — отвечал, отдуваясь, Выбегалло.

И вот тут, наконец, заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у джек-лондоновских капитанов.

— Эксперимент, согласно просьбе Амвросия Амбуразовича, будет произведен сегодня в десять ноль-ноль. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначаю дальний сектор полигона в пятнадцати километрах от городской черты. Пользуюсь случаем заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество.

Некоторое время, по-видимому, все переваривали это решение. Во всяком случае, я переваривал. У Януса Полуэктовича была все-таки, несомненно странная манера выражать свои мысли. Впрочем, все охотно верили, что ему виднее. Были уже прецеденты.

— Я пойду вызову машину, — сказал вдруг Роман и, вероятно, прошел сквозь стену, потому что в приемной не появился.

Федор Симеонович и Хунта, наверное, согласно кивнули головами, а оправившийся Выбегалло вскричал:

— Правильное решение, Янус Полуэктович! Вовремя вы нам напомнили о потерянной бдительности. Подальше, подальше от посторонних глаз. Только вот грузчики мне понадобятся. Автоклав у меня тяжелый, значит, пять тонн все-таки...

— Конечно, — сказал Янус. — Распорядитесь.

В кабинете задвигали креслами, и я торопливо допил кофе.

В течение последующего часа я вместе с теми, кто еще оставался в институте, торчал у подъезда и наблюдал, как грузят автоклав, стереотрубы, бронещиты и зипуны на всякий случай. Буран утих, утро стояло морозное и ясное.

Роман пригнал грузовик на гусеничном ходу. Вурдалак Альфред привел грузчиков — гекатонхейров. Котт и Гиес шли охотно, оживленно галдя сотней глоток и на ходу засучивая многочисленные рукава, а Бриарей тащился следом, выставив вперед коряwyй палец, и ныл, что ему больно, что у него несколько голов кружатся, что он ночь не спал. Котт взял автоклав, Гиес — все остальное. Тогда Бриарей, увидев, что ему ничего не досталось, принял распоряжаться, давать указания и помогать советами. Он забегал вперед, открывал и держал двери, то и дело присаживался на корточки и, заглядывая внизу, кричал: «Пошло! Пошло!». Или: «Правее бери! Зацепляешься!». В конце концов, ему наступили на руку, а самого защемили между автоклавом и стеной. Он разрыдался, и Альфред отвел его обратно в виварий.

В грузовик набилось порядочно народу. Выбегалло залез в кабину водителя. Он был очень недоволен и у всех спрашивал, который час. Грузовик уехал было, но через пять минут вернулся, потому что выяснилось, что забыли корреспондентов. Пока их искали, Котт и Гиес затеяли играть в снежки, чтобы согреться, и выбили два стекла. Потом Гиес сцепился с каким-то ранним пьяным, который кричал: «Все на одного, да?». Гиеса оттащили и затолкали обратно в кузов. Он вращал глазами и грозно ругался по-эллински. Появились дрожащие со сна Г. Проницательный и Б. Питомник, и грузовик, наконец, уехал.

Институт опустел. Была половина девятого. Весь город спал. Мне очень хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но делать было нечего, я вздохнул и пустился во второй обход.

Я, зевая, шел по коридорам и гасил везде свет, пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева. Витька выбегалловыми экспериментами не интересовался. Он говорил, что таких, как Выбегалло, нужно беспощадно передавать Хунте в качестве, подопытных животных на предмет выяснения, не являются ли они летальными мутантами. Поэтому Витька никуда не поехал, а сидел на диване-трансляторе, курил сигарету и лениво беседовал с Эдиком Амперяном. Эдик лежал рядом и, задумчиво глядя в потолок, сосал леденец. На столе в ванне с водой бодро плавал окунь.

— С Новым годом, — сказал я.

— С Новым годом, — приветливо отозвался Эдик.

— Вот пусть Сашка скажет, — предложил Корнеев. — Саша, бывает небелковая жизнь?

— Не знаю, — сказал я. — Не видел. А что?

— Что значит — не видел? М-поле ты тоже никогда не видел, а напряженность его рассчитываешь.

— Ну и что? — сказал я. Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачиваясь на виражах, и тогда было видно, что он выпотрошен. — Витька, — сказал я, — получилось все-таки?

— Саша не хочет говорить про небелковую жизнь, — сказал Эдик. — И он прав.

— Без белка жить можно, — сказал я, — а вот как он живет без потрошков?

— А вот товарищ Амперян говорит, что без белка жить нельзя, — сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерч иходить по комнате, огибая предметы.

— Я говорю, что жизнь — это белок, — возразил Эдик.

— Не ощущаю разницы, — сказал Витька. — Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни.

— Да.

— Ну, а это что? — спросил Витька. Он слабо помахал рукой.

На столе рядом с ванной появилось отвратительное существо, похожее на ежа и на паука одновременно. Эдик приподнялся и заглянул на стол.

— Ах, — сказал он и снова лег. — Это не жизнь. Это нежить. Разве Кощей Бессмертный — это небелковое существо?

— А что тебе надо? — спросил Корнеев. — Двигается? Двигается. Питается? Питается. Размножаться может. Хочешь, он сейчас размножится?

Эдик вторично приподнялся и заглянул на стол. Еж-паук неуклюже топтался на месте. Похоже было, что ему хочется идти на все четыре стороны одновременно.



– Нежить не есть жизнь, – сказал Эдик. – Нежить существует лишь постольку, поскольку существует разумная жизнь. Можно даже сказать точнее: поскольку существуют маги. Нежить есть отход деятельности магов.

– Хорошо, – сказал Витька.

Еж-паук исчез. Вместо него на столе появился маленький Витька Корнеев, точная копия настоящего, но величиной с руку. Он щелкнул маленькими пальчиками и создал микродубль еще меньшего размера. Тот тоже щелкнул пальцами. Появился дубль величиной с авторучку. Потом величиной со спичечный коробок. Потом – с наперсток.

– Хватит? – спросил Витька. – Каждый из них маг. Ни в одном нет и молекулы белка.

– Неудачный пример, – сказал Эдик с сожалением. – Во-первых, они ничем принципиально не отличаются от станка с программным управлением, во-вторых, они являются не продуктом развития, а продуктом твоего белкового мастерства. Вряд ли стоит спорить, способна ли дать эволюция саморазмножающиеся станки с программным управлением.

– Много ты знаешь об эволюции, – сказал грубый Корнеев, – Тоже мне Дарвин! Какая разница, химический процесс или сознательная деятельность. У тебя тоже не все предки белковые. Пррапрапраматерь твоя была, готов признать, достаточно сложной, но вовсе не белковой молекулой. И может быть, наша так называемая сознательная деятельность есть тоже некоторая разновидность эволюции. Откуда мы знаем, что цель природы – создать товарища Амперяна? Может быть, цель природы – это создание нежити руками товарища Амперяна. Может быть...

– Понятно, понятно. Сначала протовирус, потом белок, потом товарищ Амперян, а потом вся планета заселяется нежитью.

– Именно, – сказал Витька.

– А мы все за ненадобностью вымерли.

– А почему бы и нет? – сказал Витька.

– У меня есть один знакомый, – сказал Эдик. – Он утверждает, будто человек – это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона.

– А почему бы, в конце концов, и нет?

– А потому, что мне не хочется, – сказал Эдик. – У природы свои цели, а у меня свои.

– Антропоцентрист, – сказал Витька с отвращением.

– Да, – гордо сказал Эдик.

– С антропоцентристами дискутировать не желаю, – сказал грубый Корнеев.

– Тогда давай рассказывать анекдоты, – спокойно предложил Эдик и сунул в рот еще один леденец.

Витькины дубли на столе продолжали работать. Самый маленький дубль был уже ростом с муравья. Пока я слушал спор антропоцентриста с космоцентристом, мне принта в голову одна мысль.

— Ребятишечки, — сказал я с искусственным оживлением. — Что же это вы не пошли на полигон?

— А зачем? — спросил Эдик.

— Ну, все-таки интересно...

— Я никогда не хожу в цирк, — сказал Эдик. — Кроме того: уби нил валес, иби нил велис¹.

— Это ты о себе? — спросил Витька.

— Нет. Это я о Выбегалле.

— Ребятишечки, — сказал я, — я ужасно люблю цирк. Не все ли вам равно, где рассказывать анекдоты?

— То есть? — сказал Витька.

— Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон.

— Холодно, — напомнил Витька. — Мороз. Выбегалло.

— Очень хочется, — сказал я. — Очень все это таинственно.

— Отпустим ребенка? — спросил Витька у Эдика.

Эдик покивал.

— Идите, Привалов, — сказал Витька. — Это будет вам стоить четыре часа машинного времени.

— Два, — сказал я быстро. Я ждал чего-нибудь подобного.

— Пять, — нахально сказал Витька.

— Ну, три, — сказал я. — Я и так все время на тебя работаю.

— Шесть, — хладнокровно сказал Витька.

— Витя, — сказал Эдик, — у тебя на ушах отрастет шерсть.

— Рыжая, — сказал я злорадно. — Может быть, даже с прозеленью.

— Ладно уж, — сказал Витька, — иди даром. Два часа меня устроят.

Мы вместе прошли в приемную. По дороге магистры затеяли невнятный спор о какой-то циклотации, и мне пришлось их прервать, чтобы они трансгрессировали меня на полигон. Я им уже надоел, и, спеша от меня отделаться, они провели трансгрессию с такой энергией, что я не успел одеться и влетел в толпу зрителей спиной вперед.

На полигоне уже все было готово. Публика пряталась за бронегиты. Выбегалло торчал из свежевырытой траншеи и молодецки смотрел в большую стереотрубу. Федор Симеонович и Кристобаль Хунта с сорокократными биноклями в руках тихо переговаривались по-латыни. Янус Полуэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял тростью снег. Б. Питомник сидел на корточках возле траншеи с раскрытой книжечкой и авторучкой наготове. А Г. Проницательный,

¹ Где ты ни на что не способен, там ты не должен ничего хотеть.

увешанный фото-и киноаппаратами, тер замерзшие щеки, крякал и стучал ногой об ногу за его спиной.

Небо было ясное, полная луна склонялась к западу. Мутные стрелы полярного сияния появлялись, дрожа, среди звезд и исчезали вновь. Блестел снег на равище, и большой круглый цилиндр автоклава был отчетливо виден в сотне метров от нас.

Выбегалло оторвался от стереотрубы, прокашлялся и сказал:

– Товарищи! Това-ри-ши! Что мы наблюдаем в эту стереотрубу? В эту стереотрубу, товарищи, мы, обуреваемые сложными чувствами, за-мирая от ожидания, наблюдаем, как защитный колпак начинает автома-тически отвинчиваться... Пишите, пишите, – сказал он Б. Питомнику. – И поточнее пишите... Автоматически, значит, отвинчиваться. Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального чело-века – шевалье, значит, сан пер э сан-репрош ...¹

Я и простым глазом видел, как отвинтилась крышка автоклава и без-звучно упала в снег. Из автоклава ударила длинная, до самых звезд, струя пара.

– Даю пояснения для прессы... – начал было Выбегалло, но тут раз-дался страшный рев.

Земля поплыла и зашевелилась. Взвилась огромная снежная туча. Все повалились друг на друга, и меня тоже опрокинуло и покатило. Рев все усиливался, и, когда я с трудом, цепляясь за гусеницы грузовика, поднялся на ноги, я увидел, как жутко, гигантской чашей в мертвом свете луны ползет, заворачиваясь вовнутрь, край горизонта, как угрожаю-ще раскачиваются бронещиты, как бегут врассыпную, падают и снова. вскакивают вывалиянные в снегу зрители. Я увидел, как Федор Симеоно-вич и Кристобаль Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятятся под написком урагана, как они, подняв руки, силятся рас-тянуть защиту на всех остальных, но вихрь рвет защиту в клочья, и эти клочки несутся над равниной подобно огромным мыльным пузырям и лопаются в звездном небе. Я увидел поднявшего воротник Януса Полу-этковича, который стоял, повернувшись спиной к ветру, прочно упер-шись тростью в обнажившуюся землю, и смотрел на часы. А там, где был автоклав, крутилось освещенное изнутри красным, тугое облако пара, и казалось, что все мы находимся щ дне колоссального кувшина. А потом совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия появился вдруг Роман в своем зеленом пальто, рвущемся с плеч. Он широко размахнулся, швырнул в ревущий пар что-то большое, блес-нувшее бутылочным стеклом, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками. Из облака вынырнула безобразная, искаженная бешенством

¹ Рыцарь без страха и упрека.

физиономия джинна, глаза его крутились от ярости. Разевая пасть в беззвучном хохоте, он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнуло гарью, над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслись и опали, а джинн, превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд было тихо. Затем горизонт с тяжелым грохотом осел. Меня подбросило высоко вверх, и, прия в себя, я обнаружил, что сижу, упираясь руками в землю, неподалеку от грузовика.

Снег пропал. Все поле вокруг было черным. Там, где минуту назад стоял автоклав, зияла большая воронка. Из нее поднимался белый дымок и пахло паленым.

Зрители начали подниматься на ноги. Лица у всех были испачканы и перекошены. Многие потеряли голос, кашляли, отплевывались и тихо постанывали. Начали чиститься, и тут обнаружилось, что некоторые раздеть до белья. Послышился ропот, затем крики: «Где брюки? Почему я без брюк? Я же был в брюках!», «Товарищи! Никто не видел моих часов?», «И моих!», «И у меня тоже пропали!», «Зуба нет, платинового! Летом только вставил...», «Ой, а у меня колечко пропало... И браслет», «Где Выбегалло? Что за безобразие? Что все это значит?», «Да черт с ними, с часами и зубами! Люди-то все целы? Сколько нас было?», «А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв... Джинн... А где же исполин духа?», «Где потребитель?», «Где Выбегалло, наконец?», «А горизонт видел? Знаешь, на что это похоже?», «На свертку пространства, я эти шутки знаю...», «Холодно в майке, дайте что-нибудь...», «Г-где же этот Выб-бе-галло? Где этот д-дурак?».

Земля зашевелилась, и из траншеи вылез Выбегалло. Он был без валенок.

— Поясняю для прессы, — сипло сказал он.

Но ему не дали пояснить. Магнус Федорович Редькин, пришедший специально, чтобы узнать, наконец, что же такое настоящее счастье, подскочил к нему, тряся сжатыми кулаками, и завопил:

— Это шарлатанство! Вы за это ответите! Балаган! Где моя шапка? Где моя шуба? Я буду на вас жаловаться! Где моя шапка, я спрашиваю?

— В полном соответствии с программой... — бормотал Выбегалло, озираясь. — Наш дорогой исполин...

На него надвинулся Федор Симеонович.

— Вы, м-милейший, за-зарываете свой талант в землю. В-вами надо отдел Об-оборонной Магии усилить. В-ваших идеальных людей н-на неприятельские б-базы сбрасывать надо. Н-на страх а-агрессору...

Выбегалло попятился, заслоняясь рукавом зипуна. К нему подошел Кристобаль Хозевич, молча, меряя его взглядом, швырнул ему под ноги

испачканные перчатки и удалился. Жиан Жиакомо, наспех создавая себе видимость элегантного костюма, прокричал издали:

— Это же феноменально, сеньоры. Я всегда питал к нему некоторую антипатию, но ничего подобного и представить себе не мог...

Тут, наконец, разобрались в ситуации Г. Проницательный и Б. Питомник. До сих пор, неуверенно улыбаясь, они глядели каждому в рот, надеясь что-нибудь понять. Затем они сообразили, что все идет далеко не в полном соответствии. Г. Проницательный твердыми шагами приблизился к Выбегалле и, тронув его за плечо, сказал железным голосом:

— Товарищ профессор, где я могу получить назад мои аппараты? Три фотоаппарата и один киноаппарат.

— И мое обручальное кольцо, — добавил Б. Питомник.

— Пардон, — сказал Выбегалло с достоинством. — Он ву демандера канд он ура безуан де ву¹ ...

Корреспонденты оробели. Выбегалло повернулся и пошел к воронке. Над воронкой уже стоял Роман.

— Чего здесь только нет... — сказал он еще издали.

Исполина-потребителя в воронке не оказалось. Зато там было все остальное и еще много сверх того. Там были фото- и киноаппараты, бумагники, шубы, кольца, ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были валенки Выбегаллы и шапка Магнуса Федоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды. Кроме того, мы обнаружили там два автомобиля «Москвич», три автомобиля «Волга», железный сейф с печатями местной сберкассы, большой кусок жареного мяса, два ящика водки, ящик жигулевского пива и железную кровать с никелированными шарами.

Натянув валенки, Выбегалло, снисходительно улыбаясь, заявил, что теперь можно начать дискуссию. «Задавайте вопросы», — сказал он. Но дискуссии не получилось. Взбешенный Магнус Федорович вызвал милицию. Примчался на «газике» юный сержант Ковалев. Всем нам пришлось записаться в свидетели. Сержант Ковалев ходил вокруг воронки, пытаясь обнаружить следы преступника. Он нашел огромную вставную челюсть и глубоко задумался над нею. Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие все в новом свете, внимательно слушали Выбегаллу, который опять понес демагогическую ахинею насчет неограниченных и разнообразных потребностей. Становилось скучно, я мерз.

— Пошли домой, — сказал Роман.

— Пошли, — сказал я. — Откуда ты взял джинна?

¹ Когда будет нужно, вас позовут.

– Выписал вчера со склада. Совсем для других целей.

– А что все-таки произошло? Он опять обожрался?

– Нет, просто Выбегалло дурак, – сказал Роман.

– Это понятно, – сказал я. – Но откуда катаклизм?

– Все отсюда же, – сказал Роман. – Я говорил ему тысячу раз: «Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство, закуклится и остановит время». А Выбегалло никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует.

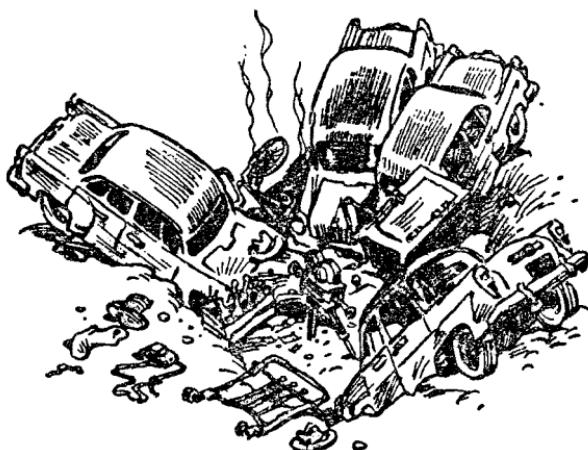
– Это все зола, – продолжал он, когда мы подлетели к институту. – Это всем ясно. Ты лучше скажи мне, откуда У-Янус узнал, что все получится именно так, а не иначе? Он же все это предвидел. И огромные разрушения, и то, что я соображу, как прикончить исполина в зародыше...

– Действительно, – сказал я. – Он даже благодарность тебе вынес. Авансом.

– Странно, верно? – сказал Роман. – Надо бы все это тщательно продумать.

И мы стали тщательно продумывать. Это заняло у нас много времени. Только весной и только случайно нам удалось во всем разобраться.

Но это уже совсем другая история.



История третья



ВСЯЧЕСКАЯ СУЕТА

Глава первая

Когда бог создавал время, – говорят ирландцы, – он создал его достаточно.

Г. Бель

Восемьдесят три процента дней в году начинаются одинаково: звонит будильник. Этот звон вливается в последние сны то судорожным стрекотанием итогового перфоратора, то гневными раскатами баса Федора Симеоновича, то скрежетом когтей василиска, играющего в термостате.

В то утро мне снился Модест Матвеевич Камноедов. Будто он стал заведующим вычислительного центра и учит меня работать на «Алдане». «Модест Матвеевич, – говорил я ему, – ведь все, что вы мне советуете, – это какой-то болезненный бред». А он орал: «Вы мне это пр-прекратите! У вас тут все д-р-р-ребедень! Бели-бер-р-рда!». Тогда я сообразил, что это не Модест Матвеевич, а мой будильник «Дружба» на одиннадцати камнях, с изображением слоника с поднятым хоботом, забормотал: «Слышиу, слышу», – и забил ладонью по столу вокруг будильника.

Окно было раскрыто настежь, и я увидел ярко-синее весеннее небо и почувствовал острый весенний холодок. По карнизу, постукивая, бродили голуби. Вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи – должно быть, первые мухи в этом году. Время от времени они вдруг принимались остервенело кидаться из стороны в сторону, и спросонок мне пришла в голову гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскочить из плоскости, через них проходящей, и я посочувствовал этому безнадежному занятию. Две мухи сели на плафон, а третья исчезла, и тогда я окончательно проснулся.

Прежде всего я отбросил одеяло и попытался воспарить над кроватью. Как всегда, без зарядки, без душа и завтрака это привело лишь к тому, что реактивный момент с силой вдавил меня в диван-кровать, и где-то подо мной соскочили и жалобно задребезжали пружины. Потом я вспомнил вчерашний вечер, и мне стало очень обидно, потому что сегодня я весь день буду без работы. Вчера в одиннадцать часов вечера в электронный зал пришел Кристобаль Хозевич и, как всегда, подсоединился к «Алдану», чтобы вместе с ним разрешить очередную проблему смысла жизни, и через пять минут «Алдан» загорелся. Не знаю, что там могло гореть, но «Алдан» вышел из строя надолго, и поэтому я, вместо того, чтобы работать, должен буду, подобно всем волосатоухим тунеядцам, бесцельно бродить из отдела в отдел, жаловаться на судьбу и рассказывать анекдоты.

Я сморщился, сел на постели и для начала набрал полную грудь праны, смешанной с холодным утренним воздухом. Некоторое время я ждал, пока прана усвоится, и, в соответствии с рекомендацией, думал о светлом и радостном. Затем я выдохнул холодный утренний воздух и принял выполннять комплекс упражнений утренней гимнастики. Мне рассказывали, что старая школа предписывала гимнастику йогов, но йога-комплекс, так же, как и почти ныне забытый майя-комплекс, отнимал пятнадцать-двадцать часов в сутки, и с назначением на пост нового президента АН СССР старой школе пришлось уступить. Молодежь НИИЧАВО с удовольствием ломала старые традиции.

На сто пятнадцатом прыжке в комнату впорхнул мой сожитель Витька Корнеев. Как всегда с утра, он был бодр, энергичен и даже благодушен. Он хлестнул меня по голой спине мокрым полотенцем и принялся летать по комнате, делая руками и ногами движения, как будто плавает брасом. При этом он рассказывал свои сны и тут же толковал их по Фрейду, Мерлину и по девице Ленорман. Я сходил умылся, мы прибрались и отправились в столовую.

В столовой мы заняли свой любимый столик под большим, уже выцветшим плакатом: «Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями!

Г. Флобер», откупорили бутылки с кефиром и стали есть, слушая местные новости и сплетни.

Вчерашней ночью на Лысой горе состоялся традиционный весенний слет. Участники вели себя крайне безобразно. Вий с Хомой Брутом в обнимку пошли шляться по улицам ночного города, пьяные, приставали к прохожим, сквернословили, потом Вий наступил себе на левое веко и совсем озверел. Они с Хомой подрались, повалили газетный ларек и попали в милицию, где каждому дали за хулиганство по пятнадцать суток.

Кот Василий взял весенний отпуск – жениться. Скоро в Соловце опять объявятся говорящие котята с наследственно склеротической памятью.

Луи Седловой из отдела Абсолютного Знания изобрел какую-то машину времени и сегодня будет об этом докладывать на семинаре.

В институте снова появился Выбегалло. Везде ходит и хвастается, что осенен титанической идеей. Речь многих обезьян, видите ли, напоминает человеческую, записанную, значить, на магнитофонную пленку и пущенную задом наперед с большой скоростью. Так он, эта, записал в сухумском заповеднике разговоры павианов и прослушал их, пустив задом наперед на малой скорости. Получилось, как он заявляет, нечто феноменальное, но что именно – не говорит.

В вычислительном центре опять сгорел «Алдан», но Сашка Привалов не виноват, виноват Хунта, который последнее время из принципа интересуется только такими задачами, для которых доказано отсутствие решения.

Престарелый колдун Перун Маркович Неунывай-Дубино из отдела Воинствующего Атеизма взял отпуск для очередного перевоплощения.

В отделе Вечной Молодости после долгой и продолжительной болезни скончалась модель бессмертного человека.

Академия Наук выделила институту энную сумму на благоустройство территории. На эту сумму Модест Матвеевич собирается обнести институт узорной чугунной решеткой с аллегорическими изображениями и с цветочными горшками на столбах, а на заднем дворе, между трансформаторной будкой и бензохранилищем, организовать фонтан с девятиметровой струей. Спортбюро просило у него денег на теннисный корт – отказал, объявив, что фонтан необходим для научных размышлений, а теннис есть дрыгоночество и рукомашество...

После завтрака все разошлись по лабораториям. Я тоже заглянул к себе и горестно побродил около «Алдана» с распахнутыми внутренностями, в которых копались неприветливые инженеры из отдела Технического Обслуживания. Разговаривать они со мной не захотели и только

угрюмо порекомендовали пойти куда-нибудь и заняться своим делом. Я побрел по знакомым.

Витька Корнеев меня выгнал, потому что я мешал ему сосредоточиться. Роман читал лекцию практикантам. Володя Почкин беседовал с корреспондентом. Увидев меня, он нехорошо обрадовался и закричал: «А-а, вот он! Познакомьтесь, это наш заведующий вычислительным центром, он вам расскажет как...». Но я очень ловко притворился собственным дублем и, сильно напугав корреспондента, сбежал. У Эдика Амперяна меня угостили свежими огурцами, и совсем было завязалась оживленная беседа о преимуществах гастрономического взгляда на жизнь, но тут у них лопнул перегонный куб, и про меня сразу забыли.

В совершенном отчаянии я вышел в коридор и столкнулся с Уянусом, который сказал: «Так», – и, помедлив, осведомился, не беседовали ли мы вчера. «Нет, – сказал я, – к сожалению, не беседовали». Он пошел дальше, и я услышал, как в конце коридора он задает все тот же стандартный вопрос Жиану Жиакому.

В конце концов, меня занесло к абсолютникам. Я попал перед самым началом семинара. Сотрудники, позевывая и осторожно поглаживая уши, рассаживались в малом конференц-зале. На председательском месте, покойно сплетя пальцы, восседал завотделом магистр-академик, всяя Белая, Черная и Серая магия многознатец Морис-Иоганн-Лаврентий Пупков-Задний и благосклонно взирал на суетящегося докладчика, который с двумя неумело выполненными волосатоухими дублями устанавливал на экспозиционном стенде некую машину с седлом и педалями, похожую на тренажер для страдающих ожирением. Я присел в уголке подальше от остальных, вытащил блокнот и авторучку и принял заинтересованный вид.

– Нуте-с, – произнес магистр-академик, – у вас готово?

– Да, Морис Иоганнович, – отозвался Л. Седловой. – Готово, Морис Иоганнович.

– Тогда, может быть, приступим? Что-то я не вижу Смогулия...

– Он в командировке, Иоганн Лаврентьевич, – сказали из зала.

– Ах, да, припоминаю. Экспоненциальные исследования? Ага, ага... Ну хорошо. Сегодня у нас Луи Иванович сделает небольшое сообщение относительно некоторых возможных типов машин времени... Я правильно говорю, Луи Иванович?

– Э... Собственно... Собственно, я бы назвал свой доклад таким образом, что...

– А, ну вот и хорошо. Вот вы и назовите.

– Благодарю вас. Э... Назвал бы так: «Осуществимость машины времени для передвижения во временных пространствах, сконструированных искусственно».

— Очень интересно, — подал голос магистр-академик. — Однако мне помнится, что уже был случай, когда наш сотрудник...

— Простите, я как раз с этого хотел начать.

— Ах, вот как... Тогда прошу, прошу.

Сначала я слушал довольно внимательно. Я даже увлекся. Оказывается, некоторые из этих ребят занимались прелюбопытными вещами. Оказывается, некоторые из них и по сей день бились над проблемой передвижения по физическому времени, правда, безрезультатно. Но зато кто-то, я не разбрал фамилию, кто-то из старых, знаменитых, доказал, что можно производить переброску материальных тел в идеальные миры, созданные человеческим воображением. Оказывается, кроме нашего привычного мира с метрикой Римана, принципом неопределенности, физическим вакуумом и пьяницей Брутом существуют и другие миры, обладающие ярко выраженной реальностью. Это миры, созданные творческим воображением за всю историю человечества. Например, существуют: мир космологических представлений человечества; мир, созданный живописцами, и даже полуабстрактный мир, нечувствительно сконструированный поколениями композиторов.

Несколько лет назад, оказывается, ученик того самого, знаменитого, собрал машину, на которой отправился путешествовать в мир космологических представлений. В течение некоторого времени с ним поддерживалась односторонняя телепатическая связь, и он успел передать, что находится на краю плоской Земли, видит внизу извивающийся хобот одного из трех слонов-атлантов и собирается спуститься вниз, к черепахе. Больше сведений от него не поступало.

Докладчик, Луи Иванович Седловой, неплохой, по-видимому, учений, магистр, сильно страдающий, однако, от пережитков палеолита в сознании и потому вынужденный регулярно брить уши, сконструировал машину для путешествий по описываемому времени. По его словам, реально существует мир, в котором живут и действуют Анна Каренина, Дон-Кихот, Шерлок Холмс, Григорий Мелехов и даже капитан Немо. Этот мир обладает своими весьма любопытными свойствами и закономерностями, и люди, населяющие его, тем более ярки, реальны и индивидуальны, чем более талантливо, страстно и правдиво описали их авторы соответствующих произведений.

Все это меня очень заинтересовало, потому что Седловой, увлекшись, говорил живо и образно. Но потом он спохватился, что получается как-то ненаучно, понавешал на сцене схемы и графики и принялся нудно, чрезвычайно специализированным языком излагать про конические декрементные шестерни, полихордовые темпоральные передачи и про какой-то проницающий руль. Я очень скоро потерял нить рассуждений и принялся рассматривать присутствующих.

Магистр-академик величественно спал, изредка, чисто рефлекторно, поднимая правую бровь, как бы в знак некоторого сомнения в словах докладчика. В задних рядах резались в функциональный морской бой в бауаховом пространстве. Двое лаборантов-заочников старательно записывали все подряд – на лицах их застыло безнадежное отчаяние и совершенная покорность судьбе. Кто-то украдкой закурил, пуская дым между колен под стол. В переднем ряду магистры и бакалавры с привычной внимательностью слушали, готовя вопросы и замечания. Одни саркастически улыбались, у других на лицах выражалось недоумение. Научный руководитель Седлового после каждой фразы докладчика одобрительно кивал. Я стал смотреть в окно, но там был все тот же осочертивший лабаз, да изредка пробегали мальчишки с уドочкиами.

Я очнулся, когда докладчик заявил, что вводную часть он закончил и теперь хотел бы продемонстрировать машину в действии.

– Интересно, интересно, – сказал проснувшийся магистр-академик. – Нуте-ка... Сами отправитесь?

– Видите ли, – сказал Седловой, – я хотел бы остаться здесь, чтобы давать пояснения по ходу путешествия. Может быть, кто-нибудь из присутствующих?..

Присутствующие начали жаться. Очевидно, все вспомнили загадочную судьбу путешественника на край плоской земли. Кто-то из магистров предложил отправить дубля. Седловой ответил, что это будет неинтересно, потому что дубли маловосприимчивы к внешним раздражениям и потому будут плохими передатчиками информации. Из задних рядов спросили, какого рода могут быть внешние раздражения. Седловой ответил, что обычные: зрительные, обонятельные, осязательные, акустические. Тогда из задних рядов опять спросили, какого рода осязательные раздражения будут превалировать. Седловой развел руками и сказал, что это зависит от поведения путешественника в тех местах, куда он попадет. В задних рядах произнесли: «Ага...» – и больше вопросов не задавали. Докладчик беспомощно озирался. В зале смотрели кто куда и все в сторону. Магистр-академик добродушно приговаривал: «Ну? Ну что же? Молодежь! Ну? Кто?». Тогда я встал и молча пошел к машине. Терпеть не могу, когда докладчик агонизирует: стыдное, жалкое и мучительное зрелище.

Из задних рядов крикнули: «Сашка, ты куда? Опомнись!». Глаза Седлового засверкали.

– Разрешите мне, – сказал я.

– Пожалуйста, пожалуйста, конечно! – забормотал Седловой, хватая меня за палец и подтаскивая к машине.

– Одну минуточку, – сказал я, деликатно вырываясь. – Это надолго?

— Да как вам будет угодно! — вскричал Седловой. — Как вы мне скажите, так я и сделаю... Да вы же сами будете управлять! Тут все очень просто. — Он снова схватил меня и снова потащил к машине. — Вот это руль. Вот это педаль сцепления с реальностью. Это тормоз. А это газ. Вы автомобиль водите? Ну и прекрасно! Вот клавиша... Вы куда хотите — в будущее или в прошлое?

— В будущее, — сказал я.

— А, — произнес он, как мне показалось, разочарованно. — В описываемое будущее... Это, значит, всякие там фантастические романы и утопии. Конечно, тоже интересно. Только учтите, это будущее, наверное, дискретно, там должны быть огромные провалы времени, никакими авторами не заполненные. Впрочем, все равно... Так вот, эту клавишу вы нажмете два раза. Один раз сейчас, при старте, а второй раз — когда захотите вернуться. Понимаете?

— Понимаю, — сказал я. — А если в ней что-нибудь сломается?

— Абсолютно безопасно! — он замахал руками. — Как только в ней что-нибудь испортится, хоть одна пылинка попадет между контактами, вы мгновенно вернетесь сюда.

— Дерзайте, молодой человек, — сказал магистр-академик. — Расскажете нам, что же там, в будущем, ха-ха-ха...

Я взгромоздился в седло, стараясь ни на кого не глядеть и чувствуя себя очень глупо.

— Нажмайте, нажмайте... — страстно шептал докладчик.

Я надавил на клавишу. Это было, очевидно, что-то вроде стартера. Машина дернулась, захрюкала и стала равномерно дрожать.

— Вал погнут, — шептал с досадой Седловой. — Ну ничего, ничего... Включайте скорость. Вот так. А теперь газу, газу...

Я дал газу, одновременно плавно выжимая сцепление. Мир стал меркнуть. Последнее, что я услышал в зале, был благодушный вопрос магистра-академика: «И каким же теперь образом мы будем за ним наблюдать?..». И зал исчез.

Глава вторая

Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется вдоль него.

Г. Дж. Уэллс

Сначала машина двигалась скачками, и я был озабочен тем, чтобы удержаться в седле, обвившись ногами вокруг рамы и изо всех сил цепляясь за рулевую дугу. Краем глаза я смутно видел вокруг какие-то рос-

кошные призрачные строения, мутно-зеленые равнины и холодное, не-греющее светило в сером тумане неподалеку от зенита. Потом я сообразил, что тряска и скачки происходят оттого, что я убрал ногу с акселератора, мощности двигателя (совсем как это бывает на автомобиле) не хватает, и машина поэтому двигается рывками, вдобавок то и дело натыкаясь на развалины античных и средневековых утопий. Я подавил газу, движение сразу стало плавным, и я смог, наконец, устроиться поудобнее и оглядеться.

Меня окружал призрачный мир. Огромные постройки из разноцветного мрамора, украшенные колоннадами, возвышались среди маленьких домиков сельского вида. Вокруг в полном безветрии колыхались хлеба. Тучные прозрачные стада паслись на травке, на пригорках сидели благообразные пастухи. Все, как один, они читали книги и старинные рукописи. Потом рядом со мной возникли два прозрачных человека, встали в позы и начали говорить. Оба они были босы, увенчаны венками и закутаны в складчатые хитоны. Один держал в правой руке лопату, а в левой сжимал свиток пергамента. Другой опирался на киркомотыгу и рассеянно играл огромной медной чернильницей, подвешенной к поясу. Говорили они строго по очереди, и, как мне сначала показалось, друг с другом. Но очень скоро я понял, что обращаются они ко мне, хотя ни один из них даже не взглянул в мою сторону. Я прислушался. Тот, что был с лопатой, длинно и монотонно излагал основы политического устройства прекрасной страны, гражданином коей являлся. Устройство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи (он несколько раз с особым ударением это подчеркнул), все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов. Когда он останавливался, чтобы передохнуть и облизать губы, вступал тот, что с чернильницей. Он хватался, будто только что отработал свои три часа перевозчиком на реке, не взял ни с кого ни копейки, потому что не знает, что такое деньги, а сейчас направляется под сень струй предаться стихосложению.

Говорили они долго – судя по спидометру, в течение нескольких лет, – а потом вдруг сразу исчезли, и стало пусто. Сквозь призрачные здания просвечивало неподвижное солнце.

Неожиданно невысоко над землей медленно проплыли тяжелые летательные аппараты с перепончтными, как у птеродактилей, крыльями. В первый момент мне показалось, что все они горят, но затем я заметил, что дым у них идет из больших конических труб. Грузно размахивая крыльями, они летели надо мной, посыпалась зола, и кто-то уронил на меня сверху суковатое полено.

В роскошных зданиях вокруг начали происходить какие-то изменения. Колонн у них не убавилось, и архитектура осталась по-прежнему

роскошной и нелепой, но появились новые расцветки, и мрамор, по-моему, сменился каким-то более современным материалом, а вместо слепых статуй и бюстов на крышах возникли поблескивающие устройства, похожие на антенны радиотелескопов. Людей на улицах стало больше, появилось огромное количество машин. Исчезли стада с читающими пастухами, однако хлеба все колыхались, хотя ветра по-прежнему не было. Я нажал на тормоз и остановился.

Оглядевшись, я понял, что стою с машиной на ленте движущегося тротуара. Народ вокруг так и кишел – самый разнообразный народ. В большинстве своем, правда, эти люди были какие-то нереальные, гораздо менее реальные, чем могучие, сложные, почти бесшумные механизмы. Так что, когда такой механизм случайно наезжал на человека, столкновения не происходило. Машины мало меня заинтересовали, наверное, потому, что на лобовой броне у каждой сидел вдохновенный до полупрозрачности изобретатель, странно объяснявший устройство и назначение своего детища. Изобретателей никто не слушал, да они, кажется, ни к кому в особенности и не обращались.

На людей смотреть было интереснее. Я увидел здоровенных ребят в комбинезонах, ходивших в обнимку, чертыхавшихся и оравших немелодичные песни на плохие стихи. То и дело попадались какие-то люди, одетые только частично: скажем, в зеленой шляпе и красном пиджаке на голое тело (больше ничего); или в желтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубашки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде «дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и темных очках». Попадались и люди нормально одетые, правда, в костюмах странного покроя, и то тут, то там проталкивался сквозь толпу загорелый бородатый мужчина в незапятнанно-белой хламиде с кетменем или каким-нибудь хомутом в одной руке и с мольбертом или пеналом в другой. У носителей хламид вид был растерянный, они шарахались от многотонных механизмов и затравленно озирались.

Если не считать бормотания изобретателей, было довольно тихо. Большинство людей помалкивало. На углу двое юношей возились с каким-то механическим устройством. Один убежденно говорил: «Конструкторская мысль не может стоять на месте. Это закон развития общества. Мы изобретем его. Обязательно изобретем. Вопреки бюрократам вроде Чинушина и консерваторам вроде Твердолобова». Другой юноша нес свое: «Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать реге-



нерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?». Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед.

Тротуар вынес меня на огромную площадь, забитую людьми и установленную космическими кораблями самых разнообразных конструкций. Я сошел с тротуара и стащил машину. Сначала я не понимал, что происходит. Играла музыка, произносились речи, тут и там, возвышаясь над толпой, кудрявые румяные юноши, с трудом управляясь с непокорными прядями волос, непрерывно падающими на лоб, проникновенно читали стихи. Стихи были либо знакомые, либо скверные, но из глаз многочисленных слушателей обильно капали скучные мужские, горькие женские и светлые детские слезы. Суровые мужчины крепко обнимали друг друга и, шевеля желваками на скулах, хлопали друг друга по спинам. Поскольку многие были неодеты, хлопание это напоминало аплодисменты. Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами протащили мимо меня лощеного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолета. Несколько мальчишек с томиками Шекспира, воровато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего астроплана. Толпа их не замечала.

Скоро я понял, что одна половина толпы расставалась с другой половиной. Это было что-то вроде тотальной мобилизации. Из речей и разговоров мне стало ясно, что мужчины отправлялись в космос – кто на Венеру, кто на Марс, а некоторые, с совсем уже отрешенными лицами, собирались к другим звездам и даже в центр Галактики. Женщины оставались их ждать. Многие занимали очередь в огромное уродливое здание, которое одни называли Пантеоном, а другие – Рефрижератором. Я подумал, что поспел вовремя. Опоздай я на час, и в городе остались бы только замороженные на тысячи лет женщины. Потом мое внимание привлекла высокая серая стена, отгораживающая площадь с запада. Из-за стены поднимались клубы черного дыма.

– Что это там? – спросил я красивую женщину в косынке, понуро бредущую к Пантеону-Рефрижератору.

– Железная Стена, – ответила она, не останавливаясь.

С каждой минутой мне становилось все скучнее и скучнее. Все вокруг плакали, ораторы уже охрипли. Рядом со мной юноша в голубом комбинезоне прощался с девушкой в розовом платье. Девушка монотонно говорила: «Я хотела бы стать астральной пылью, я бы космическим облаком обняла твой корабль...». Юноша внимал. Потом над толпой грянули сводные оркестры, нервы мои не выдержали, я прыгнул в седло и дал газ. Я еще успел заметить, как над городом с ревом взлетели

звездолеты, планетолеты, астропланы, ионолеты, фотонолеты и астроматы, а затем все, кроме серой стены, заволоклось фосфорецирующим туманом.

После двухтысячного года начались провалы во времени. Я летел через время, лишенное материи. В таких местах было темно, и только изредка за серой стеной вспыхивали взрывы и разгоралось зарево. Время от времени город вновь обступал меня, и с каждым разом здания его становились выше, сферические купола становились все прозрачнее, а звездолетов на площади становилось все меньше. Из-за стены непрерывно поднимался дым.

Я остановился вторично, когда с площади исчез последний астромат. Тротуары двигались. Шумных парней в комбинезонах не было. Никто не чертыхался. По улицам по двое и по трое скромно прогуливались какие-то бесцветные личности, одетые либо странно, либо скучно. Насколько я понял, все говорили о науке. Кого-то намеревались оживлять, и профессор медицины, атлетически сложенный интеллигент, очень непривычно выглядевший в своей одинокой жилетке, растолковывал процедуру оживления верзиле биофизику, которого представлял всем встречным как автора, инициатора и главного исполнителя этой затеи. Где-то собирались провертеть дыру сквозь Землю. Проект обсуждался прямо на улице при большом скоплении народа, чертежи рисовали мелком на стенах и на тротуаре. Я стал было слушать, но это оказалась такая скучища, да еще пересыпанная выпадами в адрес незнакомого мне консерватора, что я звавил машину на плечи и пошел прочь. Меня не удивило, что обсуждение проекта сейчас же прекратилось и все занялись делом. Но зато, едва я остановился, начал разглагольствовать какой-то гражданин неопределенной профессии. Ни к селу, ни к городу он повёл речь о музыке. Сразу понабежали слушатели. Они смотрели ему в рот и задавали вопросы, свидетельствующие о дремучем невежестве. Вдруг по улице с криком побежал человек. За ним гнался паукообразный механизм. Судя по крикам преследуемого, это был «самопрограммирующийся кибернетический робот на тригенных куаторах с обратной связью, которые разладились и... Ой-ой, он меня сейчас расчленит!..». Странно, никто даже бровью не повел. Видимо, никто не верил в бунт машин.

Из переулка выскочили еще две паукообразные металлические машины, ростом поменьше и не такие свирепые на вид. Не успел я ахнуть, как одна из них быстро почистила мне ботинки, а другая выстирала и выгладила носовой платок. Подъехала большая белая цистерна на гусеницах и, мигая многочисленными лампочками, опрыскала меня духами. Я совсем было собрался уезжать, но тут раздался громовой треск, и с

неба на площадь свалилась громадная ржавая ракета. В толпе сразу заговорили:

– Это «Звезда Мечты»!

– Да, это она!

– Ну конечно, это она! Это она стартовала двести восемнадцать лет тому назад, о ней уже все забыли, но, благодаря эйнштейновскому сокращению времени, происходящему от движения на субсветовых скоростях, экипаж постарел всего на два года!

– Благодаря чему? Ах, Эйнштейн... Да-да, помню. Я проходил это в школе во втором классе.

Из ржавой ракеты с трудом выбрался одноглазый человек без левой руки и правой ноги.

– Это Земля? – раздраженно спросил он.

– Земля! Земля! – откликнулись в толпе. На лицах начали расцветать улыбки.

– Слава богу, – сказал человек, и все переглянулись. То ли не поняли его, то ли сделали вид, что не понимают.

Увечный астролетчик стал в позу и разразился речью, в которой призывал все человечество поголовно лететь на планету Хош-ни-хош системы звезды Эоэллы в Малом Магеллановом облаке освобождать братьев по разуму, стенающих (он так и сказал: стенающих) под властью свирепого кибернетического диктатора. Рев дизз заглушил его слова. На площадь спускались еще две ракеты, тоже ржавые. Из Пантеона-Рефрижератора побежали заиндевевшие женщины. Началась давка. Я понял, что попал в эпоху возвращений, и торопливо нажал на педаль.

Город исчез и долго не появлялся. Осталась стена, за которой с удручающим однообразием полыхали пожары и вспыхивали зарницы. Странное это было зрелище: совершенная пустота и только стена на западе. Но вот, наконец, разгорелся яркий свет, и я сейчас же остановился.

Вокруг расстилалась безлюдная цветущая страна. Колыхались хлеба. Бродили тучные стада, но культурных пастухов видно не было. На горизонте серебрились знакомые прозрачные купола, виадуки и спиральные спуски. Совсем рядом с запада по-прежнему возвышалась стена.

Кто-то тронул меня за колено, и я вздрогнул. Возле меня стоял маленький мальчик с глубоко посаженными горящими глазами.

– Что тебе, малыш? – спросил я.

– Твой аппарат поврежден? – осведомился он мелодичным голосом.

– Взрослым надо говорить «вы», – сказал я наставительно.

Он очень удивился, потом лицо его просветлело.

– Ах да, припоминаю. Если мне не изменяет память, так было принято в Эпоху Принудительной Вежливости. Коль скоро обращение на

«ты» дисгармонирует с твоим эмоциональным ритмом, я готов удовольствоваться любым ритмичным тебе обращением.

Я не нашелся, что ответить, и тогда он присел на корточки перед машиной, потрогал ее в разных местах и произнес несколько слов, которых я совершенно не понял. Славный это был мальчуган, очень чистенький, очень здоровый и ухоженный, но он показался мне слишком уж серьезным для своих лет.

За стеной оглушительно затрещало, и мы оба обернулись. Я увидел, как жуткая чешуйчатая лапа о восьми пальцах ухватилась за гребень стены, напряглась, разжалась и исчезла.

– Слушай, малыш, – сказал я, – что это за стена?

Он обратил на меня серьезный застенчивый взгляд.

– Это так называемая Железная Стена, – ответил он. – К сожалению, мне неизвестна этимология обоих этих слов, но я знаю, что она разделяет два мира – Мир Гуманного Воображения и Мир Страха перед Будущим, – он помолчал и добавил: – Этимология слова «страх» мне тоже неизвестна.

– Любопытно, – сказал я. – А нельзя ли посмотреть? Что это за Мир Страха?

– Конечно, можно. Вот коммуникационная амбразура. Удовлетвори свое любопытство.

Коммуникационная амбразура имела вид низенькой арки, закрытой броневой дверцей. Я подошел и нерешительно взялся за щеколду. Мальчик сказал мне вслед:

– Не могу тебя не предупредить. Если там с тобой что-нибудь случится, тебе придется предстать перед Объединенным Советом СтаСорока Миров.

Я приоткрыл дверцу. Тррх! Бах! Аи-и-и-и! Ду-ду-ду-ду! Все пять моих чувств были травмированы одновременно. Я увидел красивую блондинку с неприличной татуировкой меж лопаток, голую и длинноногую, палившую из двух автоматических пистолетов в некрасивого брюнета, из которого при каждом попадании летели красные брызги. Я услышал грохот разрывов и душераздирающий рев чудовищ. Я обонял неописуемый смрад гнилого горелого небелкового мяса. Раскаленный ветер недалекого ядерного взрыва опалил мое лицо, а на языке я ощутил отвратительный вкус рассеянной в воздухе протоплазмы. Я шарахнулся и судорожно захлопнул дверцу, едва не прищемив себе голову. Воздух показался мне сладким, а мир – прекрасным. Мальчик исчез. Некоторое время я приходил в себя, а потом вдруг испугался, что этот паршивец, чего доброго, побежал жаловаться в свой Объединенный Совет, и бросился к машине.

Снова сумерки беспространственного времени сомкнулись вокруг меня. Но я не отрывал глаз от Железной Стены, меня разбирало любопытство. Чтобы не терять времени даром, я прыгнул сразу вперед на миллион лет. Над стеной вырастали заросли атомных грибов, и я обрадовался, когда по мою сторону стены снова забрезжил свет. Я затормозил и застонал от разочарования. Невдалеке высился громадный Пантеон-Рефрижератор. С неба спускался ржавый звездолет в виде шара. Вокруг было безлюдно, колыхались хлеба. Шар приземлился, из него вышел давешний пилот в голубом, а на пороге пантеона появилась, вся в красных пятнах пролежней, девица в розовом. Они устремились друг к другу и взялись за руки. Я отвел глаза — мне стало неловко. Голубой пилот и розовая девушка затянули речь.

Чтобы размять ноги, я сошел с машины и только тут заметил, что небо над стеной непривычно чистое. Ни грохота взрывов, ни треска выстрелов слышно не было. Я осмелел и направился к коммуникационной амбразуре.

По ту сторону стены простипалось совершенно ровное поле, рассеченное до самого горизонта глубоким рвом. Слева от рва не было видно ни одной живой души, поле там было покрыто низкими металлическими куполами, похожими на крышки канализационных люков. Справа от рва у самого горизонта гарцевали какие-то всадники. Потом я заметил, что на краю рва сидит, свесив ноги, коренастый темнолицый человек в металлических доспехах. На груди у него на длинном ремне висело что-то вроде автомата с очень толстым стволом. Человек медленно жевал, поминутно сплевывая, и глядел на меня без особого интереса. Я, придерживая дверцу, тоже смотрел на него, не решаясь заговорить. Слишком уж у него был странный вид. Непривычный какой-то. Дикий. Кто его знает, что за человек. Насмотревшись на меня, он достал из-под доспехов плоскую бутылку, вытащил зубами пробку, пососал из горлышка, снова сплюнул в ров и сказал хриплым голосом:

— Хэлло! Ю фром зэт сайд¹?

— Да, — ответил я. — То есть, йес.

— Энд хау из ит гоуинг он аут зэа²?

— Со-со, — сказал я, прикрывая дверь. — Энд хау ит из гоуинг он хиа³?

— Итс о'кэй⁴, — сказал он флегматично и замолчал.

Подождав некоторое время, я спросил, что он здесь делает.

¹ — Привет! Вы с той стороны?

² — Ну, и как там?

³ — Ничего. А здесь?

⁴ — Порядок.

Сначала он отвечал неохотно, но потом разговорился. Оказалось, что слева от рва человечество доживает последние дни под пятой свирепых роботов. Работы там сделались умнее людей, захватили власть, пользуются всеми благами жизни, а людей загнали под землю и поставили к конвейерам. Справа от рва, на территории, которую он охраняет, людей поработили пришельцы из соседствующей вселенной. Они тоже захватили власть, установили феодальные порядки и вовсю пользуются правом первой ночи. Живут эти пришельцы – дай бог вся кому, но тем, кто у них в милости, тоже кое-что перепадает. А милях в двадцати отсюда, если идти вдоль рва, находится область, где людей поработили пришельцы с Алтаяра, разумные вирусы, которые поселяются в теле человека и заставляют его делать, что им угодно. Еще дальше к западу находится большая колония Галактической Федерации. Люди там тоже порабощены, но живут не так уж плохо, потому что его превосходительство наместник кормит их на убой и вербует из них личную гвардию Его Величества Галактического императора А-у 3562-го. Есть еще области, порабощенные разумными паразитами, разумными растениями и разумными минералами, а также коммунистами. И наконец, за горами есть области, порабощенные еще кем-то, но о них рассказывают разные сказки, которым серьезный человек верить не станет...

Тут наша беседа была прервана. Над равниной низко прошло несколько тарелкообразных летательных аппаратов. Из них, крутясь и кувыркаясь, посыпались бомбы. «Опять началось», – проворчал человек, лег ногами к взрывам, поднял автомат и открыл огонь по всадникам, гарцующим на горизонте. Я выскоцил вон, захлопнул дверцу и, прислонившись к ней спиной, некоторое время слушал, как визжат, ревут и грохочут бомбы. Пилот в голубом и девица в розовом на ступеньках Пантеона все никак не могли покончить со своим диалогом. Я еще раз осторожно заглянул в дверцу: над равниной медленно вспухали огненные шары разрывов. Металлические колпаки откидывались один за другим, из-под них лезли бледные, оборванные люди с бородатыми свирепыми лицами и с железными ломами наперевес. Моего недавнего собеседника наскакавшие всадники в латах рубили в капусту длинными мечами, он орал и отмахивался автоматом...

Я закрыл дверцу и тщательно задвинул засов.

Я вернулся к машине и сел в седло. Мне хотелось слетать еще на миллионы лет вперед и посмотреть умирающую Землю, описанную Уэллсом. Но тут в машине впервые что-то застопорило: не выжималось сцепление. Я нажал раз, нажал другой, потом пнул педаль изо всех сил, что-то треснуло, зазвенело, колыхающиеся хлеба встали дыбом, и я словно проснулся. Я сидел на демонстрационном стенде в малом конференц-зале нашего института, и все с благоговением смотрели на меня.

— Что со сцеплением? — спросил я, озираясь в поисках машины. Машины не было. Я вернулся один.

— Это неважно! — закричал Луи Седловой. — Огромное вам спасибо! Вы меня просто выручили... А как было интересно, верно, товарищи?

Аудитория загудела в том смысле, что да, интересно.

— Но я все это где-то читал, — сказал с сомнением один из магистров в первом ряду.

— Ну, а как же! А как же! — вскричал Л. Седловой. — Ведь он же был в описываемом будущем!

— Приключений маловато, — сказали в задних рядах игроки в функциональный морской бой. — Все разговоры, разговоры...

— Ну, уж тут я ни при чем, — сказал Седловой решительно.

— Ничего себе — разговоры, — сказал я, слезая со стенда. Я вспомнил, как рубили моего темнолицего собеседника, и мне стало нехорошо.

— Нет, отчего же, — сказал какой-то бакалавр. — Попадаются любопытные места. Вот эта вот машина... Помните? На тригенных куаторах... Это, знаете ли, да...

— Нуте-с? — сказал Пупков-Задний. — У нас уже, кажется, началось обсуждение. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы к докладчику?

Дотошный бакалавр немедленно задал вопрос о полихордовой темпоральной передаче (его, видите ли, заинтересовал коэффициент объемного расширения), и я потихонечку удалился.

У меня было странное ощущение. Все вокруг казалось таким материальным, прочным, вещественным. Проходили люди, и я слышал, как скрипят у них башмаки, и чувствовал ветерок от их движений. Все были очень немногословны, все работали, все думали, никто не болтал, не читал стихов, не произносил пафосных речей. Все знали, что лаборатория — это одно, а трибуна профсоюзного собрания — это совсем другое, а праздничный митинг — это совсем третье. И когда мне навстречу, шаркая подбитыми кожей валенками, прошел Выбегалло, я испытал к нему даже нечто вроде симпатии, потому что у него была своеобычная пшенная каша в бороде, потому что он ковырял в зубах длинным тонким гвоздем и, проходя мимо, не поздоровался. Он был живой, весомый и зримый хам, он не помавал руками и не принимал академических поз.

Я заглянул к Роману, потому что мне очень хотелось рассказать кому-нибудь о своем приключении. Роман, ухватившись за подбородок, стоял над лабораторным столом и смотрел на маленького зеленого попугая, лежащего в чашке Петри. Маленький зеленый попугай был дохлый, с глазами, затянутыми мертвкой белесой пленкой.

— Что это с ним? — спросил я.

— Не знаю, — сказал Роман. — Издох, как видишь.

— Откуда у тебя попугай?



— Сам поражаюсь, — сказал Роман.
— Может быть, он искусственный? — предположил я.
— Да нет, попугай как попугай.
— Опять, наверное, Витька на умклайдет сел.

Мы наклонились над попугаем и стали его внимательно рассматривать. На черной поджатой лапке у него было колечко.

— «Фотон», — прочитал Роман. — И еще какие-то цифры... «Девятнадцать ноль пять семьдесят три».

— Так, — сказал сзади знакомый голос.

Мы обернулись и подтянулись.

— Здравствуйте, — сказал У-Янус, подходя к столу. Он вышел из дверей своей лаборатории в глубине комнаты, и вид у него был какой-то усталый и очень печальный.

— Здравствуйте, Янус Полуэктович, — сказали мы хором со всей возможной почтительностью.

Янус увидел попугая и еще раз сказал: «Так». Он взял птичку в руки, очень бережно и нежно, погладил ее ярко-красный хохолок и тихо проговорил:

— Что же это ты, Фотончик?..

Он хотел сказать еще что-то, но взглянул на нас и промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он по-стариковски медленно прошел в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зеленый трупик.

— Роман Петрович, — сказал он. — Будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник.

Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычная идея. У-Янус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выскреб горячий пепел и, открыв форточку, высипал его на ветер. Он некоторое время глядел в окно, потом сказал Роману, что ждет его у себя через полчаса, и ушел.

— Странно, — сказал Роман, глядя ему вслед.

— Что — странно? — спросил я.

— Все странно, — сказал Роман.

Мне тоже казалось странным и появление этого мертвого зеленого попугая, по-видимому, так хорошо известного Янусу Полуэктовичу, и какая-то слишком уж необычная церемония огненного погребения с развеиванием пепла по ветру, но мне не терпелось рассказать про путешествие в описываемое будущее, и я стал рассказывать. Роман слушал крайне рассеянно, смотрел на меня отрешенным взглядом, невпопад кивал, а потом вдруг, сказавши: «Продолжай, продолжай, я слушаю», полез под стол, вытащил оттуда корзинку для мусора и принялся ко-

паться в мятой бумаге и обрывках магнитофонной ленты. Когда я кончил рассказывать, он спросил:

А этот Седловой не пытался путешествовать в описываемое настоещее? По-моему, это было бы гораздо забавнее...

Пока я обдумывал это предложение и радовался Романову остроумию, он перевернул корзинку и высыпал содержимое на пол.

– В чем дело? – спросил я. – Диссертацию потерял?

– Ты понимаешь, Сашка, – сказал он, глядя на меня невидящими глазами, – удивительная история. Вчера я чистил печку и нашел в ней обгорелое зеленое перо. Я выбросил его в корзинку, а сегодня его здесь нет.

– Чье перо? – спросил я.

– Ты понимаешь, зеленые птицы перья в наших широтах попадаются крайне редко. А попугай, которого только что сожгли, был зеленым.

– Что за ерунда, – сказал я. – Ты же нашел перо вчера.

– В том-то и дело, – сказал Роман, собирая мусор обратно в корзинку.

Глава третья

– Стихи ненатуральны, никто не говорит стихами, кроме Бидля, когда он приходит со святочным подарком, или объявления о ваксе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик.

Ч. Диккенс

«Алдан» чинили всю ночь. Когда я следующим утром явился в электронный зал, невыспавшиеся злые инженеры сидели на полу и неосторожно поносили Кристобаля Хозевича. Они называли его скифом, варварам и гунном, дорвавшимся до кибернетики. Отчаяние их было так велико, что некоторое время они даже прислушивались к моим советам и пытались им следовать. Но потом пришел их главный – Саваоф Баалович Один, – и меня сразу отодвинули от машины. Я отошел в сторонку, сел за свой стол и стал наблюдать, как Саваоф Баалович вникает в суть разрушений.

Был он очень стар, но крепок и жилист, загорелый, с блестящей лысиной, с гладко выбритыми щеками, в ослепительно белом чесучевом костюме. К этому человеку все относились с большим пietetом. Я сам однажды видел, как он вполголоса выговаривал за что-то Модесту Матвеевичу, а грозный Модест стоял, льстиво склонившись перед ним, и приговаривал: «Слушаюсь... Виноват. Больше не повторится...». От Са-

ваофа Бааловича исходила чудовищная энергия. Было замечено, что в его присутствии часы начинают спешить и распрымляются треки элементарных частиц, искривленные магнитным полем. И, в то же время, он не был магом. Во всяком случае, практикующим магом. Он не ходил сквозь стены, никогда никого не трансгрессировал и никогда не создавал своих дублей, хотя работал необычайно много. Он был главой отдела Технического Обслуживания, знал до тонкостей всю технику института и числился консультантом китежградского завода маготехники. Кроме того, он занимался самыми неожиданными и далекими от его профессии делами.

Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена С. Б. Один был ведущим магом земного шара. Кристобаль Хунта и Жиан Жиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы. Он казался всемогущим. И вот где-то в середине шестнадцатого века он воистину стал всемогущим. Проведя численное решение интегро-дифференциального уравнения Высшего Совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода, он обрел возможность творить любое чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительность на ушах. Другие владеют обобщенным законом Ломоносова-Лавуазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Третий – их совсем немного – могут, скажем, останавливать время, но только в римановом пространстве и ненадолго. Саваоф Баалович стал всемогущ. Он мог все. И он ничего не мог. Потому что граничным условием уравнения Совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причиняло никому вреда. Никакому разумному существу. Ни на Земле, ни в иной части Вселенной. А такого чуда никто, даже сам Саваоф Баалович, представить себе не мог. И С. Б. Один навсегда оставил магию и стал заведующим отделом Технического Обслуживания НИЧАВО...

С его приходом дела инженеров живо пошли на лад. Движения их стали осмысленными, злобные остроты прекратились.

Я достал папку с очередными делами и принялся было за работу, но тут пришла Стеллочка, очень милая курносая и сероглазая ведьмочка, практиканта Выбегаллы, и позвала меня делать очередную стенгазету. Мы со Стеллой состояли в редколлегии, где писали сатирические стихи, басни и подписи под рисунками. Кроме того, я искусно рисовал почтовый ящик для заметок, к которому со всех сторон слетаются письма с крыльышками. Вообще-то, художником газеты был мой тезка Александр Иванович Дрозд, киномеханик, каким-то образом пробравшийся в ин-

ститут. Но он был специалистом по заголовкам. Главным редактором газеты был Роман Ойра-Ойра, а его помощником – Володя Почкин.

– Саша, – сказала Стеллочка, глядя на меня честными серыми глазами. – Пойдем.

– Куда? – сказал я. Я знал, куда.

– Газету делать.

– Зачем?

– Роман очень просит, потому что Кербер лается. Говорит, осталось два дня, а ничего не готово.

Кербер Псоевич Демин, товарищ завкадрами, был куратором нашей газеты, главным подгонялой и цензором.

– Слушай, – сказал я, – давай завтра, а?

– Завтра я не смогу, – сказала Стеллочка. – Завтра я улетаю в Сухуми. Павианов записывать. Выбегалло говорит, что надо вожака записать, как самого ответственного... Сам он к вожаку подходить боится, потому что вожак ревнует... Пойдем, Саша, а?

Я вздохнул, сложил дела и пошел за Стеллочкой, потому что один я стихи сочинять не могу. Мне нужна Стеллочка. Она всегда дает первую строчку и основную идею, а в поэзии это, по-моему, самое главное.

– Где будем делать? – спросил я по дороге. – В месткоме?

В месткоме занято, там прорабатывают Альфреда. За чай. А нас пустил к себе Роман.

– А о чем писать надо? Опять про баню?

– Про баню тоже есть. Про баню, про Лысую гору. Хому Брута надо заклеймить.

– Хома наш Брут – ужасный плут, – сказал я.

– И ты, Брут, – сказала Стеллочка.

– Это идея, – сказал я. – Это надо развить.

В лаборатории Романа на столе была разложена газета – огромный девственно чистый лист ватмана. Рядом с нею среди баночек с гуашью, пульверизаторов и заметок лежал живописец и киномеханик Александр Дрозд с сигаретой на губе. Рубашечка у него, как всегда, была расстегнута, и виднелся выпуклый волосатый животик.

– Здорово, – сказал я.

– Привет, – сказал Саня.

Гремела музыка – Саня крутил портативный приемник.

– Ну, что тут у вас? – сказал я, сгребая заметки.

Заметок было немного. Была передовая «Навстречу празднику». Была заметка Кербера Псоевича «Результаты обследования состояния выполнения распоряжения дирекции о трудовой дисциплине за период конец первого – начало второго квартала». Была статья профессора Выбегаллы «Наш долг – это долг перед подшефными городскими и район-

ными хозяйствами». Была статья Володи Почкина «О всесоюзном совещании по электронной магии». Была заметка какого-то домового «Когда же продуют паровое отопление на четвертом этаже». Была статья председателя столового комитета «Ни рыбы, ни мяса» – шесть машинописных страниц через один интервал. Начиналась она словами: «Фосфор нужен человеку, как воздух». Была заметка Романа о работах отдела Недоступных Проблем. Для рубрики «Наши ветераны» была статья Кристобала Хунты «От Севильи до Гренады. 1547 г.». Было еще несколько маленьких заметок, в которых критиковалось: отсутствие надлежащего порядка в кассе взаимопомощи; наличие безалаберности в организации работы добровольной пожарной дружины; допущение азартных игр в виварии. Было несколько карикатур. На одной изображался Хома Брут, расхлюстанный и с лиловым носом. На другой высмеивалась баня – был нарисован голый синий человек, застывающий под ледяным душем.

– Ну и скучища! – сказал я. – А может, не надо стихов?

– Надо, – сказала Стеллочка со вздохом. – Я уже заметки и так, и сяк раскладывала, все равно остается свободное место.

– А пусть Саня там чего-нибудь нарисует. Колосья какие-нибудь, расцветающие анютины глазки... А, Санька?

– Работайте, работайте, – сказал Дрозд. – Мне заголовок надо писать.

– Подумаешь, – сказал я. – Три слова написать.

– На фоне звездной ночи, – сказал Дрозд внушительно. – И ракету. И еще заголовки к статьям. А я не обедал еще. И не завтракал.

– Так сходи поешь, – сказал я.

– А мне не на что, – сказал он раздраженно. – Я магнитофон купил. В комиссионном. Вот вы тут ерундой занимаетесь, а лучше бы сделали мне пару бутербродов. С маслом и с вареньем. Или, лучше, десятку сотоворите.

– Я вынул рубль и показал ему издали.

– Вот заголовок напишешь – получишь.

– Насовсем? – живо сказал Саня.

– Нет. В долг.

– Ну, это все равно, – сказал он. – Только учти, что я сейчас умру. У меня уже начались спазмы. И холдеют конечности.

– Врет он все, – сказала Стеллочка. – Саша, давай вон за тот столик сядем и все стихи сейчас напишем.

Мы сели за отдельный столик и разложили перед собой карикатуры. Некоторое время мы смотрели на них в надежде, что нас осенит. Потом Стеллочка произнесла:

– Таких людей, как этот Брут, поберегись – они сопрут!

– Что сопрут? – спросил я. – Он разве что-нибудь спер?

– Нет, – сказала Стелла. – Он хулиганил и дрался. Это я для рифмы.

Мы снова подождали. Ничего, кроме «поберегись – они сопрут», в голову мне не лезло.

– Давай рассуждать логически, – сказал я. – Имеется Хома Брут. Он напился пьяный. Дрался. Что он еще делал?

– К девушкам приставал, – сказала Стелла. – Стекло разбил.

– Хорошо, – сказал я. – Еще?

– Выражался...

– Вот странно, – подал голос Саня Дрозд. – Я с этим Брутом работал в кинобудке. Парень как парень. Нормальный...

– Ну? – сказал я.

– Ну и все.

– Ты рифму можешь дать на «Брут»? – спросил я.

– Прут.

– Уже было, – сказал я. – Сопрут.

– Да нет. Прут. Палка такая, которой секут.

Стелла сказала с выражением:

– Товарищ, пред тобою Брут. Возьмите прут, каким секут, секите Брута там и тут.

– Не годится, – сказал Дрозд. – Пропаганда телесных наказаний.

– Помрут, – сказал я. – Или просто – мрут.

– Товарищ, пред тобою Брут, – сказала Стелла. – От слов его все муhi мрут.

– Это от ваших стихов все муhi мрут, – сказал Дрозд.

– Ты заголовок написал? – спросил я.

– Нет, – сказал Дрозд кокетливо.

– Вот и займись.

– Позорят славный институт, – сказала Стеллочка, – такие пьяницы, как Брут.

– Это хорошо, – сказал я. – Это мы дадим в конец. Запиши. Это будет мораль, свежая и оригинальная.

– Чего же в ней оригинального? – спросил простодушный Дрозд.

Я не стал с ним разговаривать.

– Теперь надо описать, – сказал я, – как он хулиганил. Скажем так. Напился пьян, как павиан, за словом не полез в карман, был человек, стал хулиган.

– Ужасно, – сказала Стеллочка с отвращением.

Я подпер голову руками и стал смотреть на карикатуру. Дрозд, оттопырив зад, водил кисточкой по ватману. Ноги его в предельно узких джинсах были выгнуты дугой. Меня осенило.

– Коленками назад! – сказал я. – Песенка!

— «Сидел кузнецик маленький коленками назад», — сказала Стелла.

— Точно, — сказал Дрозд, не оборачиваясь. — И я ее знаю. «Все гости расползаются коленками назад», — пропел он.

— Подожди, подожди, — сказал я. Я чувствовал вдохновение. — Дерется и бранится он, и вот вам результат: влекут его в милицию коленками назад.

— Это ничего, — сказала Стелла.

— Понимаешь? — сказал я. — Еще пару строф, и чтобы везде был рефрен «коленками назад». Упился сверх кондиции... Погнался за девицей... Что-нибудь вроде этого.

— Отчаянно напился он, — сказал Стелла. — Сам черт ему не брат. В чужую дверь вломился он коленками назад.

— Блеск! — сказал я. — Записывай. А он вламывался?

— Вламывался, вламывался.

— Отлично! — сказал я. — Ну, еще одну строфи.

— Погнался за девицей коленками назад, — сказала Стелла задумчиво. — Первую строчку нужно...

— Амуниция, — сказал я. — Полиция. Амбиция. Юстиция.

— Ютится он, — сказала Стелла. — Стремится он. Не бриться и не мыться...

— Он, — добавил Дрозд. — Это верно. Это у вас получилась художественная правда. Сроду он не брился и не мылся.

— Может, вторую строчку придумаем? — предложила Стелла. — Назад — аппарат — автомат...

— Гад, — сказал я. — Рад.

— Мат, — сказал Дрозд. — Шах, мол, и мат.

Мы опять долго молчали, бессмысленно глядя друг на друга и шевеля губами. Дрозд постукивал кисточкой о края чашки с водой.

— Играет и резвится он, — сказал я, наконец, — ругаясь, как пират. Погнался за девицей коленками назад.

— «Пират» — как-то... — сказала Стеллочка.

— Тогда: сам черт ему не брат.

— Это уже было.

— Где?.. Ах да, действительно было.

— Как тигра полосат, — предложил Дрозд.

Тут послышалось легкое царапанье, и мы обернулись. Дверь в лабораторию Януса Полуэктовича медленно отворялась.

— Смотри-ка! — изумленно воскликнул Дрозд, застывая с кисточкой в руке.

В щель вполз маленький зеленый попугай с ярким красным хохолком на макушке.

— Попугайчик! — воскликнул Дрозд. — Попугай! Цып-цып-цып...

Он стал делать пальцами движения, как будто крошил хлеб на пол. Попугай глядел на нас одним глазом. Затем он разинул горбатый, как нос у Романа, черный клюв и хрипло выкрикнул:

– Р-реактор! Р-реактор! Надо выдер-ржать!

– Какой сла-авный! – воскликнула Стелла. – Саня, поймай его...

Дрозд двинулся было к попугаю, но остановился.

– Он же, наверное, кусается, – опасливо произнес он. – Вон клюв какой.

Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был очень похож на того, вчерашнего. Родной единокровный брат-близнец. «Полным-полно попугаев», – подумал я.

Дрозд отмахнулся кисточкой.

– Еще долбанет, пожалуй, – сказал он.

Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался, уравновешиваясь, и разборчиво крикнул:

– Пр-роксима Центавр-р-ра! Р-рубидий! Р-рубидий!

Потом он нахохлился, втянул голову и закрыл глаза пленкой. Помоему, он дрожал. Стелла быстро сотворила кусок хлеба с повидлом, отщипнула корочку и поднесла ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лихородило, и чашки весов, мелко трясясь, позвякивали о подставку.

– По-моему, он больной, – сказал Дрозд. Он рассеяно взял из рук Стеллы бутерброд и стал есть.

– Ребята, – сказал я, – кто-нибудь видел раньше в институте попугаев?

Стелла помотала головой. Дрозд пожал плечами.

– Что-то слишком много попугаев за последнее время, – сказал я. – И вчера тоже...

– Наверное, Янус экспериментирует с попугаями, – сказала Стелла. – Антигравитация или еще что-нибудь в этом роде...

Дверь в коридор отворилась, и толпой вошли Роман Ойра-Ойра, Витька Корнеев, Эдик Амперян и Володя Почкин. В комнате стало шумно. Корнеев, хорошо выспавшийся и очень бодрый, принял листать заметки и громко издеваться над стилем. Могучий Володя Почкин, как замредактора, исполняющий в основном полицейские обязанности, схватил Дрозда за толстый загривок, согнул его пополам и принял ткать носом в газету, приговаривая: «Заголовок где? Где заголовок, Дроздилло?». Роман требовал от нас готовых стихов. А Эдик, не имевший к газете никакого отношения, прошел к шкафу и принял с грохотом передвигать в нем разные приборы. Вдруг попугай заорал: «Овер-рсан! Овер-рсан!» – и все замерли.

Роман уставился на попугая. На лице его появилось давешнее выражение, словно его только что осенила необычайная идея. Володя Почкин отпустил Дрозда и сказал: «Вот так штука, попугай!». Грубый Корнеев немедленно протянул руку, чтобы схватить попугая поперек туловища, но попугай вырвался, и Корнеев схватил его за хвост.

— Оставь, Витька! — закричала Стеллочка сердито. — Что за манера — мучить животных?

Попугай заорал. Все стояли вокруг него. Корнеев держал его, как голубя, Стеллочка гладила по хохолку, а Дрозд нежно перебирал попугаю перья в хвосте. Роман посмотрел на меня.

— Любопытно, — сказал он. — Правда?

— Откуда он здесь взялся, Саша? — вежливо спросил Эдик.

— Я мотнул головой в сторону лаборатории Януса.

— Зачем Янусу попугай? — осведомился Эдик.

— Ты это меня спрашиваешь? — сказал я.

— Нет, это вопрос риторический, — серьезно сказал Эдик.

— Зачем Янусу два попугая? — сказал я.

— Или три, — тихонько добавил Роман.

Корнеев обернулся к нам.

— А где еще? — спросил он, с интересом озираясь.

Попугай в его руке слабо трепыхался, пытаясь ущипнуть его за пальцы.

— Отпусти ты его, — сказал я. — Видишь, ему нездоровится.

Корнеев отпихнул Дрозда и снова посадил попугая на весы. Попугай взъерошился и растопырил крылья.

— Бог с ним, — сказал Роман. — Потом разберемся. Где стихи?

Стелла быстро протараторила все, что мы успели сочинить. Роман почесал подбородок, Володя Почкин неестественно заржал, а Корнеев скомандовал:

— Расстрелять. Из крупнокалиберного пулемета. Вы когда-нибудь научитесь писать стихи?

— Пиши сам, — сказал я сердито.

— Я писать стихи не могу, — сказал Корнеев. — По натуре я не Пушкин. Я по натуре Белинский.

— Ты по натуре кадавр, — сказала Стелла.

— Пардон! — потребовал Витька. — Я желаю, чтобы в газете был отдел литературной критики. Я хочу писать критические статьи. Я вас всех раздолбаю! Я вам еще припомню ваше творение про дачи.

— Какое? — спросил Эдик.

Корнеев немедленно процитировал:

— «Я хочу построить дачу. Где? Вот главная задача. Только местный комитет не дает пока ответ». Было? Признавайтесь!

— Мало ли что, — сказал я. — У Пушкина тоже были неудачные стихи. Их даже в школьных хрестоматиях не полностью публикуют.

— А я знаю, — сказал Дрозд.

Роман повернулся к нему.

— У нас будет сегодня заголовок или нет?

— Будет, — сказал Дрозд. — Я уже букву «к» нарисовал.

— Какую «к»? При чем здесь «к»?

— А что, не надо было?

— Я сейчас здесь умру, — сказал Роман. — Газета называется «За передовую магию». Покажи мне там хоть одну букву «к»!

Дрозд, уставясь в стену, пошевелил губами.

— Как же так? — сказал он, наконец. — Откуда же я взял букву «к»? Была же буква «к»!

Роман рассвирепел и приказал Почкину разогнать всех по местам. Меня со Стеллой отдали под команду Корнеева. Дрозд лихорадочно принялся переделывать букву «к» в стилизованную букву «з». Эдик Амперян пытался улизнуть с психоэлектрометром, но был схвачен, скручен и брошен на починку пульверизатора, необходимого для создания звездного неба. Потом пришла очередь самого Почкина. Роман приказал ему перепечатывать заметки на машинке с одновременной правкой стиля и орфографии. Сам Роман принялся расхаживать по лаборатории, заглядывая всем через плечи. Некоторое время работа кипела. Мы успели сочинить и забраковать ряд вариантов на банную тему: «В нашей бане завсегда льет холодная вода», «Кто до чистоты голодный, не удовлетворится водой холодной», «В институте двести душ, все хотят горячий душ» и так далее. Корнеев безобразно ругался, как настоящий литературный критик. «Учитесь у Пушкина! — втолковывал он нам.

— Или хотя бы у Почкина. Рядом с вами сидит гений, а вы не способны даже подражать ему... «Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим...». Какая физическая сила заключена в этих строках! Какая ясность чувства!». Мы неумело отругивалась. Саня Дрозд дошел до буквы «и» в слове «передовую». Эдик починил пульверизатор и опробовал его на Романовых конспектах. Володя Почкин, изрыгая проклятия, искал на машинке букву «ц». Все шло нормально. Потом Роман вдруг сказал:

— Саша, глянь-ка сюда.

Я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами, и глаза его были затянуты белесоватой пленкой, а хохолок обвис.

— Помер, — сказал Дрозд жалостливо.

Мы снова столпились около попугая. У меня не было никаких особых мыслей в голове, а если и были, то где-то в подсознании, но я протянул руку, взял попугая и осмотрел его лапы. И сейчас же Роман спросил меня:

– Есть?

– Есть, – сказал я.

На черной поджатой лапке было колечко из белого металла, и на колечке было выгравировано: «Фотон», – и стояли цифры: «190573». Я растерянно поглядел на Романа. Наверное, у нас с ним был необычный вид, потому что Витька Корнеев сказал:

– А ну, рассказывайте, что вам известно.

– Расскажем? – спросил Роман.

– Бред какой-то, – сказал я. – Фокусы, наверное. Это какие-нибудь дубли.

Роман снова внимательно осмотрел трупик.

– Да нет, – сказал он. – В том-то все и дело. Это не дубль. Это самый что ни на есть оригинальный оригинал.

– Дай посмотреть, – сказал Корнеев.

Втроем с Володей Почкиным и с Эдиком они тщательнейшим образом исследовали попугая и единогласно объявили, что это не дубль и что они не понимают, почему это нас так трогает. «Возьмем, скажем, меня, – предложил Корнеев. – Я вот тоже не дубль. Почему это вас не поражает?».

Тогда Роман оглядел сгорающую от любопытства Стеллу, открывшего рот Володю Почкина, издевательски улыбающегося Витьку и рассказал им про все – про то, как позавчера он нашел в электрической печи зеленое перо и бросил его в корзину для мусора; и про то, как вчера этого пера в корзине не оказалось, но зато на столе (на этом самом столе) объявился мертвый попугай, точная копия вот этого, и тоже не дубль; и про то, что Янус попугая узнал, пожалел и сжег в упомянутой выше электрической печи, а пепел зачем-то выбросил в форточку.

Некоторое время никто ничего не говорил. Дрозд, рассказом Романа заинтересовавшийся слабо, пожимал плечами. На лице его было явственно видно, что он не понимает, из-за чего горит сыр-бор, и что, по его мнению, в этом учреждении случаются штучки и похлестче. Стеллочка тоже казалась разочарованной. Но тройка магистров поняла все очень хорошо, и на лицах их читался протест. Корнеев решительно сказал:

– Врете. Причем неумело.

– Это, все-таки, не тот попугай, – сказал вежливый Эдик. – Вы, наверное, ошиблись.

– Да тот, – сказал я. – Зеленый, с колечком.

– Фотон? – спросил Володя Почкин прокурорским голосом.

– Фотон. Янус его Фотончиком называл.

– А цифры? – спросил Володя.

– И цифры.

– Цифры те же? – спросил Корнеев грозно.

— По-моему, те же, — ответил я нерешительно, оглядываясь на Романа.

— А точнее? — потребовал Корнеев. Он прикрыл красной лапой попугая. — Повтори, какие тут цифры?

— Девятнадцать... — сказал я. — Э-э... Ноль два, что ли? Шестьдесят три.

Корнеев заглянул под ладонь.

— Врешь, — сказал он. — Ты? — обратился он к Роману.

— Не помню, — сказал Роман спокойно. — Кажется, не ноль три, а ноль пять.

— Нет, — сказал я. — Все-таки, ноль шесть. Я помню, там такая закорючка была.

— Закорючка, — сказал Почкин презрительно. — Ше Холмы! Нэ Пинкертоны! Закон причинности им надоел...

Корнеев засунул руки в карманы.

— Это другое дело, — сказал он. — Я даже не настаиваю на том, что вы врете. Просто вы перепутали. Попугай все зеленые, многие из них окольцованны, эта пара была из серии «Фотон». А память у вас дырявая. Как у всех стихоплетов и редакторов стенгазет.

— Дырявая? — осведомился Роман.

— Как терка.

— Как терка... — повторил Роман, странно усмехаясь.

— Как старая терка, — пояснил Корнеев. — Ржавая. Как сеть. Крупноячеистая.

Тогда Роман, продолжая странно улыбаться, вытащил из нагрудного кармана записную книжку и перелистал страницы.

— Итак, — сказал он, — крупноячеистая и ржавая. Посмотрим... Девятнадцать ноль пять семьдесят три, — прочитал он.

Магистры рванулись к попугаю и с сухим треском столкнулись лбами.

— Девятнадцать ноль пять семьдесят три, — упавшим голосом прочитал на кольце Корнеев. Это было очень эффектно. Стеллочка немедленно завизжала от удовольствия.

— Подумаешь, — сказал Дрозд, не отрываясь от заголовка. — У меня однажды совпал номер на лотерейном билете, и я побежал в сберкассу получать автомобиль. А потом оказалось...

— Почему это ты записал номер? — сказал Корнеев, прищуриваясь на Романа. — Это у тебя привычка? Ты все номера записываешь? Может быть, у тебя и номер твоих часиков записан?

— Блестяще! — сказал Почкин. — Витька, ты молодец. Ты попал в самую точку. Роман, какой позор! Зачем ты отравил попугая? Как жестоко!

— Идиоты! — сказал Роман. — Что я вам — Выбегалло?

Корнеев подскочил к нему и осмотрел его уши.

— Иди к дьяволу! — сказал Роман. — Саша, ты только полюбуйся на них!

— Ребята, — сказал я укоризненно, — да кто же так шутит? За кого вы нас принимаете?

— А что остается делать? — сказал Корнеев. — Кто-то врет. Либо вы, либо все законы природы. Я верю в законы природы. Все остальное меняется.

Впрочем, он быстро скис, сел в сторонке и стал думать. Саня Дрозд спокойно рисовал заголовок. Стелла глядела на всех по очереди испуганными глазами. Володя Почкин быстро писал и зачеркивал какие-то формулы. Первым заговорил Эдик.

— Если даже никакие законы не нарушаются, — рассудительно сказал он, — все равно остается странным неожиданное появление большого количества попугаев в одной и той же комнате и подозрительная смертность среди них. Но я не очень удивлен, потому что не забываю, что имею дело с Янусом Полуэктовичем. Вам не кажется, что Янус Полуэктович сам по себе прелюбопытнейшая личность?

— Кажется, — сказал я.

— И мне тоже кажется, — сказал Эдик. — Чем он, собственно, занимается, Роман?

— Сматря какой Янус. У-Янус занимается связью с параллельными пространствами.

— Гм, — сказал Эдик. — Это нам вряд ли поможет.

— К сожалению, — сказал Роман. — Я вот тоже все время думаю, как связать попугаев с Янусом, и ничего не могу придумать.

— Но ведь он странный человек? — спросил Эдик.

— Да, несомненно. Начать с того, что их двое и он один. Мы к этому так привыкли, что не думаем об этом...

— Вот об этом я и хотел сказать. Мы редко говорим о Янусе, мы слишком уважаем его. А ведь наверняка каждый из нас замечал за ним хоть одну какую-нибудь странность.

— Странность номер один, — сказал я. — Любовь к умирающим попугаям.

— Пусть так, — сказал Эдик. — Еще?

— Сплетники, — сказал Дрозд с достоинством. — Вот я однажды просил у него в долг.

— Да? — сказал Эдик.

— И он мне дал, — сказал Дрозд. — А я забыл, сколько он мне дал. И теперь не знаю, что делать.

Он замолчал. Эдик некоторое время ждал продолжения, потом сказал:

Известно ли вам, например, что каждый раз, когда мне приходилось работать с ним по ночам, ровно в полночь он куда-то уходил и через пять минут возвращался, и каждый раз у меня создавалось впечатление, что он так или иначе старается узнать у меня, чем мы тут с ним занимались до его ухода?

— Истинно так, — сказал Роман. — Я это знаю отлично. Я уже давно заметил, что именно в полночь у него начисто отшибает память. И он об этом своем дефекте прекрасно осведомлен. Он несколько раз извинялся и говорил, что это у него рефлекторное, связанное с последствиями сильной контузии.

— Память у него никуда не годится, — сказал Володя Почкин. Он смял листок с вычислениями и швырнул его под стол. — Он все время пристает, виделся ты с ним вчера или не виделся.

— И о чем беседовали, если виделся, — добавил я.

— Память, память, — пробормотал Корнеев нетерпеливо. — При чем здесь память... Не в этом дело. Что там у него с параллельными пространствами?..

— Сначала надо собрать факты, — сказал Эдик.

— Попугай, попугай, попугай, — продолжал Витька. — Неужели это все-таки дубли?

— Нет, — сказал Володя Почкин. — Я просчитал. Это по всем категориям не дубль.

— Каждую полночь, — сказал Роман, — он идет вот в эту свою лабораторию и буквально на несколько минут запирается там. Один раз он вбежал туда так поспешно, что не успел закрыть дверь...

— И что? — спросила Стеллочка замирающим голосом.

— Ничего. Сел в кресло, посидел немножко и вернулся обратно. И сразу спросил, не беседовал ли я с ним о чем-нибудь важном.

— Я пошел, — сказал Корнеев, поднимаясь.

— И я, — сказал Эдик. — У нас сейчас семинар.

— И я, — сказал Володя Почкин.

— Нет — сказал Роман. — Ты сиди и печатай. Назначаю тебя главным. Ты, Стеллочка, возьми Сашу и пиши стихи. А вот я пойду. Вернусь вечером, и чтобы газета была готова.

Они ушли, а мы остались делать газету. Сначала мы пытались что-нибудь придумать, но быстро утомились и поняли, что не можем. Тогда мы написали небольшую поэму об умирающем попугае.

Когда Роман вернулся, газета была готова, Дрозд лежал на столе и поглощал бутерброды, а Почкин объяснял нам со Стеллой, почему проишествие с попугаем совершенно невозможно.

— Молодцы, — сказал Роман. — Отличная газета. А какой заголовок! Какое бездонное звездное небо! И как мало опечаток!.. А где попугай?

Попугай лежал в чашке Петри, в той самой чашке и на том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. У меня даже дух захватило.

— Кто его сюда положил? — осведомился Роман.

— Я, — сказал Дрозд. — А что?

— Нет, ничего, — сказал Роман. — Пусть лежит. Правда, Саша?

Я кивнул.

— Посмотрим, что с ним будет завтра, — сказал Роман.

Глава четвертая

*Эта бедная старая невинная птица
ругается, как тысяча чертей, но она
не понимает, что говорит.*

P. Стивенсон

Однако завтра с самого утра мне пришлось заняться своими прямыми обязанностями. «Алдан» был починен и готов к бою, и, когда я пришел после завтрака в электронный зал, у дверей уже собралась небольшая очередь дублей с листками предлагаемых задач. Я начал с того, что мстительно прогнал дубля Кристобаля Хунты, написав на его листке, что не могу разобрать почерк. (Почерк у Кристобаля Хозевича был действительно неудобочитаемым: Хунта писал по-русски готическими буквами). Дубль Федора Симеоновича принес программу, составленную лично Федором Симеоновичем. Это была первая программа, которую составил сам Федор Симеонович без всяких советов, подсказок и указаний с моей стороны. Я внимательно просмотрел программу и с удовольствием убедился, что составлена она грамотно, экономно и не без остроумия. Я исправил некоторые незначительные ошибки и передал программу своим девочкам. Потом я заметил, что в очереди томится бледный и напуганный бухгалтер рыбозавода. Ему было страшно и неуютно, и я сразу принял его.

— Да неудобно как-то, — бормотал он, опасливо косясь на дублей. — Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли...

— Ничего, это не товарищи, — успокоил я его.

— Ну, граждане...

— И не граждане.

Бухгалтер совсем побелел и, склонившись ко мне, проговорил прерывающимся шепотом:

— То-то же я смотрю — не мигают они... А вот этот в синем — он, помоему, и не дышит...

Я уже отпустил половину очереди, когда позвонил Роман.

– Саша?

– Да.

– А попугая-то нет.

– Как так нет?

– А вот так.

– Уборщица выбросила?

– Спрашивал. Не только не выбросила, но и не видела.

– Может быть, домовые хамят?

– Это в лаборатории-то директора? Вряд ли.

– Н-да, – сказал я. – А может быть, сам Янус?

– Янус еще не приходил. И вообще, кажется, не вернулся из Москвы.

– Так как же это все понимать? – спросил я.

– Не знаю. Посмотрим.

Мы помолчали.

– Ты меня позовешь? – спросил я. – Еще что-нибудь интересное...

– Ну конечно. Обязательно. Пока, дружище.

Я заставил себя не думать об этом попугае, до которого мне, в конце концов, не было никакого дела. Я отпустил всех дублей, проверил все программы и занялся гнусной задачкой, которая уже давно висела на мне. Эту гнусную задачу дали мне абсолютники. Сначала я им сказал, что она не имеет ни смысла, ни решения, как и большинство их задач. Но потом посоветовался с Хунтой, который в таких вещах разбирался очень тонко, и он мне дал несколько обнадеживающих советов. Я много раз обращался к этой задаче и снова ее откладывал, а вот сегодня добил-таки. Получилось очень изящно. Как раз когда я кончил и, блаженствуя, откинулся на спинку стула, оглядывая решение издали, пришел темный от злости Хунта. Глядя мне в ноги, голосом сухим и неприятным он осведомился, с каких это пор я перестал разбирать его почерк. Это чрезвычайно напоминает ему саботаж, сообщил он.

Я с умилением смотрел на него.

– Кристобаль Хозевич, – сказал я. – Я ее все-таки решил. Вы были совершенно правы. Пространство заклинаний действительно можно свернуть по любым четырем переменным.

Он поднял, наконец, глаза и посмотрел на меня. Наверное, у меня был очень счастливый вид, потому что он смягчился и проворчал:

– Позвольте посмотреть.

Я отдал ему листки, он сел рядом со мною, и мы вместе разобрали задачу с начала и до конца и с наслаждением просмаковали два изящнейших преобразования, одно из которых подсказал мне он, а другое нашел я сам.

– У нас с вами неплохие головы, Александро, – сказал, наконец, Хунта. – В нас есть артистичность мышления. Как вы находите?

— По-моему, мы молодцы, — сказал я искренне.

— Я тоже так думаю, — сказал он. — Это мы опубликуем. Это никому не стыдно опубликовать. Это не галоши-автостопы и не брюки-невидимки.

Мы пришли в отличное настроение и начали разбирать новую задачу Хунты, и очень скоро он сказал, что и раньше иногда считал себя побрекито, а в том, что я математически невежествен, убедился при первой же встрече. Я с ним горячо согласился и высказал предположение, что ему, пожалуй, пора уже на пенсию, а меня надо в три шеи гнать из института грузить лес, потому что ни на что другое я не годен. Он возразил мне. Он сказал, что ни о какой пенсии не может быть и речи, что его надлежит пустить на удобрения, а меня на километр не подпускать к лесоразработкам, где определенный интеллектуальный уровень все-таки необходим, а назначить меня надо учеником младшего черпальщика в ассенизационном обозе при холерных бараках. Мы сидели, подперев головы, и предавались самоуничижению, когда в зал заглянул Федор Симеонович. Насколько я понял, ему не терпелось узнать мое мнение о составленной им программе.

— Программа! — желчно усмехнувшись, произнес Хунта. — Я не видел твоей программы, Теодор, но я уверен, что она гениальна по сравнению с этим... — он с отвращением подал двумя пальцами Федору Симеоновичу листок со своей задачей. — Полюбуйся, вот образец убожества и ничтожества.

— Г-голубчики, — сказал Федор Симеонович озадаченно, разобравшись в почерках. — Это же п-проблема Бен Б-бецалеля. К-калиостро же доказал, что она н-не имеет р-решения.

— Мы сами знаем, что она не имеет решения, — сказал Хунта, немедленно ощетинившись. — Мы хотим знать, как ее решать.

— К-как-то ты странно рассуждаешь, К-кристо... К-как же искать решение, к-когда его нет? Б-бессмыслица какая-то...

Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идет о том, как поступить с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос, который, как я вижу, тебе, прикладнику, к сожалению, недоступен. По-моему, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему.

Тон Кристобаля Хозевича был необычайно оскорбителен, и Федор Симеонович рассердился.

— В-вот что, г-голубчик, — сказал он. — Я н-не могу дискутировать с т-тобой в этом тоне п-при молодом человеке. Т-ты меня удивляешь. Это н-неп-педагогично. Если тебе угодно п-продолжать, изволь выйти со мной в к-коридор.

— Изволь, — отвечал Хунта, распрымляясь, как пружина, и судорожно хватая у бедра несуществующий эфес.

Они церемонно вышли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга. Девочки захихикали. Я тоже не особенно испугался. Я сел, обхватив руками голову, над оставленным листком и некоторое время краем уха слушал, как в коридоре могуче рокочет бас Федора Симеоновича, прорезаемый сухими гневными вскриками Кристобала Хозевича. Потом Федор Симеонович взревел: «Извольте пройти в мой кабинет!». — «Извольте!» — проскряжал Хунта. Они были уже на «вы». И голоса удалились. «Дуэль! Дуэль!» — защебетали девочки. О Хунте ходила лихая слава бретера и забияки. Говорили, что он приводит противника в свою лабораторию, предлагает на выбор рапиры, шпаги или алебарды, а затем принимается а-ля Жан Марэ скакать по столам и опрокидывать шкафы. Но за Федора Симеоновича можно было не беспокоиться. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будут мрачно молчать через стол, потом Федор Симеонович тяжело вздохнет, откроет погребец и наполнит две рюмки эликсиром блаженства. Хунта пошевелит ноздрями, закрутит ус и выпьет. Федор Симеонович незамедлительно наполнит рюмки вновь и крикнет в лабораторию свежих огурчиков.

В это время позвонил Роман и странным голосом сказал, чтобы я немедленно поднялся к нему. Я побежал наверх.

В лаборатории были Роман, Витька и Эдик. Кроме того, в лаборатории был зеленый попугай. Живой. Он сидел, как и вчера, на коромысле весов, рассматривал всех по очереди то одним, то другим глазом, копался клювом в перьях и чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Ученые, в отличие от него, выглядели неважко. Роман, понурившись, стоял над попугаем и время от времени судорожно вздыхал. Бледный Эдик осторожно массировал себе виски с мучительным выражением на лице, словно его гладила мигрень. А Витька, верхом на стуле, раскачивался как мальчик, играющий в лошадки, и неразборчиво бормотал, лихорадочно тараща глаза.

— Тот самый? — спросил я вполголоса.

— Тот самый, — сказал Роман.

— Фотон? — я тоже почувствовал себя неважко.

— Фотон.

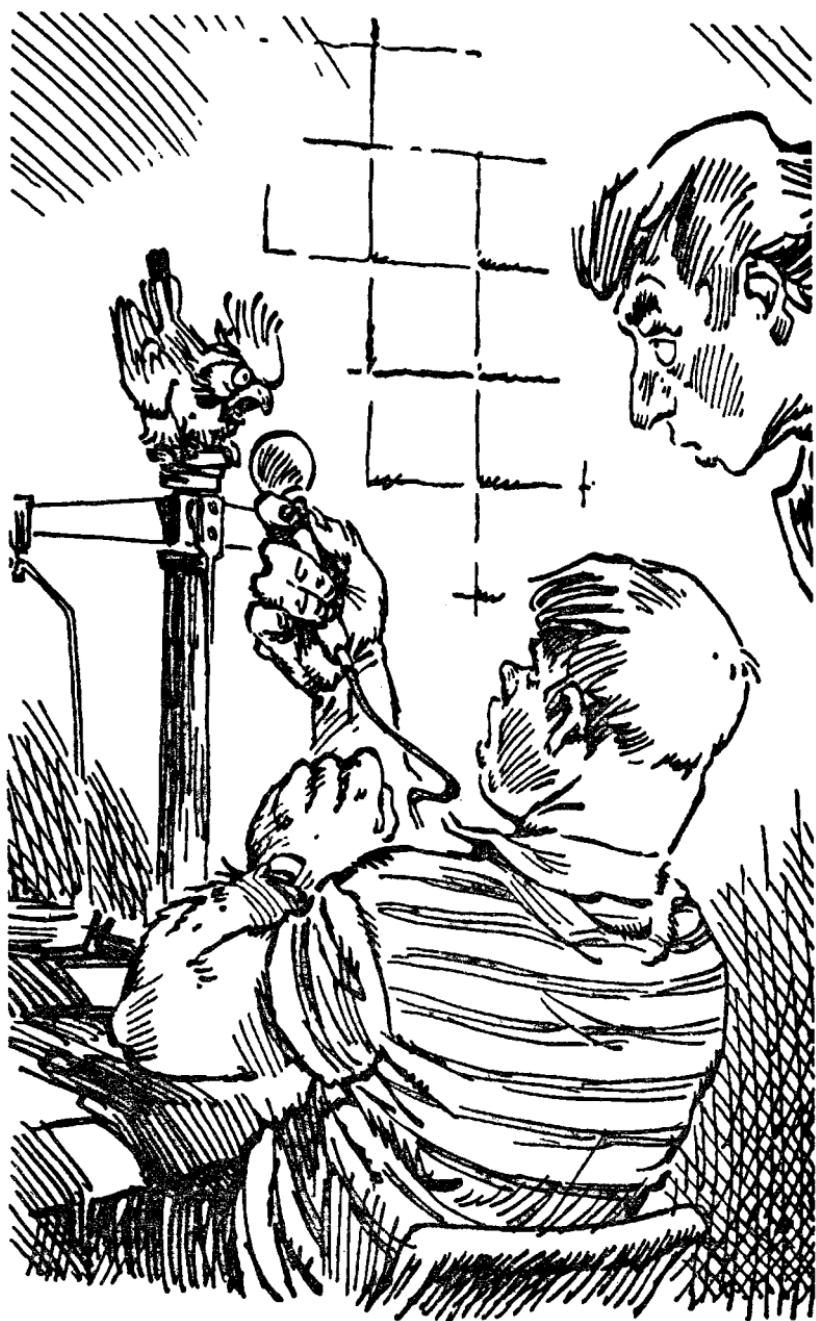
— И номер совпадает?

Роман не ответил. Эдик сказал болезненным голосом:

— Если бы мы знали, сколько у попугаев перьев в хвосте, мы могли бы их пересчитать и учесть то перо, которое было потеряно позавчера.

— Хотите, я за Бремом сбегаю? — предложил я.

— Где покойник? — спросил Роман. — Вот с чего нужно начинать! Слушайте, детективы, где труп?



— Тр-руп! — рявкнул попугай. — Цер-ремония! Тр-руп за борт! Р-рубидий!

— Черт знает, что он говорит, — сказал Роман с сердцем.

— Труп за борт — это типично пиратское выражение, — пояснил Эдик.

— А рубидий?

— Р-рубидий! Резер-рв! Огр-ромен! — сказал попугай.

— Резервы рубидия огромны, — перевел Эдик. — Интересно, где?

Я наклонился и стал разглядывать колечко.

— А может быть, это все-таки не тот?

— А где тот? — спросил Роман.

— Ну, это другой вопрос, — сказал я. — Все-таки это проще объяснить.

— Объясни, — предложил Роман.

— Подожди, — сказал я. — Давай сначала решим вопрос: тот или не тот?

— По-моему, тот, — сказал Эдик.

— А по-моему, не тот, — сказал я. — Вот здесь на колечке царапина, где тройка...

— Тр-ройка! — произнес попугай. — Тр-ройка! Кр-руче впр-право! Смер-рч! Смер-рч!

Витька вдруг встрепенулся.

— Есть идея, — сказал он.

— Какая?

— Ассоциативный допрос.

— Как это?

Погодите. Сядьте все, молчите и не мешайте. Роман, у тебя есть магнитофон?

— Есть диктофон.

— Давай сюда. Только все молчите. Я его сейчас расколю, прохвоста. Он у меня все скажет.

Витька подтащил стул, сел с диктофоном в руке напротив попугая, нахохлился, посмотрел на попугая одним глазом и гаркнул:

— Р-рубидий!

Попугай вздрогнул и чуть не свалился с весов. Помахав крыльями, чтобы восстановить равновесие, он отозвался:

— Р-резерв! Кр-ратер Ричи!

Мы переглянулись.

— Р-резерв! — гаркнул Витька.

— Огр-ромен! Гр-руды! Гр-руды! Р-ричи пр-рав! Р-ричи пр-рав! Р-роботы! Р-роботы!

— Роботы!

— Кр-рах! Гор-рят! Атмосфер-ра гор-рит! Пр-рочь! Др-рамба, пр-рочь!

– Драмба!
– Р-рубидий! Р-резерв!
– Рубидий!
– Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!
– Замыкание, – сказал Роман. – Круг.
– Погоди, погоди, – бормотал Витька. – Сейчас...
– Попробуй что-нибудь из другой области, – посоветовал Эдик.
– Янус – сказал Витька.
Попугай открыл клюв и чихнул.
– Я-нус, – повторил Витька строго.
Попугай задумчиво смотрел в окно.
– Буквы «р» нет, – сказал я.
– Пожалуй, – сказал Витька. – А ну-ка... Невстр-руев!
– Пер-рехожу на пр-рием! – сказал попугай, – чар-родей! Чар-родей!

Говор-рит кр-рыло, говор-рит кр-рыло!

– Это не пиратский попугай, – сказал Эдик.
– Спроси его про труп, – попросил я.
– Труп, – неохотно сказал Витька.
– Цер-ремония погр-ребения! Вр-ремя огр-граничено! Р-речь! Р-речь!
Тр-репотня! Р-работать! Р-работать!

– Любопытные у него были хозяева, – сказал Роман. – Что же нам делать?

– Витя, – сказал Эдик. – У него, по-моему, космическая терминология. Попробуй что-нибудь простое, обыденное.
– Водородная бомба, – сказал Витька.
Попугай наклонил голову и почистил лапкой клюв.
– Паровоз! – сказал Витька.
Попугай промолчал.

– Да, не получается, – сказал Роман.
– Вот дьявол, – сказал Витька, – ничего не могу придумать обыденного с буквой «р». Стул, стол, потолок... Диван... О! Тр-ранслятор!
Попугай поглядел на Витьку одним глазом.

– Кор-рнеев, пр-рошу!

– Что? – спросил Витька. Впервые в жизни я видел, как Витька растерялся.

– Кор-рнеев гр-руб! Гр-руб! Пр-рекрасный р-работник! Дур-рак р-редкий! Пр-релесь!

Мы захихикали. Витька посмотрел на нас и мстительно сказал:

– Ойр-ра-Ойр-ра!

– Стар-р, стар-р! – с готовностью откликнулся попугай. – Р-рад!

Дор-рвался!

– Это что-то не то, – сказал Роман.

— Почему же не то? — сказал Витька. — Очень даже то... — Привалов!

— Пр-ростодушный пр-роект! Пр-римитив! Тр-рудяга!

— Ребята, он нас всех знает, — сказал Эдик.

— Р-ребята, — отозвался попугай. — Зер-рышко пер-рцу! Зер-ро! Зер-ро! Гр-равитация!

— Амперян, — торопливо сказал Витька.

— Кр-рематорий! Безвр-ременно обор-рвалась! — сказал попугай, подумал и добавил: — Ампер-рмтр!

— Бессвязица какая-то, — сказал Эдик.

— Бессвязиц не бывает, — задумчиво сказал Роман.

Витька, щелкнув замочком, открыл диктофон.

— Лента кончилась, — сказал он. — Жаль.

— Знаете что, — сказал я, — по-моему, проще всего спросить у Януса.

Что это за попугай, откуда он, и вообще...

— А кто будет спрашивать? — осведомился Роман.

Никто не вызвался. Витька предложил прослушать запись, и все согласились. Все это звучало очень странно. При первых же словах из диктофона попугай перелетел на плечо Витьки и стал с видимым интересом слушать, вставляя иногда реплики вроде: «Др-рамба игнорирует ур-ран», «Пр-равильно» и «Кор-рнеев гр-руб, гр-руб, гр-руб!». Когда закись кончилась, Эдик сказал:

В принципе можно было бы составить лексический словарь и проанализировать его на машине. Но кое-что ясно и так. Во-первых, он всех нас знает. Это уже удивительно. Это значит, что он много раз слышал наши имена. Во-вторых, он знает роботов. И про рубидий. Кстати, где употребляется рубидий?

— У нас в институте, — сказал Роман, — он, во всяком случае, нигде не употребляется.

— Это что-то вроде натрия, — сказал Корнеев.

— Рубидий — ладно, — сказал я. — Откуда он знает про лунные кратеры?

— Почему именно лунные?

— А разве на Земле горы называют кратерами?

— Ну, во-первых, есть кратер Аризона, а во-вторых, кратер — это не гора, а скорее дыра.

— Дыр-ра вр-ремени, — сообщил попугай.

— У него прелюбопытнейшая терминология, — сказал Эдик. — Я никак не могу назвать ее общеупотребительной.

— Да, — согласился Витька. — Если попугай все время находится при Янусе, то Янус занимается странными делами.

— Стр-ранный ор-битальный пер-реход, — сказал попугай.

- Янус не занимается космосом, – сказал Роман. – Я бы знал.
– Может быть, раньше занимался?
– И раньше не занимался.
– Работы какие-то, – с тоской сказал Витька. – Кратеры... При чем здесь кратеры?
– Может быть, Янус читает фантастику? – предположил я.
– Вслух? Попугаю?
– Н-да...
– Венера, – сказал Витька, обращаясь к попугаю.
– Р-рковая стр-расть, – сказал попугай. Он задумался и пояснил: – Р-разбился. Зр-ря.

Роман поднялся и стал ходить по лаборатории. Эдик лег щекой на стол и закрыл глаза.

- А как он здесь появился? – спросил я.
– Как вчера, – сказал Роман. – Из лаборатории Януса.
– Вы это сами видели?
– Угу.
– Я одного не понимаю, – сказал я. – Он умирал или не умирал?
– А мы откуда знаем? – сказал Роман. – Я не ветеринар. А Витька не орнитолог. И вообще это, может быть, не попугай.

- А что?
– А я откуда знаю?
– Это, может быть, сложная наведенная галлюцинация, – сказал Эдик, не открывая глаз.
– Кем наведенная?
– Вот об этом я сейчас и думаю, – сказал Эдик.

Я надавил пальцем на глаз и посмотрел на попугая. Попугай раздвоился.

- Он раздваивается, – сказал я. – Это не галлюцинация.
– Я сказал: сложная галлюцинация, – напомнил Эдик.
Я надавил на оба глаза. Я временно ослеп.
– Вот что, – сказал Корнеев. – Я заявляю, что мы имеем дело с нарушением причинно-следственного закона. Поэтому выход один – все это галлюцинация, а нам нужно встать, построиться и с песнями идти к психиатру. Становись!

- Не пойду, – сказал Эдик. – У меня есть еще одна идея.
– Какая?
– Не скажу.
– Почему?
– Побьете.
– Мы тебя и так побьем.
– Бейте.

— Нет у тебя никакой идеи, — сказал Витька. — Это тебе все кажется. Айда к психиатру.

Дверь скрипнула, и в лабораторию из коридора вошел Янус Полуэктович.

— Так, — сказал он. — Здравствуйте.

Мы встали. Он обошел нас и по очереди пожал каждому руку.

— Фотончик, — сказал он, увидя попугая. — Он вам не мешает, Роман Петрович?

— Мешает? — сказал Роман. — Мне? Почему он мешает? Он не мешает. Наоборот...

— Ну, все-таки каждый день... — начал Янус Полуэктович и вдруг осекся. — О чем это мы с вами вчера беседовали? — спросил он, потирая лоб.

— Вчера вы были в Москве, — сказал Роман с покорностью в голосе.

— Ах... Да-да. Ну, хорошо. Фотончик! Иди сюда!

Попугай, вспорхнув, сел Янусу на плечо и сказал ему на ухо:

— Пр-росо, пр-росо! Сахар-рок!

Янус Полуэктович нежно заулыбался и ушел в свою лабораторию. Мы обалдело посмотрели друг на друга.

— Пошли отсюда, — сказал Роман.

— К психиатру! К психиатру! — зловеще бормотал Корнеев, пока мы шли по коридору к нему на диван. — В кратер Ричи. Др-рамба! Сахар-рок!

Глава пятая

Фактов всегда достаточно — не хватает фантазии.

Д. Блохинцев

Витька составил на пол контейнеры с живой водой, мы повалились на диван-транслятор и закурили. Через некоторое время Роман спросил:

— Витька, а ты диван выключил?

— Да.

— Что-то мне в голову ерунда какая-то лезет.

— Выключил и заблокировал, — сказал Витька.

— Нет, ребята, — сказал Эдик, — а почему все-таки не галлюцинация?

— Кто говорит, что не галлюцинация? — спросил Витька. — Я же предлагаю — к психиатру.

— Когда я ухаживал за Майкой, — сказал Эдик, — я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось.

— Зачем? — спросил Витька.



Эдик подумал.

– Не знаю, – сказал он. – Наверное, от восторга.

– Я спрашиваю: зачем кому-то наводить на нас галлюцинации? – сказал Витьяка. – И потом, мы же не Майка. Мы, слава богу, магистры. Кто нас может одолеть? Ну, Янус. Ну, Киврин, Хунта. Может быть, Жиакомо еще.

– Вот Саша у нас слабоват, – извиняющимся тоном сказал Эдик.

– Ну и что? – спросил я. – Мне, что ли, одному мерещится?

– Вообще-то это можно было бы проверить, – задумчиво сказал Витьяка. – Если Сашку... Того... Этого...

– Но-но, – сказал я. – Вы мне это прекратите. Других способов нет, что ли? Надавите на глаз. Или дайте диктофон постороннему человеку. Пусть прослушает и скажет, есть там запись или нет.

Магистры жалостливо улыбнулись.

– Хороший ты программист, Саша, – сказал Эдик.

– Салака, – сказал Корнеев. – Личинка.

– Да, Сашенька, – вздохнул Роман. – Ты даже представить себе не можешь, я вижу, что такое настоящая, подробная, тщательно наведенная галлюцинация.

На лицах магистров появилось мечтательное выражение – видимо, их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них с завистью. Они улыбались. Они жмурились. Они подмигивали кому-то. Потом Эдик вдруг сказал:

– Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим запахом, какой я только мог выдумать...

Витьяка очнулся.

– Берклеанцы, – сказал он. – Солипсисты немытые. «Как ужасно мое представленье!».

– Да, – сказал Роман. – Галлюцинации – это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. Какая там у тебя была идея, Эдик?

– У меня?.. Ах да, была. Тоже, в общем, примитив. Матрикаты.

– Гм, – сказал Роман с сомнением.

– А как это? – спросил я.

Эдик неохотно объяснил, что, кроме известных мне дублей, существуют еще матрикаты – точные, абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей, матрикат совпадает с оригиналом с точностью до структуры. Различить их обычными методами невозможно. Нужны специальные установки, и вообще, это очень сложная и трудоемкая работа. В свое время Бальзамо получил магистра-академика за доказательство матрикатной природы Филиппа Бурbona, известного в народе под прозвищем «Железная маска». Этот матрикат Людовика Че-

тырнадцатого был создан в тайных лабораториях иезуитов с целью захватить французский престол. В наше время матрикаты изготавливаются методом биостереографии а-ля Ришар Сэйор.

Я не знал тогда, кто такой Ришар Сэйор, но я сразу сказал, что идея о матрикатах может объяснить только необычайное сходство попугаев. И все. Например, остается по-прежнему непонятным, куда исчез вчерашний дохлый попугай.

— Да, это так, — сказал Эдик. — Я и не настаиваю. Тем более, что Янус не имеет никакого отношения к биостереографии.

— Вот именно, — сказал я смелее. — Тогда уж лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Знаете? Как Луи Седловой.

— Ну? — сказал Корнеев без особого интереса.

— Просто Янус летает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попугая и привозит сюда. Попугай сдохнет, он снова летит на ту же самую страницу и опять... Тогда понятно, почему попугаи похожи. Это один и тот же попугай, и понятно, почему у него такой научно-фантастический лексикон. И вообще, — продолжал я, чувствуя, что все получается не так уж глупо, — можно даже попытаться объяснить, почему Янус все время задает вопросы: он каждый раз боится, что вернулся не в тот день, в который следует... По-моему, я все здорово объяснил, а?

— А что, есть такой фантастический роман? — с любопытством спросил Эдик. — С попугаем?..

— Не знаю, — сказал я честно. — Но у них там в звездолетах всякие животные бывают. И кошки, и обезьяны, и дети... Опять же, на западе существует обширнейшая фантастика, все не перечитаешь...

— Ну... Во-первых, попугай из западной фантастики вряд ли станет говорить по-русски, — сказал Роман. — А главное, совершенно непонятно, каким образом эти космические попугаи — пусть даже из советской фантастики — могут знать Корнеева, Привалова и Ойру-Ойру...

— Я уже не говорю о том, — лениво сказал Витька, — что перебрасывать материальное тело в идеальный мир — это одно, а идеальное тело в материальный мир — это уже другое. Сомневаюсь я, чтобы нашелся писатель, создавший образ попугая, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире.

Я вспомнил полупрозрачных изобретателей и не нашелся, что возразить.

— Впрочем, — благосклонно продолжал Витька, — наш Сашенция подает определенные надежды. В его идее ощущается некое благородное безумие.

— Не стал бы Янус сжигать идеального попугая, — убежденно сказал Эдик. — Ведь идеальный попугай даже протухнуть не может.

— А почему? — сказал вдруг Роман. — Почему мы так непоследовательны? Почему Седловой? С какой стати Янус будет повторять Л. Седлового? У Януса есть своя проблематика. Янус занимается параллельными пространствами. Давайте исходить из этого!

— Давайте, — сказал я.

— Ты думаешь, что Янусу удалось связаться с каким-нибудь параллельным пространством? — спросил Эдик.

— Связь он наладил уже давно. Почему не предположить, что он пошел дальше? Почему не предположить, что он налаживает переброску материальных тел? Эдик прав, это матрикаты, это и должны быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого предмета. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две переброски были неудачны: попугай дохли. Сегодня эксперимент, кажется, удался...

— Почему они говорят по-русски? — спросил Эдик. — И почему все-таки у попугаев такой лексикон?

— Значит, и там есть Россия, — сказал Роман. — Но там уже добывают рубидий в кратере Ричи.

— Сплошные натяжки, — сказал Витька. — Почему именно попугай? Почему не собаки и не морские свинки? Почему не просто магнитофоны, наконец? И опять же, откуда эти попугай знают, что Ойра-Ойра стар, а Корнеев — прекрасный работник?

— Грубый, — подсказал я.

— Грубый, но прекрасный. И куда все-таки девался дохлый попугай?

— Вот что, — сказал Эдик. — Так нельзя. Мы работаем, как дилетанты. Как авторы любительских писем: «Дорогие ученые! У меня который, год в подполье происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит». Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем...

И мы расписали все красивым эдиковским почерком.

Во-первых, мы приняли постулат, что происходящее не является галлюцинацией, иначе было бы просто неинтересно. Потом мы сформулировали вопросы, на которые искомая гипотеза должна была дать ответ. Эти вопросы мы разделили на две группы: группа «попугай» и группа «Янус». Группа «Янус» была введена по настоянию Романа и Эдика, которые заявили, что всем нутром чуют связь между странностями Януса и странностями попугаев. Они не смогли ответить на вопрос Корнеева, каков физический смысл понятий «нутро» и «чуять», но подчеркнули, что Янус сам по себе представляет любопытнейший объект для исследования, и что яблочко от яблони далеко не падает. Поскольку я своего мнения не имел, они оказались в большинстве, и окончательный список выглядел так.

Почему попугай за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, похожи друг на друга до такой степени, что были приняты нами сначала за одного и того же?

Почему Янус сжег первого попугая, а также, вероятно, и того, который был перед первым (нулевого) и от которого осталось только перо?

Куда девалось перо?

Куда девался второй (издохший) попугай?

Как объяснить странный лексикон второго и третьего попугаев?

Как объяснить, что третий знает всех нас, в то время как мы видим его впервые?

(«Почему и отчего издохли попугай?» – добавил было я, но Корнеев проворчал: «Почему и отчего первым признаком отравления является посинение трупа?» – и мой вопрос не записали).

Что объединяет Януса и попугаев?

Почему Янус никогда не помнит, с кем и о чём он беседовал вчера?

Что происходит с Янусом в полночь?

Почему У-Янус имеет странную манеру говорить в будущем времени, в то время как за А-Янусом ничего подобного не замечалось?

Почему их вообще двое, и откуда, собственно, пошла легенда, что Янус Полуэктович един в двух лицах?

После этого мы некоторое время старательно думали, поминутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я чем дальше, тем больше начинал склоняться к точке зрения Сани Дрозда: что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что этот дешевый скептицизм есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира, но это уже от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, по-настоящему удивительно только если считать, что эти три или четыре попугая – один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что вначале я был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик, я уважаю числа, и совпадение номеров – в особенности шестизначных – для меня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов. Однако ясно, что это не может быть один и тот же попугай – тогда нарушился бы закон причинно-следственной связи, законы, от которого я совершенно не собирался отказываться» из-за каких-то паршивых попугаев, да еще дохлых вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще? Лексикон? Подумаешь, лексикон... Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение. Я собрался было уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал:

– Ребята, кажется, я догадываюсь.

Мы не сказали не слова. Мы только повернулись к нему – одновременно и с шумом. Витька встал.

– Это просто, как блин, – сказал он. – Это тривиально. Это плоско и банально. Это даже неинтересно рассказывать...

Мы медленно поднимались. У меня было такое ощущение, будто я читаю последние страницы захватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился.

– Контрамоция! – изрек Витька.

Эдик лег.

– Хорошо! – сказал он. – Молодец!

– Контрамоция? – сказал Роман. – Что ж... Ага... – Он завертел пальцами. – Так... Угу... А если так?.. Да, тогда понятно, почему он нас всех знает... – Роман сделал широкий приглашающий жест. – Идут, значит, оттуда...

– И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера, – подхватил Витька. – И фантастическая терминология...

– Да подождите вы! – завопил я. Последняя страница детектива оказалась написана по-арабски. – Подождите! Какая контрамоция?

– Нет, – сказал Роман с сожалением, и сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрамоция не пойдет. – Не получается, – сказал Роман. – Это как кино... Представь себе кино...

– Какое кино?! – закричал я. – Помогите!!!

– Кино наоборот, – пояснил Роман. – Понимаешь? Контрамоция.

– Дрянь собачья, – расстроенно сказал Витька и лег на диван носом в сложенные руки.

– Да, не получается, – сказал Эдик тоже с сожалением. – Саша, ты не волнуйся: все равно не получается. Контрамоция – это, по определению, движение по времени в обратную сторону. Как нейтринно. Но вся беда в том, что, если бы попугай был контрамотом, он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы... А вообще-то, идея хорошая. Попугай-контрамот действительно мог знать бы кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контрамот-Янус действительно не мог бы знать, что происходило в нашем «вчера». Потому что наше «вчера» было бы для него «завтра».

– В том-то и дело, – сказал Витька. – Я так и подумал: почему попугай говорил про Ойру-Ойру «стар»? И почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра? Помнишь случай на полигоне, Роман?.. Напрашивалось, что они из будущего...

– Послушайте, а разве это возможно – контрамоция? – сказал я.

— Теоретически возможно, — сказал Эдик. — Ведь половина вещества во Вселенной движется в обратную сторону по времени. Практически же этим никто не занимался.

— Кому это нужно и кто это выдержит? — сказал Витька мрачно.

— Положим, это был бы замечательный эксперимент, — заметил Роман.

— Не эксперимент, а самопожертвование... — проворчал Витька. — Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции... Нутром чую.

— Ах, нутром!.. — сказал Роман, и все замолчали.

Пока они молчали, я лихорадочно суммировал, что же мы имеем на практике. Если контрамоция теоретически возможна, значит теоретически возможно нарушение причинно-следственного закона. Собственно, даже не нарушение, потому что закон этот остается справедлив в отдельности и для нормального мира и для мира контрамота... А значит, что попугаев не три и не четыре, а всего один, — один и тот же. Что получается? Десятого с утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее, утром одиннадцатого он жив опять. Не только не испепелен, но цел и невредим. Правда, к середине дня он издается и снова оказывается в чашке Петри. Это чертовски важно! Я чувствовал, что это чертовски важно — чашка Петри... Единство места!.. Двенадцатого попугай опять жив и просит сахарок... Это не контрамоция, это не фильм,пущенный наоборот, но что-то от контрамоции здесь все-таки есть... Витька прав... Для контрамота ход событий таков: попугай жив, попугай умирает, попугая сжигают. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот: попугая сжигают, попугай умирает, попугай жив... Словно фильм разрезали на три куска и показывают сначала третий кусок, потом второй, а-потом уже первый... Какие-то разрывы непрерывности... Разрывы непрерывности... Точки разрыва...

— Ребята, — сказал я замирающим голосом, — а контрамоция обязательно должна быть непрерывной?

Некоторое время они не реагировали. Эдик курил, пуская дым в потолок, Витька неподвижно лежал на животе, а Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились.

— П полночи! — сказал он страшным шепотом.

Все вскочили.

Было так, точно я на кубковом матче забил решающий гол. Они бросались на меня, они слюнявили мои щеки, они били меня по спине и по плечам, они повалили меня на диван и повалились сами.

«Умница!», — вопил Эдик. «Голова!», — ревел Роман. «А я-то думал, что ты у нас дурак!», — приговаривал грубый Корнеев. Затем они успокоились, и дальше все пошло как по маслу.

Сначала Роман ни с того ни с сего заявил, что теперь он знает тайну Тунгусского метеорита. Он пожелал сообщить ее нам немедленно, и мы с радостью согласились, как ни парадоксально это звучит. Мы не торопились приступить к тому, что интересовало нас больше всего. Нет, мы совсем не торопились! Мы чувствовали себя гурманами. Мы не накидывались на яства. Мы вдыхали ароматы, мы закатывали глаза и чмокали, мы потирали руки, ходя вокруг, мы предвкушали...

— Давайте, наконец, внесем ясность, — вкрадчивым голосом начал Роман, — в запутанную проблему Тунгусского дива. До нас этой проблемой занимались люди, абсолютно лишенные фантазии. Все эти кометы, метеориты из антивещества, самовзрывающиеся атомные корабли, всякие там космические облака и квантовые генераторы — все это слишком банально, а значит, далеко от истины. Для меня Тунгусский метеорит всегда был кораблем пришельцев, и я всегда полагал, что корабль не могут найти на месте взрыва просто потому, что его там давно уже нет. До сегодняшнего дня я думал, что падение Тунгусского метеорита есть не посадка корабля, а его взлет. И уже эта черновая гипотеза многое объясняла. Идеи дискретной контрамоции позволяют покончить с этой проблемой раз и навсегда... Что же произошло тридцатого июня тысяча девятьсот восьмого года в районе Подкаменской Тунгуски? Примерно в середине июля того же года в околосолнечное пространство вторгся корабль пришельцев. Но это были не простые, безыскусные пришельцы фантастических романов. Это были контрамоты, товарищи! Люди, прибывшие в наш мир из другой Вселенной, где время течет на встречу нашему. В результате взаимодействия противоположных потоков времени они из обычновенных контрамотов, воспринимающих нашу Вселенную как фильм,пущенный наоборот, превратились в контрамоты дискретного типа. Природа этой дискретности нас пока не интересует. Важно другое. Важно то, что жизнь их в нашей Вселенной стала подчинена определенному ритмическому циклу. Если предположить для простоты, что единичный цикл был у них равен земным суткам, то существование их, с нашей точки зрения, выглядело бы так. В течение, скажем, первого июля они живут, работают и питаются совершенно как мы. Однако ровно, скажем, в полночь они вместе со своим оборудованием переходят не во второе июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало тридцатого июня, то есть не на мгновенье вперед, а на двое суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно также в конце тридцатого июня они переходят не в первое июля, а в самое начало двадцать девятого июня. И так далее. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершает на своей орбите весьма странные скачки — скачки, чрезвычайно затруд-

няющие астронавигацию. Кроме, того, находясь над Землею первого июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского евразийского материка мощный пожар, дым которого они наблюдали в могучие телескопы и раньше – второго, третьего и так далее июля в нашем счете времени. Катализм и сам по себе заинтересовал их, однако научное их любопытство было окончательно распалено, когда утром тридцатого июня – в нашем счете времени – они заметили, что никакого пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте, где он вчера – в его счете времени – своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло как полагается. Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался ка-гамма-плазмоин...

– Как-как? – спросил Витька.

– Ка-гамма-плазмоин. Или, скажем, мю-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем, рухнул в тайгу и, естественно, зажег ее. Именно эту картину и наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жаростойкими стенами корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно в полночь все вдруг стихло. И не удивительно. Контрамоты вступили в свой новый день – двадцать девятое июня по нашему времязисчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около двух часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны и тут же подвергся нападению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса или мошки в нашей терминологии.

Роман перевел дух и оглядел нас. Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно так же разделаем под орех тайну попугая.

– Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов, – продолжал Роман, – не должна нас интересовать. Может быть, числа пятнадцатого июня они тихо и бесшумно, используя на этот раз ничего не воспламеняющую альфа-бета-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты и вернулись домой. Может быть, они все до одного погибли, отправленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне силурийского моря по нему ползали трилобиты. Не исключено также, что ще-нибудь в девятьсот шестом или в девятьсот первом году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые, как и следует быть, ни на грош ему не верили. Заканчивая свое небольшое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследова-

телям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе Подкаменной Тунгуски. Завороженные очевидностью, они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва, и никто из них не попытался узнать, что там было до Дикси¹.

Роман откашлялся и выпил кружку живой воды.

— У кого есть вопросы к докладчику? — осведомился Эдик. — Нет вопросов? Превосходно. Вернемся к нашим попугаям. Кто просит слова?

Слова просили все. И все заговорили. Даже Роман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов и вычеркивали вопросы один за другим, и через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающее ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления.

В тысяча восемьсот сорок первом году в семье небогатого помещика и отставного армейского прaporщика Полуэкта Хрисанфовича Невструева родился сын. Назвали его Янусом в честь дальнего родственника Януса Полуэктовича Невструева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот, тихий, скромный старичок, переехал в поместье отставного прaporщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям. Был он чудаковат, как и полагается ученым людям, со многими странностями, однако привязался к своему крестнику всей душой и не отходил от него ни на шаг, настойчиво внедряя в него познания из математики, химии и других наук. Можно сказать, что в жизни младшего Януса не было ни одного дня без Януса-старшего, и, верно, потому он не замечал того, чему дивились другие: старик не только не дряхел с годами, но, напротив, становился как будто бы даже сильнее и бодрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайны аналитической, релятивистской и обобщенной магии. Они продолжали жить и трудиться бок о бок, участвуя во всех войнах и революциях, претерпевая более или менее мужественно все превратности истории, пока не попали, наконец, в научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства...

Откровенно говоря, вся эта вводная часть являлась сплошной литературой. О прошлом Янусов мы достоверно знали только тот факт, что родился Я. П. Невструев седьмого марта тысяча восемьсот сорок первого года. Каким образом и когда Я. П. Невструев стал директором института, нам было совершенно неизвестно. Мы не знали даже, кто первый догадался и проговорился о том, что У-Янус и А-Янус — один человек в двух лицах. Я узнал об этом у Ойры-Ойры и поверил, потому что понять не мог. Ойра-Ойра узнал от Жиакомо и тоже поверил, потому что

¹ DIXI — я сказал.

был молод и восхищен. Корнееву рассказала об этом уборщица, и Корнеев решил, что сам факт настолько тривиален, что о нем не стоит и размышлять. А Эдик слышал, как об этом разговаривали Саваоф Баалович и Федор Симеонович. Эдик был тогда младшим препаратором и верил вообще во все, кроме бога.

Итак, прошлое Янусов представлялось нам весьма приблизительно. Зато будущее мы знали совершенно точно. А-Янус, который сейчас занят больше институтом, чем наукой, в недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамоции. Он посвятит ей всю жизнь. Он заведет себе друга – маленького зеленого попугая, по имени Фотон, которого подарят ему знаменитые русские космоклетчики. Это случится девятнадцатого мая не то тысяча девятьсот семьдесят третьего, не то две тысячи семьдесят третьего года – именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190573 на кольце. Вероятно, вскорости после этого А-Янус добьется, наконец, решительного успеха и превратит в контрамота и самого себя, и попугая Фотона, который в момент эксперимента будет, конечно, сидеть у него на плече и просить сахарок. Именно в этот момент, если мы хоть что-нибудь понимаем в контрамоции, человеческое будущее лишится Януса Полуэктовича Невстрюева, но зато человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов, ибо А-Янус превратится в У-Януса, и заскользит назад по оси времени. Они будут встречаться каждый день, но ни разу в жизни А-Янусу не придет в голову что-либо заподозрить, потому что ласковое морщинистое лицо У-Януса, своего дальнего родственника и учителя, он привык видеть с колыбели. И каждую полночь, ровно в ноль часов ноль-ноль, минут ноль-ноль секунд ноль-ноль терций по местному времени А-Янус будет, как и все мы, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как У-Янус и его попугай в тот же самый момент, за мгновение, равное одному микрокванту времени, будет переходить из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро.

Вот почему попугай за номером один, два и три, наблюдавшиеся Сответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, были так похожи друг на друга: они были просто одним и тем же попугаем. Бедный старый Фотон! Может быть, его одолела старость, а может быть, его прокхванил сквозняк, но Он заболел и прилетел умирать на любимые весы в лаборатории Романа. Он умер, и его огорченный хозяин устроил ему огненное погребение и развеял его пепел, и сделал это потому, что не знал, как ведут себя мертвые контрамоты. А, может быть, именно потому, что знал. Мы, естественно, наблюдали весь этот процесс, как кино с переставленными частями. Девятого Роман находит в печке уцелевшее перо Фотона. Трупа Фотона уже нет, он сожжен завтра. Завтра, десятого, Роман находит его в чашке Петри. У-Янус находит покойника тогда

же и там же и сжигает его в нечи. Сохранившееся перо остается в печи до конца суток и в полночь перескакивает в девятое. Одиннадцатого с утра Фотон жив, хотя уже болен. Он издыхает на наших глазах под весами (на которых он будет так любить сидеть теперь), и простодушный Саня Дрозд кладет его в чашку Петри, где покойник пролежит до полуночи, перескочит в утро десятого, будет найден У-Янусом, сожжен, развеян по ветру, но перо его останется, пролежит до полуночи, перескочит в утро девятого, и там его найдет Роман. Двенадцатого с утра Фотон жив и бодр, он дает Корнееву интервью и просит сахарок, а в полночь перескочит в утро одиннадцатого, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро десятого, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро девятого, будет найдено Романом иброшено в мусорную корзину. Тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и так далее Фотон, на радость всем нам, будет весел, разговорчив, и мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца, а У-Янус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии человечества и, несомненно, кое-что о нашем собственном, личном будущем.

Когда мы дошли до этого пункта рассуждений, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его, Амперяна, безвременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда безвременна и, что, тем не менее, мы все там будем. И вообще, сказал Роман, может быть, он будет тебя любить сильнее всех и только твою смерть запомнит. Эдик понял, что у него еще есть шансы умереть позже нас, и настроение его улучшилось.

Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть У-Януса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он являл собою образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства, он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенатской площади и – кто знает? – может быть, навстречу аракчеевщине, бироновщине, опричнице. И где-то в глубине времен, на вощеном паркете Санкт-Петербургской де Сиянс Академии его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике – коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается – ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет: «Герр Нефструефф!.. Как же это? Федь фчера ф «Федомостях» определенно писали, что фы скончались от удар...». И

ему придется говорить что-то о брате-близнече или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор...

— Бросьте, — сказал Корнеев. — Распустили слони. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти и идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем.

— Это совсем другое дело, — сказал грустно Эдик.

— Старику тяжело, — сказал Роман. — Извольте относиться к нему по-ласковее и потеплее. Особенно ты, Витьяка. Вечно ты ему хамишь.

— А чего он ко мне пристает? — огрызнулся Витьяка. — О чем беседовали да где виделись...

— Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает, и веди себя прилично.

Витьяка насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов.

— Надо объяснять ему все поподробнее, — сказал я. — Все, что сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее.

— Да, черт возьми! — сказал Роман. — Он этой зимой ногу сломал. На гололеде.

— Надо предотвратить, — решительно сказал я.

— Что? — спросил Роман. — Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась...

— Но она у него еще не сломана, — возразил Эдик.

Несколько минут мы пытались все сообразить. Витьяка вдруг сказал:

— Постойте-ка! А это что такое? Один вопрос у нас, ребята, не вычеркнут...

— Какой?

— Куда девалось перо?

— Ну как куда? — сказал Роман. — Перенеслось в восьмое. А восьмого я как раз печку включал, расплав делал...

— Ну и что из этого?

— Да, ведь я же его бросил в корзинку... Восьмого, седьмого, шестого я его не видел... Гм... Куда же оно делось?

— Уборщица выбросила, — предположил я.

— Вообще, об этом интересно подумать, — сказал Эдик. — Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?

— Есть вещи поинтереснее, — сказал Витьяка. — Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня их изготовления на фабрике «Скороход»? И что бывает с пиццей, которую он съедает за ужином? И вообще...

Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили, потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою «Спидолу» и стал просить два рубля.

«Ну, дайте», — ныл он. «Да нет у нас», — отвечали мы ему. «Ну, может, последние есть... Дали бы!..». Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать.

— В конце концов, — сказал Эдик, — наша гипотеза не так уж и фантастична. Может быть, судьба У-Януса гораздо удивительнее.

«Очень может быть», — подумали мы и пошли в столовую.

Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на У-Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера.

— Нет, Янус Полуэктович, — сказал я. — Вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Полуэктович, прямо с утра улетели в Москву.

— Ах да, — сказал он. — Я запамятовал.

Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Полуэктович относился ко мне хорошо, а значит, никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил вполголоса, осторожно оглядевшись:

— Янус Полуэктович, разрешите, я вам задам один вопрос?

Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, видимо, вспомнив что-то, сказал:

— Пожалуйста, прошу вас. Только один?

Я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос. Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда-нибудь последний дурак?.. Я сказал:

— Можно, я зайду к вам завтра с утра?

Он покачал головой и, как мне показалось, с некоторым злорадством ответил:

— Нет. Это никак невозможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет китежградский завод, и мне придется дать вам командировку.

Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека со свободой воли, на совершенно определенные, не зависящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китежград или не хотелось. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать («Вплоть до увольнения!»). Я был обречен, и впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту. Но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград (куда я, кстати, рвался уже три меся-

ца) тоже, оказывается, может быть крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете...

— Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли? — сказал Янус Полуэктович, откровенно за мной наблюдавший. — А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то... Постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какое-нибудь из них... Вы это поймете, — сказал он убедительно. — Вы это обязательно поймете.

Позже я действительно это понял.

Но это уже совсем-совсем другая история.





ПОСЛЕСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИЙ

**Краткое послесловие и комментарий и. о. заведующего
вычислительной лабораторией НИИЧАВО
младшего научного сотрудника А. И. Привалова**

Предлагаемые очерки из жизни Научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства не являются, на мой взгляд, реалистичными в строгом смысле этого слова. Однако, они обладают достоинствами, которые выгодно отличают их от аналогичных опусов Г. Проницательного и Б. Питомника и позволяют рекомендовать их широкому кругу читателей.

Прежде всего следует отметить, что авторы сумели разобраться в ситуации и отделить прогрессивное в работе института от консервативного. Очерки не вызывают того раздражения, которое испытываешь, читая восхищенные статьи о конъюнктурных фокусах Выбегаллы или восторженные переложения безответственных прогнозов сотрудников из отдела Абсолютного Знания. Далее, приятно отметить верное отношение авторов к магу, как к человеку. Маг для них – не объект опасливого восхищения и преклонения, но и не раздражающий кинодурак, личность не от мира сего, которая постоянно теряет очки, не способна дать по морде хулигану и читает влюбленной девушке избранные места из «Курса дифференциального и интегрального исчисления». Все это означает, что авторы взяли верный тон. К достоинствам очерков можно отнести и то, что авторы дали институтские пейзажи с точки зрения но-

вичка, а также не просмотрели весьма глубокого соотношения между законами административными и законами магическими. Что же касается недостатков очерков, то подавляющее большинство из них определяется изначальной гуманитарной направленностью авторов. Будучи профессиональными литераторами, авторы сплошь и рядом предпочитают так называемую художественную правду так называемой правде факта. И, будучи профессиональными литераторами, авторы, как и большинство литераторов, назойливо эмоциональны и прискорбно невежественны в вопросах современной магии. Никак не возражая против опубликования данных очерков, я, тем не менее, считаю необходимым указать на некоторые конкретные погрешности и ошибки.

1. Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует содержанию. Используя эту действительно распространенную у нас поговорку, авторы, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда отдыхают. Это в самом деле почти так и есть. Но в очерках этого не видно. Авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений и эффектных эпизодов. Приключения духа, которые составляют суть жизни любого мага, почти не нашли отражения в очерках. Я, конечно, не считаю последней главы третьей части, где авторы хотя и попытались показать работу мысли, но сделали это на неблагодарном материале довольно элементарной дилетантской логической задачки (при изложении которой ухитрились допустить, вдобавок, достаточно примитивный логический ляп, причем не постыдившись приписать этот ляп своим героям). Кстати, я излагал авторам свою точку зрения по этому поводу, но они только пожали плечами и несколько обиженно объявили, что я отношусь к очеркам слишком серьезно.

2. Упомянутое уже невежество в вопросах магии как науки играет с авторами злые шутки на протяжении всей книги. Так, например, формулируя диссертационную тему М. Ф. Редькина, они допустили четырнадцать (!) фактических ошибок. Солидный термин «гиперполе», который им, очевидно, очень понравился, они вставляют в текст сплошь и рядом неуместно. Им, по-видимому, невдомек, что диван-транслятор является излучателем не М-поля, а мю-поля; что термин «живая вода» вышел из употребления еще в прошлом веке; что таинственного прибора, под названием аквавитометр, и электронной машины, под названием «Алдан», в природе не существует; что заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ – для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое, и которых авторы упорно называют девочками. Описание упражнений по материализации в первой главе второй части сделано безобразно: на совести авторов остаются дикие термины «вектор-

магистратум» и «заклинание Ауэрса»; уравнение Стокса не имеет к материализации никакого отношения, а Сатурн в описываемый момент никак не мог находиться в созвездии Весов. (Этот последний ляпсус тем более непростителен, что, насколько я понял, один из авторов является астрономом-профессионалом). Список такого рода погрешностей можно было бы без труда продолжить, однако я не делаю этого, потому что авторы наотрез отказались что-либо исправлять. Выбросить непонятную им терминологию они тоже отказались: один заявил, что терминология необходима для антуража, а другой – что она создает колорит. Впрочем, я был вынужден согласиться с их соображением о том, что подавляющее большинство читателей вряд ли окажется способным отличить правильную терминологию от ошибочной, и что какая бы терминология ни наличествовала, все равно ни один разумный читатель ей не поверит.

3. Стремление к упомянутой выше художественной правде (по выражению одного из авторов) и к типизации (по выражению другого) привело к значительному искажению образов реальных людей, участвующих в повествовании. Авторы вообще склонны к нивелировке героев, и потому более или менее правдоподобен у них разве что Выбегалло и, в какой-то степени, Кристобаль Хозевич Хунта (я не считаю эпизодического образа вурдалака Альфреда, который получился лучше, чем кто-нибудь другой). Например, авторы твердят, что Корнеев груб, и воображают, будто читатель сможет составить себе правильное представление об этой грубости. Да, Корнеев действительно груб. Но именно поэтому описанный Корнеев выглядит «полупрозрачным изобретателем» (в терминологии самих авторов) по сравнению с Корнеевым реальным. То же относится и к пресловутой вежливости Э. Амперяна. Р. П. Ойра-Ойра в очерках совершенно бесплотен, хотя именно в описываемый период он разводился со второй женой и собирался жениться в третий раз. Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы читатель не придавал слишком много веры моему собственному образу в очерках.

4. Несколько слов об иллюстрациях.

Иллюстрации обладают высокой достоверностью и смотрятся весьма убедительно. (Я даже подумал было, что художник непосредственно связан со смежным НИИ Кабалистики и Ворожбы). Это – лишнее свидетельство того, что истинный талант, даже будучи дезинформирован, не способен все-таки полностью оторваться от реальной действительности. И, в то же время, нельзя не видеть, что художник имел несчастье смотреть на мир из рук авторов, о компетентности которых я уже писал выше. Однако, я надеюсь, что чувство юмора, присущее сотрудникам НИИЧАВО, остановит их в стремлении возбудить литературно-

критическое преследование за диффамацию, дискредитацию, дезинформацию и отрыв от.

Авторы попросили меня объяснить некоторые непонятные термины и малознакомые имена, встречающиеся в книге. Выполняя эту просьбу, я встретился с определенными затруднениями. Естественно, объяснять терминологию, выдуманную авторами («аквавитометр», «тимпоральная передача» и т. п.), я не собираюсь. Но я не думаю, что большую пользу принесло бы и объяснение даже грамотно употребляемых терминов, требующее основательных специальных знаний. Невозможно, например, объяснить термин «гиперполе» человеку, плохо разбирающемуся в теории физического вакуума. Термин «трансгрессия» еще более емок, и, вдобавок, разные школы употребляют его в разных смыслах. Короче говоря, я ограничился комментарием к некоторым именам, терминам и понятиям, достаточно широко распространенным, с одной стороны, и достаточно специфичным в нашей работе – с другой. Кроме того, я откомментировал несколько слов, не имеющих прямого отношения к магии, но могущих вызвать, на мой взгляд, недоумение читателя.

Авгуры – в Древнем Риме жрецы, предсказывающие будущее по полету птиц и по их поведению. Подавляющее большинство из них было сознательными жуликами. В значительной степени это относится и к институтским авгурам, хотя теперь у них разработаны новые методы.

Анацефал – урод, лишенный головного мозга и черепной коробки. Обыкновенно анацефалы умирают при рождении или несколько часов спустя.

Бецалель, Лев Бен – известный средневековый маг, придворный алхимик императора Рудольфа II.

Вампир – см. *Вурдалак*.

Василиск – в сказках – чудовище с телом петуха и хвостом змеи, убивающее взглядом. На самом деле – ныне почти вымерший древний ящер, покрытый перьями, предшественник первоптицы археоптерикса.

Способен гипнотизировать. В виварии института содержится два экземпляра.

Вервольф – см. *Оборотень*.

Вурдалак – см. *Упырь*.

Гарпии – в греческой мифологии – богини вихря, а в действительности – разновидность нежити, побочный продукт экспериментов ранних магов в области селекции. Имеют вид больших рыжих птиц со старушечими головами, очень неопрятны, прожорливы и сварливы.



Гидра – у древних греков – фантастическая много-головая водяная змея. У нас в институте – реально существующая многоголовая рептилия, дочь З. Горыныча и плезиозаврихи из озера Лох-Несс.



Гном – в западноевропейских сказаниях – безобразный карлик, охраняющий подземные сокровища. Я разговаривал с некоторыми из гномов. Они действительно безобразны и действительно карлики, но ни о каких сокровищах они понятия не имеют. Большинство гномов – это забытые и сильно усохшие дубли.



Голем – один из первых кибернетических роботов, сделан из глины Львом Бен Бецалелем. (См., например, чехословацкую кинокомедию «Пекарь императора», тамошний Голем очень похож на настоящего).

Гомункулус – в представлении неграмотных средневековых алхимиков – человекоподобное существо, созданное искусственно в колбе. На самом деле, в колбе искусственное существо создать нельзя. Гомункулусов синтезируют в специальных автоклавах и используют для биомеханического моделирования.

Данаиды – в греческой мифологии – преступные дочери царя Даная, убившие по его приказанию своих мужей. Сначала были осуждены наполнять водой бездонную бочку. Впоследствии, при пересмотре дела, суд принял во внимание тот факт, что замуж они отданы были насилию. Это смягчающее обстоятельство позволило перевести их на несколько менее бессмысленную работу: у нас в институте они занимаются тем, что взламывают асфальт везде, где сами его недавно положили.



Демон Максвелла – важный элемент мысленного эксперимента крупного английского физика Максвелла. Предназначался для нападения на второй принцип термодинамики. В мысленном эксперименте Максвелла демон располагается рядом с отверстием в переборке, разделяющей сосуд, наполненный движущимися молекулами. Работа демона состоит в том, чтобы выпускать из одной половины сосуда в другую быстрые молекулы и закрывать отверстие перед носом медленных. Идеальный демон способен, таким образом, создать очень

высокую температуру в одной половине сосуда и очень низкую – в другой, осуществляя вечный двигатель второго рода. Однако, только сравнительно недавно и только в нашем институте удалось найти и приспособить к работе таких демонов.

Джян бен Джян – либо древний изобретатель, либо древний воитель. Имя его всегда связано с понятием щита и отдельно не встречается. (Упоминается, например, в «Искушении святого Антония» Г. Флобера).



Джинн – злой дух арабских и персидских мифов. Почти все джинны являются дублями царя Соломона и современных ему магов. Использовались в военных и политико-хулиганских целях. Отличаются отвратительным характером, наглостью и полным отсутствием чувства благодарности. Невежественность и агрессивность их таковы, что почти все они находятся в заключении. В современной магии широко используются в качестве подопытных существ. В частности, Э. Амперян на материале тринацати джиннов определял количество зла, которое может причинить обществу злобный невежественный дурак.

Домовой – в представлении суеверных людей – некое сверхъестественное существо, обитающее в каждом обжитом доме. Ничего сверхъестественного в домовых нет. Это либо вконец опустившиеся маги, не поддающиеся перевоспитанию, либо помеси гномов с некоторыми домашними животными. В институте находятся под началом М. М. Каменоедова и используются для подсобных работ, не требующих квалификации.

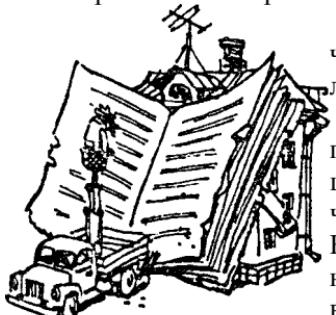
Дракула, граф – знаменитый венгерский вурдалак XVII-XIX вв.



Графом никогда не был. Совершил массу преступлений против человечности. Был изловлен гусарами и торжественно проткнут осиновым колом при большом скоплении народа. Отличался необычайной жизнеспособностью: вскрытие обнаружило в нем полтора килограмма серебряных пуль.

Звезда Соломонова – в мировой литературе – магический знак в виде шестиконечной звезды, обладающий волшебными свойствами. В настоящее время, как и подавляющее большинство других геометрических заклинаний, потерял всякую силу и годен исключительно для запугивания невежественных людей.

Инкуб – разновидность оживших мертвцев, имеет обыкновение вступать в браки с живыми. Не бывает. В теоретической магии термин «инкуб» употребляется в совершенно другом смысле: мера отрицательной энергии живого организма.



Инкунабула – так называют первые печатные книги. Некоторые из инкунабул отличаются поистине гигантскими размерами.

Ифрит – разновидность *джинна*. Как правило, ифриты – это хорошо сохранившиеся дубли крупнейших арабских военачальников. В институте используются М. М. Камноедовым в качестве вооруженной охраны, так как отличаются от прочих *джиннов* высокой дисциплинированностью. Механизм огнеметания ифритов изучен слабо и вряд ли будет когда-либо изучен досконально, потому что никому не нужен.

Кадавр – вообще говоря, оживленный неодушевленный предмет: портрет, статуя, идол, чучело. (См., например, А. Н. Толстой, «Граф Калиостро»). Одним из первых в истории кадавров была небезызвестная Галатея работы скульптора Пигмалиона. В современной магии кадавры не используются. Как правило, они феноменально глупы, капризны, истеричны и почти не поддаются дрессировке. В институте кадаврами иногда иронически называют неудавшихся дублей и дублеподобных сотрудников.

Левитация – способность летать без каких бы то ни было технических приспособлений. Широко известна левитация птиц, летучих мышей и насекомых.

«Молот ведьм» – старинное руководство по допросу третьей степени. Составлено и применялось церковниками специально в целях выявления ведьм. В новейшие времена отменено как устаревшее.



Оборотень – человек, способный превращаться в некоторых животных: в волка (вервольф), в лисицу (кицунэ) и т. д. У суеверных людей вызывают ужас, непонятно почему. В. П. Корнеев, например, когда у него разболелся зуб мудрости, обернулся петухом, и ему сразу полегчало.

Оракул – по представлениям древних, средство общения богов с людьми: полет птицы (у авгуротов), шелест деревьев, бред прорицателя и т. д. Оракулом называлось также и место, где давались предсказания.



«Соловецкий Оракул» – это небольшая темная комната, где уже много лет проектируется установить мощную электронно-счетную машину для мелких прорицаний.

Пифия – жрица-прорицательница в Древней Греции. Вещала, на-дышившись ядовитых испарений. У нас в институте пифии не практикуют. Очень много курят и занимаются общей теорией предсказаний.

Рамапите́к – по современным представлениям, непосредственный предшественник питекантропа на эволюционной лестнице.

Сэгю́р Ришар – герой фантастической повести «Загадка Ришара Сэгиюра», открывший способ объемной фотографии.

Такси́дермист – чучельник, набивщик чучел. Я порекомендовал авторам это редкое слово, потому что К. Х. Хунта приходит в ярость, когда его называют просто чучельником.

Терция – одна шестидесятая часть секунды.

Триба – здесь: племя. Решительно не понимаю, зачем издателям Книги Судеб понадобилось называть племя рамапитеков трибой.

«Упанишады» – древнеиндийские комментарии к четырем священным книгам.

Упы́рь – кровососущий мертвец народных сказок. Не бывает. В действительности упыри (вурдалаки, вампиры) – это маги, вставшие по тем или иным причинам на путь абстрактного зла. Исконное средство против них – осиновый кол и пули, отлитые из самородного серебра. В тексте слово «упырь» употребляется везде в переносном смысле.

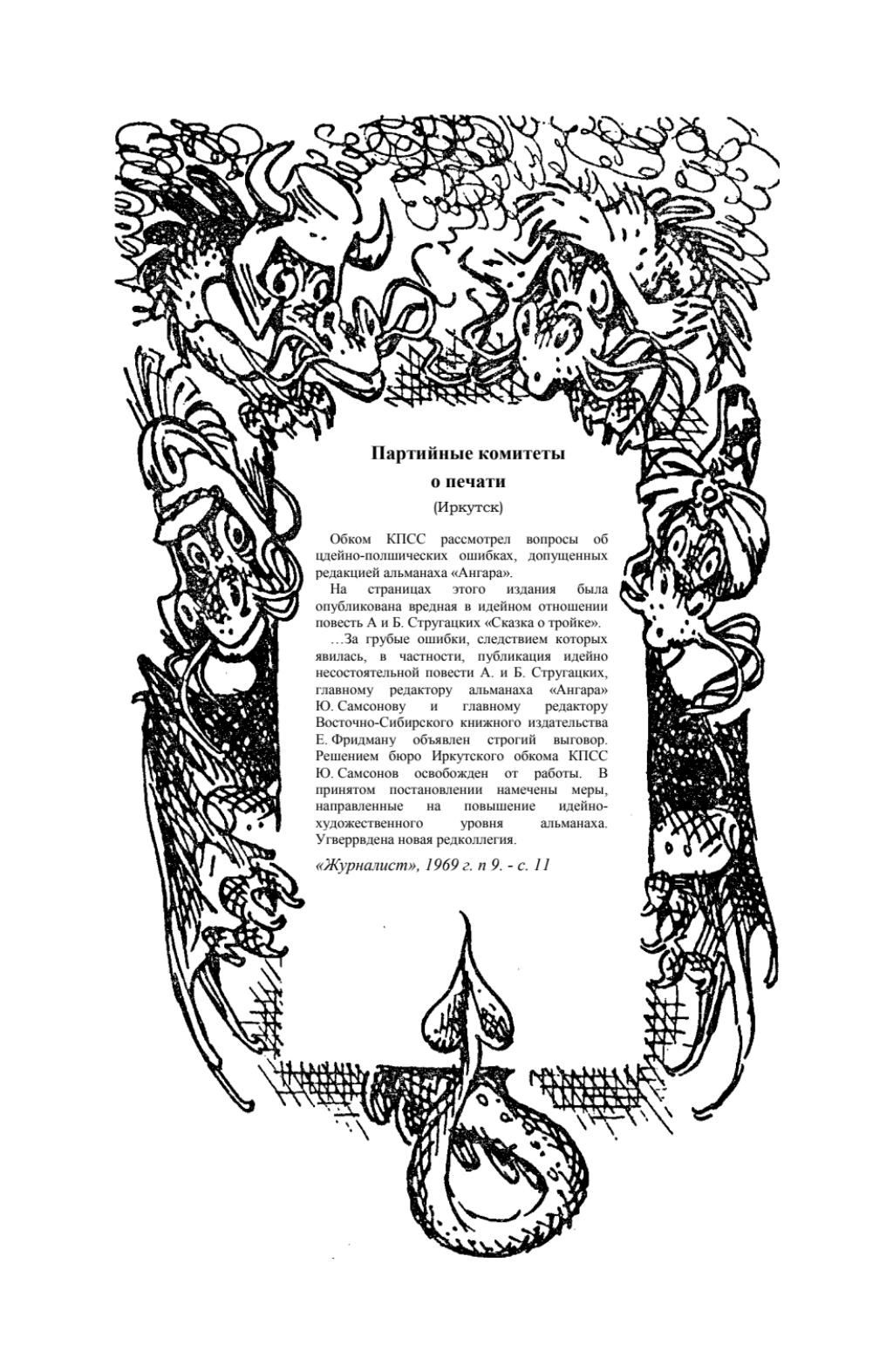
Фантом – призрак, привидение. По современным представлениям – сгусток некробиотической информации. Фантомы вызывают суеверный ужас, хотя совершенно безобидны. В институте их используют для уточнения исторической правды, хотя юридически считаться очевидцами они не могут.

A. Привалов





Сказка
• ТРОЙКА



Партийные комитеты

о печати

(Иркутск)

Обком КПСС рассмотрел вопросы об идеино-политических ошибках, допущенных редакцией альманаха «Ангара».

На страницах этого издания была опубликована вредная в идейном отношении повесть А и Б. Стругацких «Сказка о тройке».

За грубые ошибки, следствием которых явилась, в частности, публикация идеино-несостоительной повести А. и Б. Стругацких, главному редактору альманаха «Ангара» Ю. Самсонову и главному редактору Восточно-Сибирского книжного издательства Е. Фридману объявлен строгий выговор. Решением бюро Иркутского обкома КПСС Ю. Самсонов освобожден от работы. В принятом постановлении намечены меры, направленные на повышение идеино-художественного уровня альманаха. Утвержденна новая редакция.

«Журналист», 1969 г. n 9. - с. 11



Глава первая

Мы сидели на травке в пыльном скверике под окнами заводского управления и переваривали обед – каждый по-своему. Федя читал «Китежградские новости», медленно ведя по строчкам черным неразгибающимся пальцем; мрачный Витька Корнеев лелеял обуревавшие его черные замыслы; Эдик Амперян спрашивал, Роман Ойра-Ойра отвечал, а я, не теряя драгоценного времени, загорал себе подмышки. Комаров и слепней поблизости не было, они тоже, вероятно, переваривали обед.

Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядовито-оранжевые сточные воды прохладная Китеха. На другом берегу сладко томились под солнцем заливные луга. По ровной желтой насыпи, выбрасывая белые дымки, полз игрушечный поезд. На горизонте в парном мареве синела зубчатая кромка далекого леса. Над серыми башнями Старой крепости, сверкая солнечными зайчиками, совершало эволюции небольшое летающее блюдце.

Окна заводского управления были раскрыты, и слышно было, как пишущие машинки вяло и неубедительно отвечают на энергичные напористые очереди бухгалтерских «рейнметаллов». Зажмурившись, можно было легко представить себя в районе боев местного значения. В полуподвале управления, подчиняясь сложному ритму, сдвоенно и тяжело грохали печатающие механизмы табуляторов. Пикирующими бомбардировщиками визжали и завывали на складе циркулярные пилы. По бомбардировщикам выпускали обойму за обоймой скорострельные пневматические молотки. В ремонтных мастерских, устрашающе лязгая гусеницами, разворачивались танки, а где-то в цехах дальнобойно ухал паровой молот. Кроме того, у ворот склада разгружали машину листо-

вого железа – звуки были сочные, военные, но я не мог подобрать для них удовлетворительную аналогию.

– А это что за развалина? – спрашивал Эдик.

– А это Старый Китејград, – отвечал Роман.

– Тот самый?

– Тот самый. Двенадцатый век.

– А почему только две башни? – спросил Эдик.

Роман объяснил ему, что до осады было четыре: Кикимора, Аукалка, Плюнь-Ядовитая и Уголовница. Годзилла прожег стену между Аукалкой и Уголовницей, ворвался во двор и вышел защитникам в тыл. Однако, был он дубина, по слухам – самый здоровенный и самый глупый из четырехглавых драконов. В тактике он не разбирался и не хотел, а потому, вместо того, чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу, благо голов как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотверженная, братья Разбойники сидели, Соловей Одихмантьевич и Лягва Одихмантьевич, с ними – Лихо Одноглазое, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в Плюнь-Ядовитую алчно ворвался годзиллов прихвостень Вампир Беовульф, который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабежами. Однако это был первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей Одихмантьевич на пороге Аукалки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг, Лягва Одихмантьевич по малолетству отдал было первый этаж Кикиморы, но на втором закрепился, раскачал башню и обрушил ее вместе с собою на атаковавшую его голову в тот самый момент, когда хитрое и хладнокровное Лихо Одноглазое, заманившее правофланговую голову в селитряные подвалы Уголовницы, взорвало башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и кончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Одихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, аукалки, кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад, и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он вскорости и подох от газовой гангрены.

— Любопытно, — проговорил Эдик, разглядывая из-под ладони заросшие серые глыбы Аукалки и Плюнь-Ядовитой. — А вход туда свободный?

— Свободный, — ответил Роман. — За пятак.

— Жалко, — сказал Эдик, — Не успею я туда сходить.

Роман промолчал, а Витька Корнеев, отвлекшись от черных мыслей, посмотрел на Эдика с состраданием.

— А вот это блюдце? — спросил Эдик. — Это наше блюдце?

— Наверное, — сказал Роман. — Колонист какой-нибудь упражняется.

Чтобы навыков не растерять.

— А где сама Колония?

— В городском парке, вон на том конце города.

— Сходим? — предложил Эдик.

— Успеется, — сказал Роман.

Эдик посмотрел на часы.

— Четыре часа уже, — сказал он озабоченно, — До приема остается всего час, но, может быть, успеем? А то пока разговоры, пока бумаги подпишут...

— Пока тебе подпишут здесь бумаги, шляпа ты фетровая, — сказал грубый Корнеев, — и пока кончатся все разговоры, ты здесь и накупаешься, и наговоришься, и на лыжах находишься, и жениишься, и разведешься (Эдик посмотрел на него с изумлением), от Колонии тебя будет тошнить, от этих дурацких развалин тебя будет рвать...

— Что это с ним? — спросил Эдик, обращаясь к Роману. Роман, не говоря ни слова, повалился на спину и задрал ногу на ногу. Тогда Эдик поглядел на меня. Глаза у него были такие чистые, такие наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в могуществе разума, такой свеженький из своего отдела Линейного Счастья, еще пахнувший яблоками и детским смехом, такой избалованный — избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалованный rationalностью и справедливостью, избалованный горним воздухом чистого знания... Витька и Роман тоже были такими две недели назад.

— Эдик, — ласково сказал я. — Ты намерен, я вижу, сегодня же вечером вернуться в Институт?

— Да, — сказал Эдик. — А что?

— И времени у тебя нет, не так ли? Вся аппаратура готова, а завтра прямо с утра ты хочешь начать?

— Естественно...

— И тебе так не терпится начать, что ты просто не можешь позволить себе остаться здесь еще хотя бы на день, чтобы осмотреть Колонию?

— Да-да... Вообще-то, я бы с удовольствием, но... В чем дело?

— А внимательно осмотреть крепость? — спросил я.

— А поискать зубы Годзиллы, выбитые Соловьевем Одихмантьевичем?
— предложил Роман.

— И еще девочки, — сказал Витька с горечью. — Ух, какие девочки в Китејграде!

— Я не понимаю, ребята, — сказал Эдик. От обиды у него даже припухла нижняя губа. — Не смешно.

— Ты еще не знаешь, до чего все это не смешно, — сказал Роман. — Тебе вот даже не пришло в голову спросить, почему мы сидим здесь так долго — Саша уже второй месяц, а мы с Витькой третью неделю. Уж не стал ли ты, чего доброго, эгоистом?

— Ну как — почему... У Саши дела на заводе...

— А мы с Витькой?

— Ну... ну, я не знаю... В конце концов, почему я должен был об этом думать?

— Эгоист! — сказал Роман, с грустью укрепляясь в этом ужасном предположении относительно Эдика. — Федя, полюбуйтесь, пожалуйста. Вот это — эгоист. Видите, как выглядит эгоист?

Федя вздрогнул, поглядел на Эдика поверх газеты, мучительно застушкался и, поскольку обе руки у него были заняты, в полном смятении задрал правую ногу, снял пенсне и принялся тереть линзы о штанину.

— По-моему... — пробормотал он. — Нет... Эгоист... Не может быть... Как же так...

— Спасибо, Федя, — сказал вежливый Эдик. — Это была шутка. — Он оглядел нас. — Вы хотите сказать, что здесь имеет место бюрократическая волокита, из-за которой я вынужден буду задержаться?

— Нет, — сказал я. — Нашей простой, многократно описанной и разоблаченной бюрократической волокитой здесь, к сожалению, и не пахнет.

— Волокита! — презрительно сказал Витька и сплюнул сквозь зубы на одуванчик. Одуванчик увял.

— Волокита... — мечтательно прознес Роман. — Волокита, Эдик, это, в сущности, прекрасно. Несешь, бывало на подпись что-нибудь исходящее, а бухгалтер, шалун этакий, посыпает тебя за визой к директору... Идешь к директору, а у директора, естественно, совещание, надобно подождать, садишься в кожаные кресла, пощебечешь с референтом, полистаешь газету, а там, глядишь, и совещание закончилось, — возвращаешься к бухгалтеру, а бухгалтер, шалунишка, на обеде... Садишься в кожаные кресла, пощебечешь со счетоводом...

— Золотые люди, — сказал Витька. — День-два, и все готово...

— А здесь? — спросил Эдик с интересом.

— А здесь, Эдик, — сказал я, — ничего этого и в заводе нет. Здесь у нас — ТПРУНЯ!



– Ну и что же? Я знаю.

– Ты знаешь, что такое ТПРУНЯ? – осведомился Роман.

– Знаю. Тройка По Распределению и Учету Необъяснимых Явлений.

Витька хрюкло захохотал.

– Да, – сказал Роман, качая головой. – Распределение, значит, и Учет. И как же ты себе это представляешь?

Эдик пожал плечами.

– Я никак это себе не представляю. Зачем? Два месяца назад я подал заявку. Месяц назад меня любезно известили о том, что моя заявка зарегистрирована. Сегодня мне понадобился экспонат из Колонии необъясненных явлений, и я за ним прибыл. Вот и все.

– Шалунишки! – вскричал вдруг Панург. – Учетчики-бухгалтеры! А между прочим, матриархат имеет свои преимущества! В Центральном московском бассейне некий гражданин повадился подныривать под купальщиц и хватать их за ноги. И вот одна из купальщиц, изловчившись, саданула его, нахального, ногой по голове. – Панург захохотал во все горло. – Она попала ему по челюсти, а сама вышла и отправилась одеваться. Проходит время, а нахального гражданина нет и нет. Вытащили его... – Панург снова захохотал. – Вытащили они его... – Панург еле говорил от смеха. – Вытащили, понимаете, они его, а он уже холодный! И челость сломана...

Все мы, кроме Эдика, тоже не могли удержаться от жуткого смеха, хотя я ощутил некий озноб, Роман побледнел лицом, а по шерстистому загривку Феди пошла волна. Витька же, отсмеявшись, сплюнул на анютины глазки и спросил Эдика:

– Понял?

– Не совсем, – сказал Эдик, рассматривая Панурга, утиравшего глаза шутовским колпаком.

– Не смешно тебе? – спросил Витька.

– Честно говоря, нет, – ответил Эдик.

– Ничего, привыкнешь, – пообещал Витька. – Время у тебя еще есть.

– Да, – сказал Роман. – Время у тебя теперь есть. Никогда в жизни не было у тебя так много времени. И я сейчас объясню тебе, почему. ТПРУНЯ, Эдик, это не Тройка По Распределению и Учету. ТПРУНЯ, Эдик, это Тройка По Рационализации и Утилизации.

– Ну и что же? – спросил Эдик.

– Он воображает, будто ТПРУНЯ – это что-то вроде кладовщика, – с сожалением сказал Роман, обращаясь ко мне и Витьке. – Он воображает, будто стоит ему принести накладную, как он тут же получит все, что ему положено... Что есть ТПРУНЯ? – осведомился он, обращаясь в пространство.

Я немедленно откликнулся:

– ТПРУНЯ – есть авторитетный административный орган, неукоснительно и неослабно выполняющий свои функции и никогда не подменяющий собою других административных органов.

– Понял? – сказал Витька Эдику. – Кладовщик – это кладовщик, а ТПРУНЯ – это ТПРУНЯ.

– Позвольте, – сказал Эдик, но Роман продолжал:

– Что есть Рационализация?

– Рационализация, – мрачно ответствовал Витька, – это такая поганая дрянь, когда необъясненное возвышается или низводится авторитетными болванами до уровня повседневщины.

– Однако, позвольте... – сказал смущенный Эдик.

– А что есть Утилизация? – вопросил Роман.

– Утилизация, – сказал я Эдику, – есть признание или категорическое непризнание за рационализированным явлением права на существование в нашем бренном реальном мире.

Эдик опять попытался что-то сказать, но Роман упредил его:

– Могут ли решения Тройки быть обжалованы?

– Да, могут, – сказал я. – Но результаты не воспоследуют.

– Как мордой об стол, – разъяснил Корнеев.

Эдик безмолвствовал. Выражение решительности и готовности к благородному протесту медленно сползло с его лица.

– Авторитетны ли для Тройки, – тоном провинциального адвоката спросил Роман, – рекомендации и пожелания заинтересованных лиц?

– Нет, не авторитетны, – сказал я. – Хотя и рассматриваются. В порядке поступления.

– Что есть заинтересованное... – начал Роман, но Эдик перебил его.

– Неужели Печать? – спросил он с ужасом.

– Да, – сказал Роман. – Увы.

– Большая?

– Очень большая, – сказал Роман.

– Ты такой еще не нюхивал, – добавил Витька.

– И круглая?

– Зверски круглая, – сказал Роман. – Никаких шансов.

– Но, позвольте, – сказал Эдик, с видимым усилием стараясь подавить растерянность. – Если, скажем... скажем, оквадратить? Скажем... э... преобразование Киврина-Оппенгеймера?..

Роман покачал головой.

– Определитель Жемайтиса равен нулю.

– Ты хочешь сказать – близок к нулю?

Витька неприятно заржал.

– А то бы мы без тебя не догадались, – сказал он. – Равен, товарищ Амперян! Равен!

– Определитель Жемайтиса равен нулю, – повторил Роман. – Плотность административного поля в каждой доступной точке превышает число Одина, административная устойчивость абсолютна, так что все условия теоремы о легальном воздействии выполняются...

– И мы с тобой сидим в глубокой потенциальной галоше, – закончил Витька.

Эдик был раздавлен. Он еще шевелил лапками, поводил усами и торщил надкрылья, но это были уже чисто рефлекторные действия. Некоторое время он открывал и закрывал рот, потом выхватил из воздуха роскошный блокнот с золотой надписью «Делегату городской профсоюзной конференции» и принял бешено строчить в нем, ломая и нетерпеливо восстанавливая грифель, потом вновь растворил в воздухе канцелярские принадлежности и принял без всякого аппетита покусывать себе пальцы, бессмысленно тараща глаза на мирный пейзаж за рекой. Все молчали. Роман лежал на спине, задрав ногу на ногу и, казалось, спал. Витька, вновь погрузившись в океан черных замыслов, шумно сопел и оплевывал окружающую природу ядовитой слюной. Не вынеся этого душераздирающего зрелища, я отвернулся и стал смотреть, как Федя читает.

Федя был существом мягким, добрым и деликатным, и он был очень упорен. Чтение давалось ему с огромным трудом. Любой из нас уже давно бы отказался от дела, требующего таких усилий, и признал бы себя бесталанным и негодным. Но Федя был существом другой породы. Он грыз гранит, не жалея ни зубов, ни гранита. Он медленно вел палец по очередной строчке, подолгу задерживаясь на буквах «щ» и «ъ», трудолюбиво покряхтывал, добросовестно шевелил большими серыми губами, длинными и гибкими, как у шимпанзе, а, наткнувшись на точку с запятой, надолго замирал, собирая кожу на лбу в гармошку и судорожно подергивал далеко отставленными большими пальцами ног. Пока я смотрел на него, он добрался до слова «дезоксирибонуклеиновая», дважды попытался взять его с налету, не преуспел, применил слоговый метод, запутался, пересчитал буквы, затрепетал и робко посмотрел на меня. Пенсне косо и странно сидело на его широкой переносице.

– Дезоксирибонуклеиновая, – сказал я. – Это такая кислота. Дезоксирибонуклеиновая.

Он, жалко улыбаясь, поправил пенсне.

– Кислота, – повторил он перехваченным голосом. – А зачем она такая?

– Иначе ее никак не назовешь, – сочувственно сказал я. – Разве что сокращенно – ДНК. Да, вы это пропустите, Федя, читайте дальше.

– Да-да, – сказал он. – Я лучше пропущу.

Он снова принялся читать, а я смотрел на него и думал, какой же чудовищной мощью должна обладать Большая Круглая Печать, если одного прикосновения ее к бумаге оказалось достаточно для того, чтобы навеки закабалить этого свободолюбивого снежного человека, этого доброго и деликатного владыку неприступных вершин, и превратить его в вульгарный экспонат, в наглядное пособие для популярных лекций по основам дарвинизма. Потом я услышал осторожное кваканье и обернулся. Кузька был, конечно, тут как тут. Он сидел на крыше заводского управления и робко поглядывал в нашу сторону. Я помахал ему и поманил его пальцем. Он, как всегда, страшно смущился и попятился. Я призываю похлопал ладонью по траве возле себя. Кузька смущился окончательно и спрятался за вытяжную трубу.

Витька вдруг рявкнул:

— Хватать и тикать. Плевал я на них на всех. Подумаешь, Печать... В первый раз, что ли...

— Главное в нашем положении, — сказал Роман, не открывая глаз, — это спокойствие. Выдержка и ледяное хладнокровие. Надо искать пути.

— Главное в нашем положении — вовремя рвануть когти, — возразил Корнеев. — Унося что-нибудь в клове при этом, — добавил он.

— Нет-нет, — встрепенулся Эдик. — Нет! Главное в нашем положении — не совершать поступков, которых мы потом будем стыдиться.

Я посмотрел на часы.

— Главное в нашем положении — не опоздать к началу заседания. Лавр Федотович очень не одобряет опозданий.

Мы встали. Федя из вежливости тоже встал. Когда мы выходили из скверика, я обернулся. Федя уже снова читал. А Кузька сидел рядом с ним и пробовал на зуб шапочку с бубенцами, которую часто оставлял после себя Панург.

Глава вторая

Ровно в пять часов мы перешагнули порог комнаты заседаний. Как всегда, кроме коменданта Колонии, никого еще не было. Комендант сидел за своим столиком, держал перед собой раскрытое дело и аж подсигивал от нетерпеливого возбуждения. Глаза у него были, как у античной статуи, а губы непрерывно двигались, словно он повторял в уме горячую защитительную речь. Нас он не заметил, и мы тихонько расселись на стульях вдоль стены под табличкой «Представители». Роман сразу же принялся орудовать пилочкой для ногтей. Витька засунул руки в карманы и выставил ноги на середину комнаты. Эдик, усевшись в изящной позе, осторожно озирался. Он скользнул равнодушным взглядом по демонстрационному столу прямо перед входом, по маленькому

столику с табличкой «Научный консультант», с некоторым беспокойством задержал взгляд на огромном, под зеленой суконной скатертью столе для Тройки, и, все более беспокоясь, принял изучать увлеченного коменданта, полускрытого горой канцелярских папок. Вид чудовищного коричневого сейфа, мрачно возвышавшегося в углу позади коменданта, поверг его в первую панику, а когда он поднял глаза и обнаружил на стене необытный кумачовый лозунг «Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации», лицо его так переменилось, что я понял: Эдик готов.

Именно в этот момент, вероятно, комендант вдруг ощутил, что в комнате присутствует нечто, не прошедшее должной проверки и оной подлежащее. Он встрепенулся, повел большим носом и обнаружил Эдика.

— Посторонний! — произнес он со странным выражением.

Эдик встал и поклонился. Комендант, не спуская с него напряженного взора, вылез из-за стола, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Эдик пожал эту руку и представился: «Амперян». Затем он отступил и поклонился снова. Потрясеный комендант несколько мгновений стоял в прежней позе, а затем поднес ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Затем он с беспокойством, как бы ища оброненное, оглядел пол у своих ног.

— Здорово, Зубо, — сказал грубый Корнеев. — Эдик, это Зубо. Дай ему документы, а то его сейчас Кондрат хватит.

Витька был недалек от истины. Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал лихорадочно озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение. Комендант ожила. Действия его стали осмысленными. Он пожрал глазами сначала фотографию на документе, а на закуску глазами же пожрал самого Эдика. Явное сходство фотографии с оригиналом привело его в восторг.

— Очень рад! — воскликнул он. — Зубо моя фамилия. Комендант я. Представитель, так сказать, городской администрации. Устраивайтесь, товарищ Амперян, располагайтесь, нам с вами еще работать и работать...

Он вдруг замолчал и рысью кинулся на свое место. И вовремя. В приемной послышались шаги, голоса, кашель, дверь распахнулась, движимая властной рукой, и в комнате появилась Тройка в полном составе — все четверо — плюс научный консультант профессор Выбегалло. Лавр Федотович Вунюков, ни на кого не глядя, проследовал на председательское место, сел, водрузил перед собой огромный портфель, с лязгом распахнул его и принял выкладывать на зеленое сукно предметы, необходимые для успешного председательствования: номенклатурный бювар крокодиловой кожи, набор шариковых авторучек в сафьяновом

чехле, коробку «Герцеговины Флор», зажигалку в виде триумфальной арки и призматический театральный бинокль.

Отставной полковник мотокавалерийских войск, брякнув медалями, устроился справа от Лавра Федотовича, высоко задрал седые брови и, придя таким образом своему лицу выражение бесконечного изумления и неодобрения, мирно заснул.

Рудольф же Архипович Хлебовводов, еще более пожелтевший и усохший за минувшие три часа, сел ошую Лавра Федотовича и принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно при этом бегая воспаленными с желтизной глазами по углам комнаты.

Фарфуркис, по обыкновению, не сел за стол. Он демократически устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую записную книжку в дряхлом переплете и сразу же сделал в ней пометку.

Никто из членов Тройки не обратил на нас, по-видимому, никакого внимания. А научный консультант профессор Выбегалло обратил. Он равнодушно оглядел нас, сдвинул брови, поднял на мгновение глаза к потолку, как бы пытаясь припомнить, где это он нас видел, не то припомнил, не то не припомнил, усился за свой столик и принялся деятельно готовиться к исполнению своих ответственных обязанностей. Перед ним появился первый том «Малой Советской Энциклопедии», затем второй том, затем третий, четвертый...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович и оглядел присутствие взглядом, проникающим сквозь стены и видящим насквозь. Все были готовы: полковник спал, Хлебовводов нашептывал, Фарфуркис сделал вторую пометку, комендант, похожий на школьника перед началом опроса, судорожно листал страницы дела, а Выбегалло положил перед собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то мы значения не имели. Я посмотрел на Эдика и поспешно отвернулся. Эдик был близок к полной деморализации — появление Выбегаллы его доконало.

— Вечернее заседание Тройки объявляю открытым, — сказал Лавр Федотович. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал было высоким голосом: «Машкин Эдельвейс Захарович...», но его тут же перебил бдительный Фарфуркис.

— Протестую! — крикнул он, обращаясь к Лавру Федотовичу. — Где порядковый номер дела? Почему не поименованы пункты?

Лавр Федотович повернул голову и некоторое время рассматривал коменданта.

— Правильное обобщение, верное, — произнес он, наконец. — Поименуйте, товарищ Зубо.

Комендант с бумажным шорохом облизнул сухим языком сухие губы и начал снова, но теперь уже голосом низким и как бы севшим:

— Дело номер сорок второе. Фамилия: Машкин. Имя: Эдельвейс. Отчество: Захарович...

— С каких это пор он Машкиным заделался? — брюзгливо спросил Хлебовводов. — Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. Я с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в Комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любил... И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард Петрович Бабкин...

Лавр Федотович медленно обратил к нему каменное лицо.

— Бабкин? — произнес он. — Не помню... Продолжайте, товарищ Зубо.

— Отчество: Захарович, — дергая щекой, повторил комендант. — Год и место рождения: тысяча девятьсот первый, город Смоленск. Национальность...

— Э-дуль-вейс или Э-доль-вейс? — спросил Фарфуркис.

— Э-дель-вейс, — сказал комендант. — Национальность: белорус. Образование: неполное среднее общее, неполное среднее техническое. Знание иностранных языков: русский — свободно, украинский и белорусский — со словарем. Место работы...

Хлебовводов вдруг звонко шлепнул себя по лбу.

— Да нет же! — закричал он. — Он же помер!

— Кто помер? — деревянным голосом спросил Лавр Федотович.

— Да Бабкин этот! Я же как сейчас помню — в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году помер он от инфаркта. Был он тогда финдиректором Всероссийского общества испытателей природы, пришел, значит, в свой кабинет, сел и помер. Так что тут какая-то путаница.

Лавр Федотович взял биноколь и некоторое время изучал коменданта, потерявшего дар речи.

— Факт смерти у вас отражен? — осведомился он.

— Христом богом... — пролепетал комендант. — Какой смерти?.. Да почему же смерти?.. Да живой он, в приемной дожидается...

— Одну минуточку, — вмешался Фарфуркис. — Вы разрешите, Лавр Федотович? Товарищ Зубо, кто дожидается в приемной? Только точно. Фамилия, имя, отчество.

— Бабкин! — с отчаянием сказал комендант. — То есть, что я говорю? Не Бабкин — Машкин! Машкин дожидается, Эдельвейс Захарович.

— Понимаю, — сказал Фарфуркис. — А где Бабкин?

— Бабкин помер, — сказал Хлебовводов авторитетно. — Это я вам точно могу сказать. В одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом. Правда, у него сын был. Пашка, по-моему. Павел, значит, Эдуардович. Я его недавно встречал. Заведует он сейчас магазином текстильного лоскута в Голицыне, что под Москвой. Толковый работяга, но кажется, не Павел, все-таки, не Пашка, нет...

Я налил стакан воды и передал коменданту. В наступившей тишине было слышно, как комендант гулко глотает. Лавр Федотович размял и продул папиросу.

– Никто не забыт и ничто не забыто, – произнес он. – Это хорошо. Товарищ Фарфукис, я попрошу вас занести в протокол, в констатирующую часть, что Тройка считает полезным принять меры к отысканию сына Бабкина Эдуарда Петровича на предмет выяснения его имени. Народу не нужны безымянные герои. У нас их нет.

Фарфуркис закивал и принял быстро строчить в записной книжке.

– Вы напились, товарищ Зубо? – осведомился Лавр Федотович, разглядывая коменданта в бинокль. – Тогда продолжайте докладывать.

– Место работы и профессия в настоящее время: пенсионер-изобретатель, – нетвердым голосом прочел комендант. – Был ли за границей: не был. Краткая сущность необъясnenности: эвристическая машина, то есть электронно-механическое устройство для решения инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближайшие родственники: сирота, братьев и сестер нет. Адрес постоянного местожительства: Новосибирск, улица Щукинская, 23, квартира 88. Все.

– Все? – переспросил Лавр Федотович.

– Все ли? – саркастически осведомился Фарфукис.

– Все! – решительно сказал комендант и утерся рукавом.

– Какие будут предложения? – спросил Лавр Федотович, приспустив тяжелые веки.

– Па-а машинам! – взревел вдруг полковник, не просыпаясь. – Пики перед себя! Заво-о-ди! Рысью... арш-арш!

Всем нам это очень понравилось, и даже бледный до синевы Эдик немножко ожила. Однако, кроме нас, на полковника никто больше внимания не обратил.

– Я бы предложил впустить, – сказал Хлебовводов. – Я почему предлагаю? А вдруг это Пашка?

– Других предложений нет? – спросил Лавр Федотович. Он пошарил по столу, ища кнопку, не нашел и сказал коменданту: – Пусть дело войдет, товарищ Зубо.

Комендант опрометью кинулся к двери, высунулся и тотчас вернулся, пятым, на свое место. Следом за ним, перекосившись набок под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый старичок в толстовке и военных галифе с оранжевым кантом. По дороге к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоинством поклониться, но футляр, обладавший, по-видимому, чудовищной инерцией, неумолимо нес его вперед, и, может быть, не обошлось бы без жертв, если бы мы с Романом не подхватили старичка в полуметре от затрепетавшего уже Фарфуркиса. Я сразу узнал этого старичка – он неодно-

кратно бывал в нашем институте, и во многих других институтах он тоже бывал, а однажды я видел его в приемной заместителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым в очереди, терпеливый, чистенький, пылающий энтузиазмом. Старичок он был неплохой, безвредный, но, к сожалению, не мыслил себя вне научно-технического творчества.

Я забрал у него тяжеленный футляр и водрузил изобретение на демонстрационный стол. Освобожденный, наконец, старичок поклонился и сказал дребезжащим голоском:

— Мое почтение. Машкин Эдельвейс Захарович, изобретатель.

— Не он, — сказал Хлебовводов вполголоса. — Не он и не похож. Надо полагать, совсем другой Бабкин. Однофамилец, надо полагать.

— Да-да, — согласился старичок, улыбаясь. — Принес вот на суд общественности. Профессор вот, товарищ Выбегалло, дай ему бог здоровья, порекомендовал. Готов демонстрировать, ежели на то будет ваше желание, а то засиделся я у вас в колонии неприлично...

Внимательно разглядывавший его Лавр Федотович отложил бинокль и медленно наклонил голову. Старичок засуетился. Он снял с футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная пишущая машинка, извлек из кармана моток провода, воткнул один конец куда-то в недра машинки, затем огляделся в поисках розетки и, обнаружив, размотал провод и воткнул вилку.

— Вот, изволите видеть, так называемая эвристическая машина, — сказал старичок. — Точный электронно-механический прибор для отвечаивания на любые вопросы, а именно — на научные и хозяйствственные. Как она у меня работает? Не имея достаточных средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня пока не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу таким образом к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечение ейное, опять через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так что, ежели угодно, прошу.

Он встал за машинку и шикарным жестом перекинул тумблер. В недрах машинки загорелась неоновая лампочка.

— Прошу вас, — повторил старичок.

— А что это у вас там за лампа? — подозрительно спросил Фарфукис.

— Старичок ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки листок бумаги и рысцой поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух:

— «Вопрос: что у нея... гм... у нея внутре за лпч...?». Лэпэчэ... Кэпэдэ, наверное? Что еще за лэпэчэ?



— Лампочка, значит, — сказал старичок, хихикая и потирая руки. — Кодируем помаленьку. — Он вырвал у Фарфука листок и побежал обратно к своей машинке. — Это, значит, был вопрос, — произнес он, загоряя листок под валик. — А сейчас посмотрим, что она ответит...

Члены Тройки с интересом следили за его действиями. Профессор Выбегалло благодушно-отечески сиял, изысканными и плавными движениями пальцев выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в спокойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между тем старичок бодро постучал по клавишам и снова выдернул листок.

— Вот, извольте, ответ.

Фарфуркис прочитал:

— «У мене внутре... гм... не... неонка». Гм. Что это такое — неонка?

— Айн секунд! — восхлинул изобретатель, выхватил листок и вновь побежал к машинке.

Дело пошло. Машина дала безграмотное объяснение, что такое неонка, затем она ответила Фарфуркису, что пишет «внутре» согласно правил грамматики, а затем...

Фарфуркис: Какой такой грамматики?

Машина: А нашей русской грмтк.

Хлебовводов: Известен ли вам Бабкин Эдуард Петрович?

Машина: Никак нет.

Лавр Федотович: Грррм... Какие будут предложения?

Машина: Признать мене за научный факт.

Старик бегал и печатал с неимоверной быстротой. Комендант восторженно подпрыгивал на стуле и показывал мне большой палец. Витька, развалившись, гыгыкал, как в цирке.

Хлебовводов (раздраженно): Я так работать не могу. Чего он взад-вперед мотается, как жесть на ветру?

Машина: Ввиду стремления.

Хлебовводов: Да уберите вы от меня ваш листок! Я вас ни про чего не спрашиваю, можете вы это понять?

Машина: Так точно, могу.

До Тройки, наконец, дошло, что, если они хотят кончить когда-нибудь сегодняшнее заседание, им надлежит воздержаться от вопросов, в том числе и от риторических. Наступила тишина. Старичок, который основательно умаялся, присел на краешек кресла и, часто дыша полуоткрытым ртом, вытирался платочком. Выбегалло горделиво озирался.

— Есть предложение, — тщательно подбирая слова, сказал Фарфуркис. — Пусть научный консультант произведет экспертизу и доложит нам свое мнение.

Лавр Федотович поглядел на Выбегаллу и величественно наклонил голову. Выбегалло встал. Выбегалло любезно осклабился. Выбегалло прижал правую руку к сердцу. Выбегалло заговорил.

— Эта, — сказал он. — Неудобно, Лавр Федотович, может получиться. Как-никак, а же суизан рекомендатель сет нобль ве¹. Пойдут разговоры... эта... кумовство, мол, протексион... а, между тем, случай очевидный, достоинства налицо, рационализация... эта... осуществлена в ходе эксперимента... Не хотелось бы подставлять под удар доброе начинание, гасить инициативу народа. Лучше будет что? Лучше будет, если экспертизу произведет лицо незаинтересованное... эта... постороннее. Вот тут среди представителей наблюдается товарищ Привалов Александр Иванович... (Я вздрогнул). Компетентный товарищ по электронным машинам. И незаинтересованный. Пусть он. Я так полагаю, что это будет ценно.

Лавр Федотович взял бинокль и начал поочередно нас рассматривать. Я был в смятении. Витька гагакал уже совершенно неприлично. Роман толкал меня локтем, а Эдик умоляюще шептал: «Саша, надо! Дай им! Такой случай!».

— Есть предложение, — сказал Фарфуркис, — просить товарища представителя оказать содействие работе Тройки.

Лавр Федотович отложил бинокль и дал согласие. Теперь все смотрели на меня. Я бы, конечно, ни за что не стал впутываться в эту историю, если бы не старичок. Сет нобль ве хлопал на меня красными веками столь жалостно, и весь вид его являл такое очевидное обещание век за меня бога молить, что я не выдержал. Я неохотно встал и приблизился к машине. Старичок радостно мне улыбался. Витька елозил ногами от восторга. Я осмотрел агрегат и сказал:

— Ну, хорошо... Имеет место пишущая машинка «ремингтон» выпуска тысяча девятьсот шестого года в сравнительно хорошем состоянии. Шифр дореволюционный, тоже в хорошем состоянии. — Я поймал умоляющий взгляд старишки, вздохнул и пощелкал тумблером. — Короче говоря, ничего нового данная печатающая конструкция, к сожалению, не содержит. Содержит только очень старое...

— Внутре! — прошелестел старичок. — Внутре смотрите, где у нее анализатор и думатель...

— Анализатор... — сказал я. — Нет здесь анализатора. Серийный выпрямитель — есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкновенная. Тумблер. Хороший тумблер, новый. Та-ак... Еще имеет место шнур. Очень хороший шнур, совсем новый... Вот, пожалуй, и все.

— А вывод? — живо осведомился Фарфукис.

¹ Я — рекомендатель этого благородного старика.

Эдик ободряюще мне кивал, а Витька с Романом одновременно показали мне, как надлежит делать хук справа в челюсть. Я дал им понять, что постараюсь.

— Вывод, — сказал я. — Описанная машинка «кремингтон» в соединении с выпрямителем, неоновой лампочкой и тумблером не содержит ничего необъясненного.

— А я? — вскричал старишок.

Роман с Витькой показали мне хук слева, но этого я не мог.

— Нет, конечно... — промямлил я. — Проделана большая работа... (Эдик схватился за виски). Я, конечно, понимаю... добрые намерения... (Роман смотрел на меня с презрением). Ну, в самом деле, — сказал я, — человек старался... нельзя же так... («Кретин, — отчетливо произнес Витька, — Годзилла...»). Нет... Ну что ж... Ну пусть человек работает, раз ему интересно... Я только говорю, что необъясненного ничего нет... А вообще-то даже остроумно...

— Какие будут вопросы к врио научного консультанта? — осведомился Лавр Федотович.

Уловив вопросительную интонацию, старишок взвился и рванулся было к своей машине, но я удержал его, обхватив за талию.

— Да-да, — сказал Фарфуркис. — Придержите его, а то тяжело работать, в самом деле. Все-таки, у нас здесь не вечер вопросов и ответов.

— Правильно! — подхватил Хлебовводов, а старишка все бился и рвался у меня из рук, так что я ощущал себя жандармом на задании. — И вообще, выключите ее пока, нечего ей подслушивать.

Высвободив одну руку, я щелкнул тумблером, лампочка погасла, и старишок сейчас же затих.

— А вот, все-таки, у меня есть вопрос, — продолжал Хлебовводов. — Как же это она все-таки отвечает?

Я обалдело воззрился на него. Роман и Витька мрачно веселились. Эдик пришел в себя и теперь, жестко прищурившись, разглядывал Тройку. Выбегалло был доволен. Он извлек из бороды длинную щепку и вонзил ее между зубами.

— Выпрямители там, тумбы разные, — говорил Хлебовводов. — Это нам товарищ врио все довольно хорошо объяснил. Одного он нам не объяснил: фактов он нам не объяснил. А имеется непреложный факт, что когда задаешь ей вопрос, то получаешь тут же ответ. В письменном виде. И даже когда не ей, а кому другому задаешь вопрос, все равно обратно же получаешь ответ. А вы говорите, товарищ врио, ничего необъясненного нет. Не сходятся у вас концы с концами. Непонятно нам, что же говорит по данному поводу наука.

Наука в моем лице потеряла дар речи. Хлебовводов меня сразил, зарезал он меня, убил и в землю закопал. Зато Выбегалло отреагировал немедленно.

— Эта... — сказал он. — Так ведь я и говорю, ценное же начинание. Элемент необъясненности имеется, порыв снизу... Почему я и рекомендовал. Эта... — сказал он старику. — Объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.

Старичок словно взорвался.

— Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спины и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвчания...

У меня потемнело в глазах. Рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый нобль ве все говорил и говорил, и речь его была гладкой и плавной, — это была хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесенная речь, в которой каждый эпитет, каждая интонация были преисполнены эмоционального содержания, это было настояще произведение искусства, и, как всякое настояще произведение искусства, речь эта облагораживала слушателя, делала его мудрым и значительным, преображала и поднимала его на несколько ступенек выше. Старик был никаким не изобретателем — он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из последователей Демосфена, Цицерона, Иоанна Златоуста. Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене....

Они внимательно слушали. Слушал седой полковник, пристально глядя из-под клочковатых бровей, и в полу сумраке торжественно и грозно блестело золотое шитье его мундира, и тускло отсвечивали тяжелые грядья орденов. Слушал Лавр Федотович, опустив на руки мощный череп, ссутулив широкие плечи, обтянутые черным бархатом мантии. Хлебовводов слушал, подавшись вперед, весь собранный в хищном напряжении, стиснув узорные подлокотники большими белыми руками, прижав грудью к краю стола массивную платиновую цепь. А Фарфоркис слушал задумчиво, откинувшись на спинку кресла, уставив неподвижный взгляд в низкий сводчатый потолок.

Изобретатель уже давно замолчал, но все оставались неподвижны, словно продолжали вслушиваться в глубокую средневековую тишину, мягким бархатом повисшую под скользкими сводами. Потом Лавр Федотович поднял голову и встал.

— По закону и по всем правилам я должен был бы говорить последним, — начал он. — Но бывают случаи, когда законы и правила оборачиваются против своих адептов, и тогда приходится отбрасывать их. Я начинаю говорить первым, потому что мы имеем дело как раз с таким

случаем. Я начинаю говорить первым, потому что не ожидаю и не потерплю никаких возражений...

— Теперь слушал изобретатель, — неподвижный, как изваяние, рядом со своим Големом, рядом со своим чудовищным железным Оракулом, во чреве которого медленно возгорались и гасли угриумые огни.

— Мы — гардианы науки, — продолжал Лавр Федотович, — мы — ворота в ее храм, мы — беспристрастные фильтры, оберегающие от фальши, от легкомыслия, от заблуждения. Мы охраняем посевы знаний от плевел невежества и ложной мудрости. И пока мы делаем это, мы не люди, мы не знаем снисхождения, жалости, лицеприятия. Для нас существует только одно мерило: истина. Истина отдельна от добра и зла, истина отдельна от человека и человечества, но только до тех пор, пока существует добро и зло, пока существует человек и человечество. Нет человечества — к чему истина? Никто не ищет знаний, значит — нет человечества, и к чему истина? Есть ответы на все вопросы, значит — не надо искать знаний, значит — нет человечества, и к чему же тоща истина? Когда поэт сказал: «И на ответы нет вопросов» — он описал самое страшное состояние человеческого общества — конечное его состояние... Да, этот человек, стоящий перед нами, — гений. В нем воплощено и через него выражено конечное состояние человечества. Но он убийца, ибо он убивает дух. Более того, он страшный убийца, ибо он убивает дух всего человечества. И потому нам больше не можно оставаться беспристрастными фильтрами, а должно нам вспомнить, что мы — люди, и как людям нам должно защищаться от убийцы. И не обсуждать должно нам, а судить! Но нет законов для такого суда, и потому должно нам не судить, а беспощадно карать, как карают охваченные ужасом. И я, старший здесь, нарушая законы и правила, первый говорю: смерть!

— Смерть человеку и распыление машине, — хрюплю сказал полковник.

— Смерть — человеку... — медленно и как бы с сожалением проговорил Хлебовводов. — Распыление — машине... и забвение всему этому казусу. — Он прикрыл глаза рукой.

Фарфуркис выпрямился в кресле, глаза его были зажмурены, толстые губы дрожали. Он открыл было рот и поднял сжатый кулачок, но вдруг помотал головой и капризно произнес:

— Ну, товарищи... ну, куда это мы с вами заехали, в самом деле? Нельзя же так.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович, ворочая шеей.

Хлебовводов, смутно видимый в сгустившихся сумерках, сунулся носом в большой клетчатый платок и проговорил невнятно:

— Свет зажечь, что ли, пора? Засиделись мы нынче.



чай с предложением
помощи



Ганробин
с омёдабре



Моб. Академия



Разрушение



Dr. prop. Bruderer



Wienmann
Mr. 3460



Gelehrte Mann

Комендант сейчас же сорвался с места и включил свет. Все зажмурились, а мотокавалерийский полковник всхрапнул и проснулся.

— Как? — произнес он дребезжащим голосом. — Уже? Я за то, чтобы это продвинуть... продвинуть. Мотокавалерия все решает. Пики... шашки... клиренс подходящий... Засекается на левую заднюю, но это устранимо... устранимо... Так что мое мнение — продвинуть.

— Грррм, — сказал Лавр Федотович и уставился мертвым взглядом в «ремингтон». — Выражая общее мнение, постановляю: данное дело номер сорок второе считать рационализированным. Переходя к вопросу об утилизации, предлагаю товарищу Зубо огласить заявку.

Комендант принял торопливо листать дело, а тем временем профессор Выбегалло выбрался из-за своего стола, с чувством пожал руку сначала старишке, а затем, прежде чем я успел увернуться, и мне тоже. Он сиял. Я не знал, куда деваться. Я не смел оглянуться на ребят. Пока я тупо размышлял, не запустить ли мне «ремингтоном» в Лавра Федотовича, меня схватил старишка. Он, как клещ, вцепился мне в шею и троекратно поцеловал, оцарапав щетиной. Не помню, как я добрался до своего стула. Помню только, что Витька сказал мне: «Дубина прекраснодушная». Роман вытер мне нос платком, а Эдик шепнул: «Эх, Саша! Ну, ничего, с кем не бывает...».

Между тем, комендант перелистал все дело и жалобным голосом сообщил, что на данное дело заявок не поступало. Фарфуркис тотчас заявил протест и процитировал статью инструкции, из которой следовало, что рационализация без утилизации есть нонсенс и может быть признана действительной лишь условно. Хлебовводов начал орать, что эти штучки не пройдут, что он деньги даром получать не желает и что он не позволит коменданту отправить коту под хвост четыре часа рабочего времени. Лавр Федотович с видом одобрения продул папиросу, и Хлебовводов взыграл еще пуще.

— А вдруг это родственник моему Бабкину? — вопил он. — Как это так — нет заявок? Должны быть заявки! Вы только поглядите, старишок какой! Фигура какая самобытная, интересная! Как это мы будем такими старишками бросаться?

— Народ не позволит нам бросаться старишками, — заметил Лавр Федотович. — И народ будет прав.

— Вот именно! — рявкнул вдруг Выбегалло. — Именно народ! И именно... эта... не позволяет, значит! Как же это нет заявок, товарищ Зубо? На Черный Ящик у вас заявочка есть? Есть! Как же вы говорите, что нет?

Я обомлел.

— Погодите! — сказал я, но меня никто не слушал.

— Так это же не Черный Ящик! — кричал комендант, истово прижимая к груди руки. — Черный Ящик совсем по другому номеру проходит!

— Как это так не черный? — кричал в ответ Выбегалло, размахивая обшарпанным черным футляром от «ремингтона». — Какой же он, повашему, ящик-то? Зеленый, может быть? Или белый? Дезинформацией занимаетесь, народными старичками бросаетесь?

Комендант жалобно выкрикивал, что это, конечно, тоже черный ящик, не зеленый и не белый, явно черный, но не тот ящик-то, тот черный ящик проходит по делу под номером девяносто седьмым, и на него заявка имеется вот товарища Привалова Александра Ивановича, а этот черный ящик — не ящик вовсе, а эвристическая машина, и проходит она по делу под номером сорок вторым и заявки на нее нет. Выбегалло орал, что нечего тут... эта... жонглировать цифрами и бросаться старичками, что черное есть черное, оно не белое и не зеленое, и нечего тут, значить, махизъм разводить и всякий эмпириокритицизм, а пусть вот товарищи члены авторитетной Тройки сами посмотрят и скажут, черный это ящик или, скажем, зеленый. Проснувшийся от шума полковник выкатил глаза и отдал приказ взять повод, переменить потники и врубить третью скорость. Витъка оглушительно свистел в два пальца. Роман с Эдиком кричали: «Долой!», А я, как испорченный граммофон, только твердил: «Мой Черный Ящик — это не ящик... Мой Черный Ящик — это не ящик...».

Наконец, до Лавра Федотовича дошло ощущение некоторого непорядка.

— Грррм! — сказал он, и все стихло. — Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните.

Хлебовводов твердым шагом подошел к Выбегалле, взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его.

— Товарищ Зубо, — сказал он. — На что ты имеете заявку?

— На Черный Ящик, — уныло сказал комендант. — Дело номер девяносто седьмое.

— Я тебя не спрашиваю, какое номер дело, — возразил Хлебовводов. — Я тебя сейчас спрашиваю, ты на черный ящик заявку имеете?

— Имею, — признался комендант.

— Чья заявка?

— Товарища Привалова из НИИЧАВО. Вот он сидит.

— Да, — страстно сказал я. — но мой Черный Ящик — это не ящик... Точнее, — не совсем ящик...

Однако Хлебовводов внимания на меня не обратил. Он посмотрел футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произнес:

— Ты что же бюрократию разводите? Ты что же, не видите, какого оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели, вот товарищ

представитель от науки на твоих глазах сидит, ждет, понимаете, выполнения заявки, ужинать давно пора, на дворе темно, а ты что же – номерами здесь жонглируете?

Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска, что будущее мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым и совершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только продолжал жалко бубнить, что мой ящик – это не совсем ящик, а точнее, совсем не ящик. Мне хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. Комендант тоже бубнил что-то убедительное, но Хлебовводов, погрозив ему кулаком, уже возвращался на свое место.

– Ящик, Лавр Федотович, черный, – с торжеством доложил он. – Ошибки никакой быть не может, сам смотрел. И заявка имеется, и представитель присутствует.

– Это не тот ящик! – хором проныли мы с комендантом, но Лавр Федотович, тщательно изучив нас в бинокль, обнаружил, по-видимому, в обоих какие-то несообразности и, сославшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной утилизации. Возражений не последовало, все ответственные лица кивали, даже спящий полковник.

– Заявку! – возвзвал Лавр Федотович.

Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно.

– Резолюция!

На заявку пала резолюция.

– ПЕЧАТЬ!!!

С лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнуло затхлой канцелярией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью Большая Круглая Печать. И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне умерло.

– Не надо! – просипел я. – Помогите!

Лавр Федотович взял Печать обеими руками и занес над Заявкой. Собравшись с силами, я вскочил на ноги.

– Это не тот ящик! – завопил я в полный голос. – Да что же это... Ребята!

– Одну минуту, – сказал Эдик. – Остановитесь, пожалуйста, и выслушайте меня.

Лавр Федотович задержал неумолимое движение и обратил свой мертвенный взгляд на Эдика.

– Посторонний? – осведомился он.

– Никак нет, – тяжело дыша, сказал комендант. – Представитель.

– Тогда можно не удалять, – произнес Лавр Федотович и возобновил было процесс приложения Большой Круглой Печати, но тут оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало Печати приложитьсь. Лавр



Федотович сначала просто давил на нее, потом встал и навалился всем телом, но приложения все-таки не происходило – между бумагой и печатью оставался зазор, и величина его слабо зависела от усилий товарища Вунюкова. Можно было подумать, что зазор этот заполнен каким-то невидимым, но чрезвычайно упругим веществом, препятствующим приложению. Лавр Федотович, видимо, осознал тщету своих стараний, сел, положил руки на подлокотники и строго, хотя и без всякого удивления, посмотрел на Печать. Печать неподвижно висела сантиметрах в двадцати над моей заявкой.

Казнь откладывалась, и я снова начал воспринимать окружающее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и государственной мудрости присутствующих. Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием, а Хлебовводов при этом ерзал и поглядывал на часы. Роман и Витька застыли в каких-то нелепых и даже жутких позах, – я подумал сначала, что их, обоих разом, разбил радикулит: оба они были потные, над Витькой столбом поднимался пар, а более слабый в коленках Роман тихонько постанывал и кряхтел от напряжения. Они держали печать, милые друзья мои! Спасали меня, дурака и слонтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову... Надо было что-то делать. Надо было что-то немедленно предпринимать.

– В-седьмых, наконец, – рассудительно говорил Эдик, – любому специалисту, а тем более такой авторитетной организации, должно быть ясно, товарищи, что так называемый Черный Ящик есть не более чем термин теории информации, ничего общего не имеющий ни с определенным цветом, ни с определенной формой какого бы то ни было реального предмета. Менее всего Черным Ящиком можно называть данную пишущую машинку «ремингтон» вкупе с простейшими электрическими приспособлениями, которые можно приобрести в любом электротехническом магазине, и мне кажется странным, что профессор Выбегалло навязывает авторитетной организации изобретение которое изобретением не является, и решение, которое может лишь подорвать ее авторитет...

– Я протестую, – сказал Фарфуркис. – Во-первых, товарищ представитель нарушил здесь все правила ведения заседания, взял слово, которое ему никто не давал, и вдобавок еще превысил регламент. Это раз. (Я с ужасом увидел, что Печать колыхнулась и упала на несколько сантиметров). Далее, мы не можем позволить товарищу представителю порочить наших лучших людей, очернить заслуженного профессора и официального научного консультанта товарища Выбегаллу и обелять имеющий здесь место и уже заслуживший одобрение Тройки черный ящик. Это два. (Печать провалилась еще на несколько сантиметров. У

Витьки громко, на всю комнату хрустнули позвонки). Наконец, товарищ представитель, надо бы вам знать, что Тройку не интересуют никакие изобретения. Объектом работы Тройки является необъясненное явление, в качестве какового в данном случае и выступает уже рассмотренный и рационализированный черный ящик, он же эвристическая машина.

— Это же до ночи можно просидеть, — обиженно добавил Хлебовводов, — ежели каждому представителю слово давать.

Печать вновь осела. Зазор был теперь не более десяти сантиметров.

— Это не тот черный ящик, — сказал я и проиграл два сантиметра. — Мне не нужен этот ящик! (Еще сантиметр). Я протестую! На кой мне черт эта старая песочница с «ремингтоном»? Я жаловаться буду!

— Это ваше право, — великодушно сказал Фарфуркис и выиграл еще сантиметр.

Эдик снова заговорил. Он взывал к теням Ломоносова и Эйнштейна, он цитировал передовые центральные газеты, он воспевал науку и наших мудрых организаторов, но все было вотще. Лавра Федотовича это затруднение, наконец, утомило, и, прервавши оратора, он произнес только одно слово:

— Неубедительно.

Раздался тяжелый удар. Большая Круглая Печать впилась в мою заявку.

Глава третья

Мы покинули комнату заседания последними. Мы были подавлены. Роман кряхтел и растирал натуженную поясницу. Витька, черный от злобы и усталости, шипел сквозь зубы: «Слюнтия, мармеладчики, культуртрегеры, маменькины сыночки... Хватать и тикать, а не турусы разводить!..». Эдик вел меня под локоть. Он тоже был расстроен, но держался спокойно. Вокруг нас, увлекаемый инерцией своего агрегата, вился старишкаша Эдельвейс. Он нашептывал мне слова вечной любви, обещал ноги мыть и воду пить и требовал подъемных и суточных. Эдик дал ему три рубля и велел зайти послезавтра. Эдельвейс выпросил еще полтинник за вредность и исчез. Тогда мне стало полегче, и я обнаружил, что Витька и Роман тоже исчезли.

— Где Роман? — спросил я слабым голосом.

— Отправился ухаживать, — ответил Эдик.

— Господи, — сказал я. — За кем?

— За дочкой некоего товарища Голого.

— Понятно, — сказал я. — А Витька?

Эдик пожал плечами.

— Не знаю, — сказал он. — По-моему, Витя намерен сделать большую глупость.

— Он хочет их убить? — спросил я с восхищением.

Эдик разуверил меня, и мы вышли на улицу. Федя уже ждал нас. Он поднялся со скамееки, и мы втроем, рука об руку, пошли вдоль улицы Первого Мая.

— Устали? — спросил Федя.

— Ужасно, — сказал Эдик. — Я и говорить устал, и слушать устал, и вдобавок еще, кажется, сильно поглупел. Вы не замечаете, Федя, как я поглупел?

— Нет еще, — сказал Федя застенчиво. — Это обычно становится заметно через час-другой.

Я сказал:

— Хочу есть. Хочу забыться. Пойдемте все в кафе и забудемся. Закатим пир. Вина выпьем. Мороженого...

Эдик был «за», Федя тоже не возражал, хотя никогда не пил вина и не понимал мороженого. Народу на улицах было много, но никто не слонялся по тротуару, как это обычно бывает в городах летними вечерами. Китецградцы, напротив, тихо, культурно сидели на своих крылечках и молча трещали семечками. Семечки были арбузные, подсолнечные, тыквенные и дынные, а крылечки были резные с узорами, резные с фигурами, резные с балюсинами и просто из гладких досок — знаменитые китецградские крылечки, среди которых попадались и музейные экземпляры многовековой давности, взятые под охрану государством и обезображеные тяжелыми чугунными досками, об этом свидетельствующими. На задах крякала гармонь — кто-то, что называется, пробовал лады.

Эдик с интересом расспрашивал Федю о жизни в горах, Федя, с самого начала проникшийся к вежливому Эдiku большой симпатией, отвечал охотно.

— Хуже всего, — рассказывал Федя, — это альпинисты с гитарами. Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших родных, тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное, заранее время, вдруг над самым ухом кто-то зазвенит, застучит и придется рычать про то, как «нипупок» вскарабкался по «жандарму» и «запил по гребню», и как потом «ланцупа пробило на землю»... Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые даже умирают...

— У меня дома клавесин есть, — продолжал он мечтательно. — Стоит у меня там на вершине клавесин, на леднике. Я люблю играть на нем в лунные ночи, когда тихо и совершенно нет ветра. Тогда меня слышат собаки в долине и начинают мне подывать. Право, Эдик, у меня слезы

навертываются на глаза, так это получается хорошо и печально. Луна, звуки в просторе несутся, и далеко-далеко воют собаки...

— А как к этому относятся ваши товарищи? — спросил Эдик.

Их в это время никого нет. Остается обычно один мальчиш, но он мне не мешает. Он хроменький... Впрочем, это вам неинтересно.

— Наоборот, очень интересно.

— Нет-нет... Но вы, наверное, хотели бы узнать, откуда у меня клавесин. Представьте себе: его занесли альпинисты. Он ставили какой-то рекорд и обязались втащить на нашу гору клавесин. У нас на вершине много неожиданных предметов. Задумает, например, альпинист подняться к нам на мотоцикле — и вот у нас мотоцикл, хотя и поврежденный, конечно... Гитары попадаются, велосипеды, бюсты различные, зенитные пушки... Один рекордсмен захотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если бы вы видели, как он мучился с этим катком! Как трудился! Но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. Метров пятьдесят всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток...

Мы подошли к дверям кафе, и Федя замолчал. На ярко освещенных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной близости от турникета отирался Клоп Говорун. Он жаждал войти, но швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве и, как всегда, находясь в возбужденном состоянии, испускал сильный, неприятный для непьющего Федора запах дорогого коньяка «курвуазье». Я наскоро познакомил его с Эдиком, посадил в спичечный коробок и велел сидеть тихо, и он сидел тихо, но как только мы прошли в зал и отыскали свободный столик, он сразу же развалился на стуле и принялся стучать по столу, требуя официанта. Сам он, естественно, в кафе ничего не ел и не пил, но жаждал справедливости и полного соответствия между работой бригады официантов и тем высоким званием, за которое эта бригада борется. Кроме того, он явно выпендривался перед Эдиком, — он уже знал, что Эдик прибыл в Китејград лично за ним, Говоруном, в качестве его, Говоруна, работодателя.

Мы с Эдиком заказали себе яичницу по-домашнему, салат из раков и сухое вино. Федю в кафе хорошо знали и принесли ему сырого тертого картофеля, морковную ботву и капустные кочерыжки, а перед Говоруном поставили фаршированные помидоры, которые он заказал из принципа.

Съевши салат, я ощутил, что устал, как последняя собака, что язык у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме того, я поминутно вздрагивал, ибо в шуме публики мне то и дело слышались визгливые вскрики: «Ноги мыть и воду пить!...» и «У ей внутре!...». Зато прекрасно выспавшийся за день Говорун чувствовал себя бодрым, как



никогда, и с наслаждением демонстрировал Эдику свой философический склад ума, независимость суждений и склонность к обобщению.

— До чего бессмысленные и неприятные существа! — говорил он, озирая зал с видом превосходства. — Воистину только такие грузные жвачные животные способны под воздействием комплекса неполноценности выдумать миф о том, что они — цари природы. Спрашивается: откуда явился этот миф? Например, мы, насекомые, считаем себя царями природы по справедливости. Мы многочисленны, вездесущи, мы обильно размножаемся, а многие из нас не тратят драгоценного времени на бессмысленные заботы о потомстве. Мы обладаем органами чувств, о которых вы, хордовые, даже понятия не имеете. Мы умеем погружаться в анабиоз на целые столетия без всякого вреда для себя. Наиболее интеллигентные представители нашего класса прославлены как крупнейшие математики, архитекторы, социологи. Мы открыли идеальное устройство общества, мы овладели гигантскими территориями, мы проникаем всюду куда захотим. Поставим вопрос следующим образом: что вы, люди, самые, между прочим, высокоразвитые из млекопитающих, можете такого, чего бы хотели уметь и не умели бы мы? Вы много хвастваетесь, что умеете изготавливать орудия труда и пользоваться ими. Простите, но это смешно. Вы уподобляетесь калеке, который хвастает своими костылями. Вы строите себе жилища, мучительно, с трудом, привлекая для этого такие противоестественные силы, как огонь и пар, строите тысячи лет, и все время по-разному, и все никак не можете найти удобной и рациональной формы жилища. А жалкие муравьи, которых я искренне презираю за грубость и приверженность к культуре физической силы, решили эту простенькую проблему сто миллионов лет тому назад, причем решили раз и навсегда. Вы хвастаете, что все время развиваетесь и что вашему развитию нет предела. Нам остается только хохотать. Вы ищете то, что давным-давно найдено, запатентовано и используется с незапамятных времен, а именно: разумное устройство общества и смысл существования. Вы называете нас, цимекс лектулариа, паразитами и толкуете друг другу, что это дурно. Но будем последовательны! Что есть паразит? Это слово происходит от греческого «параситос», что означает «нахлебник», «блюдодиз». Даже ваша наука называет паразитирующим тот вид, который существует на другом виде и за счет другого вида. Что ж, я с гордостью утверждаю: да, я паразит! Я питаюсь жизненными соками существ иного вида, так называемых людей. Но как обстоят дела с этими так называемыми людьми? Разве могли бы они заниматься своей сомнительной деятельностью или даже просто существовать, если бы по несколько раз в день не вводили бы в свой организм живые соки не одного, а множества иных видов как животного, так и растительного царства? Глупцы и лицемеры бросают нам обвине-

ние, что мы, де подкрадываемся к своей так называемой жертве, пользуясь темнотой и ее, жертвы, сонным, и, следовательно, беспомощным состоянием. На эти ханжеские бредни я отвечаю просто: может быть, МЫ убиваем свою жертву, прежде чем ввести ее соки в свой организм? Может быть, МЫ изобретаем все более и более утонченные способы такого убийства? Может быть, МЫ разработали и практикуем изуверские способы уродования своих жертв путем так называемого искусственного отбора для удобства их пожирания? Нет, не мы! Мы, даже самые дикие и нецивилизованные из нас, лишь позволяем себе урвать крошечную толику от щедрот, коими наделила вас природа. Однако, вы идете еще дальше. Вас можно назвать СВЕРХПАРАЗИТАМИ, ибо никакой другой вид не додумался еще паразитировать на самом себе. Ваше начальство паразитирует на подчиненных, ваши преступники паразитируют на так называемых порядочных людях, ваши дураки паразитируют на ваших мудрецах. И это – цари природы!

Эдик слушал профессионально-внимательно, а Панург вдруг громко расхохотался и воскликнул, гремя бубенцами:

– Вот это отповедь, черт меня подери со всеми потрохами, включая аппенди克斯 и двенадцатiperстную кишку! Осмелюсь добавить только, что Ода Нобунага был знаменитым воякой и тираном жестокости беспредельной, уродлив, как мартышка, и не терпел лжи. Всех, кто поступал не в соответствии, он рубил в капусту на месте сам или отдавал на шинкование некоему Тоетоми Хидэси, который тоже хорошо понимал в этом деле. «Правда ли, говорят, что я похож на обезьяну?» – спросил однажды Ода Нобунага своего приближенного, до которого давно добирался. Блюдолиз помертвел и опачкался, и Ода Нобунага уже взялся за рукоятку меча, но тут обреченный блюдолиз, движимый отчаянием, нашелся. «Да что вы, ваше превосходительство! – вскричал он. – Как можно! Наоборот, это обезьяна имеет несравненную честь походить на вас!». Что и привело свирепого диктатора в самое превосходное состояние духа.

– Я не понял этого намека, – с достоинством объявил Говорун, однако по лицу его скользнула тень многовекового застарелого ужаса перед зловещим призраком чудовищного указательного пальца, неумолимо надвигающегося с непреложностью рока.

– Я, конечно, слабый диалектик, – произнес Федя, покусывая кочерыжку великолепными зубами, – но меня воспитали в представлении о том, что человеческий разум – это высшее творение природы. Мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться перед нею, и теперь, когда я, некоторым образом, получил образование, я не устаю восхищаться той смелостью и тем хитроумием, с которым чело-

век уже создал и продолжает создавать так называемую вторую природу. Человеческий разум – это... это... – он помотал головой и замолк.

– Вторая природа! – ядовито сказал Клоп. – Третья стихия, четвертое царство, пятое состояние, шестое чудо света... Один крупный человеческий деятель мог бы спросить: зачем вам две природы? Загадили одну и теперь пытаешься заменить ее другой... Я же вам уже сказал, Федор: вторая природа – это костили калеки. Что же касается разума... Не вам бы говорить, не мне бы слушать. Сто веков эти бурдюки с питательной смесью разглагольствуют о разуме, и до сих пор не могут договориться, о чем идет речь. В одном только они согласны все: кроме них, разумом никто не обладает. Если мысленным взором окинуть всю историю этой болтовни, легко увидеть, что так называемая теория мышления сводится к выдумыванию более или менее сложных терминов для обозначения явлений, которых человек не понимает. Так появляются РАЗДРАЖИМОСТЬ, ОЩУЩЕНИЕ, ИНСТИНКТЫ, РЕФЛЕКСЫ УСЛОВНЫЕ, РЕФЛЕКСЫ БЕЗУСЛОВНЫЕ, ПЕРВАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА... Теперь они обнаружили еще ТРЕТЬЮ, ту самую, между прочим, которой мы, клопы, пользуемся с незапамятных времен. И ведь что замечательно! Если существо маленькое, если его легко отравить какой-нибудь химической гадостью или просто раздавить пальцем, то с ним не церемонятся. У такого существа, конечно же, инстинкт, примитивная раздражимость, низшая форма нервной деятельности... Типичное мировоззрение самовлюбленных имбцилов. Но ведь они же разумные, им же нужно все обосновать, чтобы насекомое можно было раздавить без зазрения совести! И посмотрите, Федор, как они это обосновывают. Скажем, земляная оса отложила в норку яички и таскает для будущего потомства пищу. Что делают эти бандиты? Они варварски крадут отложенные яйца, а потом, исполненные идиотского удовлетворения, наблюдают, как несчастная мать закупоривает цементом пустую норку. Вот, мол, оса – дура, не ведает, что творит, а потому у нее – инстинкты, слепые инстинкты, вы понимаете? – разума у нее нет, и, в случае нужды, допускается ее – к ногтю. Ощущаете, какая гнусная подтасовка терминов? Априорно предполагается, что целью жизни осы является размножение и охрана потомства, а раз даже с этой, главной своей задачей она не способна толково управиться, то что же тоща с нее взять? У них, у людей, – космос-мосмос, фотосинтез-мотосинтез, а у, жалкой осы – сплошное размножение, да и то на уровне примитивного инстинкта. Этим млекопитающим и в голову не приходит, что у осы богатейший духовный мир, что за свою недолгую жизнь она должна преуспеть – ей хочется преуспеть! – и в науках, и в искусствах, этим теплокровным и неведомых, что у нее просто ни времени, ни желания нет оглядываться на своих детенышей, тем более что

это и не детеныши даже, а бессмысленные яички... Ну, конечно, у ос существуют правила, нормы поведения, мораль. Поскольку осы от природы весьма легкомысленны в делах продления рода, закон, естественно, предусматривает известное наказания за неполное выполнение родительских обязанностей. Каждая порядочная оса должна выполнить определенную последовательность действий: выкопать норку, отложить яички, натаскать парализованных гусениц и закупорить норку. За этим следят, существует негласный контроль, оса всегда учитывает возможность присутствия за ближайшим камешком инспектора-соглядатая. Конечно же, оса видит, что яички у нее украли или что исчезли запасы питания! Но она не может отложить яички вторично, и она совсем не намерена тратить время на возобновление пищевых запасов. Полностью сознавая всю нелепость своих действий, она делает вид, что ничего не заметила и доводит программу до конца, потому что менее всего ей улыбается таскаться по десяти инстанциям Комитета охраны вида... Представьте себе, Федор, шоссе, прекрасную гладкую магистраль от горизонта до горизонта. Некий экспериментатор ставит поперек дороги рогатку с табличкой «Объезд». Шофер догадывается, что это чьи-то глупые шутки, но, следуя правилам и нормам поведения порядочного автомобилиста, он сворачивает на обочину, трясется по кочкам, захлебывается в грязи и в пыли, тратит массу времени и нервов, чтобы снова выехать на то же шоссе двумястами метрами дальше. Почему? Да все по той же причине: он законопослушен, он не хочет таскаться по инстанциям ОРУДа, тем более, что у него, как и у всякой осы, есть основания предполагать, что все это – ловушка, и что вон в тех кустах сидит инспектор ГАИ с мотоциклом. А теперь представим себе, что неведомый экспериментаторставил этот опыт, дабы установить уровень человеческого интеллекта, и что этот экспериментатор – такой же самовлюбленный осел, как разрушитель осиного гнезда... Ха-ха- ха! К каким бы выводам он пришел!.. – Говорун в восторге застучал по столу всеми лапами.

– Нет, – сказал Федя. – Как-то у вас все упрощенно получается, Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блеснуть интеллектом...

– Точно так же, – перебил хитроумный Клоп, – как не блещет интеллектом оса, откладывая яйца. Тут, знаете ли, не до интеллекта.

– Подождите, Говорун, – сказал Федя. – Вы все время меня сбиваете. Я хочу сказать... Ну вот, я и забыл, что хотел сказать... Да! Чтобы насладиться величием человеческого разума, надо окинуть взором все здание этого разума, все достижения наук, все достижения литературы и искусства. Вот вы пренебрежительно отзывались о космосе, а ведь спут-



ники, ракеты – это великий шаг, это восхищает, и согласитесь, что ни одно членистоногое не способно к таким свершениям.

Клоп презрительно повел усами.

– Я мог бы возразить, что космос членистоногим ни к чему, – произнес он. – Однако и людям он тоже ни к чему, и поэтому об этом говорить не будем. Вы не понимаете простых вещей, Федор. У каждого вида существует своя исторически сложившаяся, передающаяся из поколение в поколение, мечта. Осуществление такой мечты и называют обычно великим свершением. У людей было две исконных мечты: мечта летать вообще, проистекшая из зависти к насекомым, и мечта слетать к Солнцу, проистекшая из невежества, ибо они полагали, что до Солнца рукой подать. Но нельзя ожидать, что у разных видов, а тем более классов и типов живых существ Великая мечта должна быть одна и та же. Смешно предполагать, чтобы у мух из поколения в поколение передавалась мечта о свободном полете, у спрутов – мечта о морских глубинах, а

у нас – цимекс лектулария – о Солнце, которого мы терпеть не можем. Каждый мечтает о том, что недостижимо, но обещает удовольствие. Потомственный мечта спрутов, как известно, свободное путешествие по суше, и спруты в своих мокрых пучинах много и полезно думают на этот счет. Извечной и зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство, и, как ни ужасны методы, коими они в настоящее время пользуются, им нельзя отказать в настойчивости, изобретательности и способности к самопожертвованию во имя великой цели. А грандиозная мечта паукообразных? Много миллионов лет назад они опрометчиво выбрались из моря на сушу и с тех пор мучительно мечтают снова вернуться в родную стихию. Вы бы послушали их песни и баллады о море! Сердце разрывается на части от жалости и сочувствия. В сравнении с этими балладами героический миф о Дедале и Икаре – просто забавная побасенка. И что же? Кое-чего они достигли, причем весьма хитроумном путем, ибо членистоногим вообще свойственны хитроумные решения. Они добиваются своего, создавая новые виды. Сначала они создали водобегающих пауков, потом пауков-водолазов, а теперь во весь ход идут работы над созданием вододышащего паука... Я уже не говорю о нас, клопах. Мы своего достигли давно, когда появились на свет эти бурдюки с питательной смесью... Вы понимаете меня, Федор? Каждому племени – своя мечта. Не надо хвастаться достижениями перед своими соседями по планете. Вы рискуете попасть в смешное положение. Вас считут глупцами те, кому ваши мечты чужды и вас считут жалкими болтунами те, кто свою мечту осуществил уже давно.

– Я не могу вам ответить, Говорун, – сказал Федя, – но должен признаться, что мне неприятно вас слушать. Во-первых, я не люблю, когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи, а во-вторых, я все-таки тоже человек.

– Вы – снежный человек. Вы – недостающее звено. С вас взятки гладки. Вы даже, если хотите знать, несъедобны. А вот почему мне не возражают гомо сапиенсы, так сказать? Почему они не вступаются за честь своего вида, своего класса, своего типа? Объясняю: потому что им нечего возразить.

Внимательный Эдик пропустил этот вызов мимо ушей. Мне было что возразить, но я промолчал, потому что видел, что Федя расстроен и хочет говорить.

– Нет уж, позвольте мне, – сказал он. – Да, я снежный человек. Да, нас принято оскорблять, нас оскорбляют даже люди, ближайшие наши родственники, наша надежда, символ нашей веры в будущее. Нет-нет, позвольте, Эдик, я скажу все, что думаю... Нас оскорбляют наиболее невежественные и отсталые слои человеческого рода, давая нам гнусную кличку «йети», которая, как известно,озвучна со свифтовским

«йеху», и кличку «голуб-яван», которая означает не то «огромная обезьяна», не то «отвратительный снежный человек». Нас оскорбляют самые передовые представители человечества, называя нас «недостающим звеном», «человекообезьянью» и другими научно звучащими, но порочащими нас прозвищами. Может быть, мы действительно достойны некоторого пренебрежения. Мы медленно соображаем, мы слишком уж неприхотливы, в нас так слабо стремление к лучшему, разум наш еще дремлет. Но я верю, я знаю, что это ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ разум, находящий наивысшее наслаждение в переделывании природы, сначала окружающей, а в перспективе – и своей собственной. Вы, Говорун, все-таки паразит. Простите меня, но я использую этот термин в научном смысле. Я не хочу вас обидеть, но вы паразит, и вы не понимаете, какое это высокое наслаждение – природа ведь бесконечна, и переделывать ее можно бесконечно долго. Вот почему человека называют царем природы. Потому, что он не только изучает природу, не только находит высокое, но пассивное наслаждение от единения с нею – он переделывает природу, он лепит ее по своей нужде, по своему желанию, а потом будет лепить по своей прихоти...

– Ну да! – сказал Клоп. – А покуда он, человек, обнимает некоего Федора за широкие волосатые плечи, выводит его на эстраду и предлагает некоему Федору изобразить процесс очеловечивания обезьяны перед толпой лузгающих семечки обывателей... Внимание! – заорал он вдруг. – Сегодня в клубе лекция кандидата наук Вялобуева-Франкенштейна «Дарвинизм против религии» с наглядной демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны! Акт первый: «Обезьяна». Федор сидит у лектора под столом и талантливо ищется подмышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами. Акт второй: «Человекообезьяна». Федор, держа в руках палку от метлы, бродит по эстраде, ища, что бы забить. Акт третий: «Обезьяночеловек». Федор под наблюдением и руководством пожарника разводит на железном противнике небольшой костер, разыгрывая при этом ужас и восторг одновременно. Акт четвертый: «Человека создал труд». Федор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного кузнеца. Акт пятый: «Апофеоз». Федор садится за пианино и наигрывает «Турецкий марш»... Начало лекции в шесть часов, после лекции новый заграничный фильм «На последнем берегу» и танцы!

Чрезвычайно польщенный Федя застенчиво улыбнулся.

– Ну конечно, Говорун, – сказал он растроганно. – Я же знал, что существенных разногласий между нами нет. Конечно же, именно таким вот образом, понемножку, полегоньку разум начинает творить свои благородительные чудеса, обещая в перспективе Архимедов, Ньютонов и Эйнштейнов. Только вы напрасно так уж преувеличиваете мою роль в

этом культурном мероприятии, хотя я понимаю: вы просто хотите сделать мне приятное.

Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я хихикнул. Федя забеспокоился.

— Я что-нибудь не так сказал? — спросил он.

— Вы молодец, — сказал я. — Вы его так отбили, что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия...

— Одно удовольствие вас слушать! — вскричал Панург. — Уши наливаются весенними соками и расцветают подобно розам. Цицероны! Клавдии-Публии-Аврелии! Что же касается великих ораторов, то Цицерон-младший, походивший на отца, по свидетельству Монтеня, только тем, что носил то же имя, в бытность свою римским градоначальником Бухары, заметил однажды у себя на пиру Цестия, затесавшегося среди вельмож. Трижды спрашивал Цицерон-младший у своего слуги имя этого незнакомого ему и незваного гостя и трижды, отвлекаемый хозяйственными обязанностями, забывал сообщаемое имя. Наконец, слуга, утомившись повторять одно и то же и желая утвердить в памяти господина имя Цестия, сказал: «Это Цестий, который, по слухам, считает свое красноречие значительно превосходящим красноречие вашего батюшки». И что же? Цицерон-младший взбесился и велел тут же на месте высечь Цестия, очень этому удивившегося...

— Должен вам сказать, Говорун, я слушаю вас с интересом, — сказал Эдик. — Я, конечно, вовсе не намерен вам возражать, потому что, как я рассчитываю, у нас впереди еще много диспутов по более серьезным вопросам. Я только хотел бы констатировать, что, к сожалению, в ваших рассуждениях слишком много человеческого и слишком мало оригинального, присущего лишь психологии цимекс лектулариа.

— Хорошо, хорошо! — с раздражением вскричал Клоп. — Все это прекрасно. Но, может быть, хоть один представитель хомо сапиенс снизойдет до прямого ответа на те соображения, которые мне позволено было здесь высказать? Или, повторяю, ему нечего возразить? Или, может быть, человек разумный имеет к разуму не большее отношение, чем очковая змея к широко распространенному оптическому устройству? Или у него нет аргументов, доступных пониманию существа, которое обладает лишь примитивными инстинктами?

У меня был аргумент, доступный пониманию, и я его с удовольствием предъявил. Я продемонстрировал Говоруну свой указательный палец, а затем сделал движение, словно бы стирая со стола упавшую каплю.

— Очень остроумно, — сказал Клоп, бледнея. — Вот уж воистину ответ на уровне высшего разума.

Федя робко попросил, чтобы ему объяснили смысл этой пантомимы, однако Говорун объявил, что все это вздор.

— Мне здесь надоело, — преувеличенно громко сообщил он, барски озираясь. — Пойдемте отсюда.

Я расплатился, и мы вышли на улицу, где остановились, решая, что делать дальше. Федя предложил навестить Спиридона, но Говорун за протестовал. Беседовать с теплокровными — это совсем не сахар, объявил он, но уж идти после этого пререкаться с головоногим моллюском — нет, от этого увольте, он уж лучше пойдет в кино. Нам стало его жалко — так он был потрясен и шокирован моим жестом, может быть, действительно несколько бес tactным, и мы направились было в кино, но тут из-за пивного ларька на нас вынесло старишку Эдельвейса. В одной руке он сжимал пивную кружку, а другой цеплялся за свой агрегат. Заплетающимся языком он выразил свою преданность науке и лично мне и потребовал сметных, высокогорных, а также покупательных на приобретение каких-то разъемов. Я дал ему рубль, и он вновь устремился за ларек»

Мы пошли в кино. Говорун все никак не мог успокоиться. Он ба хвалился, задирал прохожих, сверкал афоризмами и парадоксами, но видно было, что ему крайне не по себе. Чтобы вернуть Клопу душевное равновесие, Эдик рассказал ему о том, какой гигантский вклад он, Клоп Говорун, может совершить в теорию Линейного Счастья, и прозрачно намекнул на мировую славу и неизбежность длительных командировок за границу, в том числе и в экзотические страны. Душевное равновесие было восстановлено полностью. Говорун явно приободрился, посолиднел и, как только в кинозале погас свет, тут же полез по радам кусаться, так что мы с Эдиком не получили от фильма никакого удовольствия: Эдик боялся, что Говоруна тихо раздавят по привычке, я же ждал безобразного скандала.

Глава четвертая

Вилька этой ночью в гостинице не ночевал. Роман же пришел, по-видимому, очень поздно, и утром нам с Эдиком пришлось изгонять его из постели холодной водой. Мы наскоро позавтракали кефиром и огурцами. Я очень спешил, мне не терпелось увидеться с комендантом и прояснить свое теперешнее положение. Комендант мне благоволил: время от времени я помогал ему разбираться в путанных заключениях профессора Выбегаллы и вообще ему сочувствовал. Да и как было не сочувствовать? Жил-был человек, ничего такого не делал, никому особенно не мешал, работал комендантом общежития, достиг успехов, и вдруг вызвал его товарищ Голый, поругал за приверженность к религии

и бросил на повышение – комендантом Колонии Необъясенных Явлений. Будь он помоложе да поначитанней, он, возможно, и развернулся бы там, но товарищ Зубо был не таков. Был он служака, и был он, к тому же, человеком повышенной брезгливости. «Погибаю я там, – жаловался он иногда. – Погибаю я там, Александр Иванович, со змеями этими бородатыми, вонючими, с этими каракатицами, пришельцами. Аппетит потерял я совсем, худею, жена брюки ушивает, и никакой же перспективы... Сегодня вот еще один паразит прилетел, лепечет чего-то не по-русски, каши не жрет, мяса не жрет, а употребляет он, оказывается, зубную пасту... Не могу я так больше. Жаловаться я хочу, не по закону это, до самого товарища Голого дойду...». Очень я ему сочувствовал.

Плачевное положение коменданта усугублялось историей с разумным дельфином Айзеком. Сам дельфин давно уже помер по невыясненным причинам, но дело его жило и причиняло неприятности. Жило оно вот почему. Во-первых, Айзек скончался, недоиспользовав отпущеные на него две тонны трески. Эта когда-то свежая треска висела на шее у несчастного коменданта, как жернов, и не было никакой возможности от нее избавиться. Комендант ел ее сам и всей семьей, приглашал гостей, кормил половину китежградских собак, несколько раз травился рыбным ядом, отравил насмерть свою лучшую свинью, но трески словно бы и не убавлялось.

Во-вторых, дело Айзека не прекращалось потому, что пока акт о смерти ходил по инстанциям, из покойника набили чучело и передали китежградской школе в качестве наглядного пособия, а между тем, обстоятельства смерти вызвали в инстанциях некие подозрения, и акт вернулся с резолюцией произвести посмертное вскрытие на предмет уточнения упомянутых обстоятельств. С тех пор еженедельно комендант получал запрос: «Почему до сих пор не высланы результаты вскрытия?» – на что однообразно отвечал, что принимаются-де все меры к быстрейшему ответу на ваш исходящий такой-то. Треску невозможно было списать, потому что не списывали дельфина; дельфина же не списывали, потому что не состоялось вскрытие, а также потому, что Хлебовводов говорил о покойном Айзеке: «Мало ли, что он помер? Мне плевать, что он помер. Я обещал его на чистую воду вывести, и я его выведу». Причина же хлебовводовского упорства состояла в том, что во время его первой встречи с Айзеком дельфин на слова Хлебовводова: «Чего тут с ним возиться – обыкновенная говорящая рыба, я про такую читал» – во всеуслышание на четырех европейских и двух азиатских языках назвал его говорящим идиотом.

Вот и сегодня утром комендант сидел за своим столом, погрузившись в безнадежное изучение распухшего от запросов дела Айзека.

— Пропадаю, — сообщил он, пожимая нам руки. — Пропадаю ни за грош. Если и сегодня не разрешат треску списать, — удавлюсь... А что же товарища Корнеева не видно? Дело ведь его нынче обсуждается, заявка его...

— Приболел, — соврал я.

— Запаздывает, — одновременно со мной соврал Роман.

— Гм, — соврал Эдик и покраснел.

— Да придет он, — сказал я. — Никуда не денется. Вы мне лучше скажите, товарищ Зубо, как мне теперь жить дальше?

Выяснилось, что ничего страшного не произошло. Стариашка Эдельвейс теперь, конечно, мой до самой смерти, от этого никуда не денешься. Но заявка моя не пропала. Как я Черный Ящик просил, так я Черный Ящик, в конце концов, и получу, надо только написать новую заявку, пометив ее задним числом. Других же заявок на дело девяносто седьмое нет и не предвидится, хотя, конечно, все в руках Божих: очень даже просто товарищ Вунюков или, скажем, товарищ Хлебовводов могут этот Ящик в какой-нибудь клуб передать или в столовую, а то и в распыл пустить...

Тут часы ударили девять, появилась Тройка, и мы заняли свои места. Несколько успокоенный, я пристроился за спиной Романа и написал новую заявку. Потом Эдик тихонько организовал мне на заявке штемпельную печать, а Роман — круглую. Подпись Януса Полуэктовича я организовал сам. Когда с заявкой было покончено, я успокоился совершенно и принялся слушать.

Хлебовводов размахивал газетной вырезкой:

— Вот у меня насчет этого Айзека материал. Центральной прессой получен сигнал, что дельфин, оказывается, вовсе и не рыба. Этого я не понимаю. Живет в воде, хвост у него — и не рыба. А кто же это, повышему, — птица? Или, скажем, эта... петух какой-нибудь?

— Есть предложения? — благодушно осведомился Лавр Федотович.

— Есть, — сказал Хлебовводов. — Отложить до полного выяснения. Темный был покойничек человек, земля ему пухом. Много за ним еще, кроме трески этой, ой много, нюхом чую!

— Но ведь помер же он, — в сотый раз безнадежно проныл комендант.

— Может, все-таки спишем его, а? Пускай за школой числится...

— Товарищ Зубо, — менторским тоном сказал Фарфуркис. — Вы напрасно испытываете наше терпение. Оно у нас безгранично. Мы вам уже объясняли, что Гомер, Шекспир и другие деятели науки тоже умерли, но по-прежнему продолжают оставаться загадкой для исследователя. Смерть не может считаться препятствием для исследовательской работы, а тем более, для административно-исследовательской. Тройке

не важно, жив объект, или нет. Тройке важно установить, в какой мере он является или являлся необъясненным явлением.

– Ну хорошо, это дельфин, – сказал комендант. – А насчет трески мне как?

– И опять же мы готовы в сотый раз объяснить вам, что, поскольку данный продукт документирован в качестве пищи для дела номер шестнадцать, то он и может быть списан либо по употреблении его этим делом, либо при списании этого дела.

– Ревизия же на носу! – рыдающим голосом проговорил комендант.

– Найдут же у меня две тонны гнилой рыбы излишков...

– Да, – сочувственно сказал Фарфуркис. – Вам необходимо что-то предпринять.

– Может быть, мне другого дельфина купить? На свои, на заработанные... Кум говорил, в Москве такой магазин есть...

– Это ваше право, – сказал Фарфуркис. – Но вряд ли законно скормливать продукт, выписанный по делу номер шестнадцать, кому-то иному дельфину, находящемуся вне компетенции Тройки.

– Куда же мне рыбку-то девать?

– Скормить ее делу номер шестнадцать, – ответил Фарфуркис.

Я поглядел на Эдика. Эдик был безмятежен. По-видимому, у него уже выработался иммунитет. Впрочем, дело было пустяковое.

– Грррм, – сказал Лавр Федотович. – Выражая общее мнение, предлагаю треску отложить до полного выяснения. Переходите к следующему делу, товарищ Зубо.

Комендант, сморкаясь и утирая слезы, склонился над папками. Следующим оказалось дело спрута Спиридона, и сонный Роман встрепенулся. Где-то в необозримом будущем Тройка должна была передать Спиридона ему, если не перебежит, конечно, дорогу какая-нибудь столовая или какое-нибудь ателье мод. Ничего нового сегодня услышать он не ожидал, но, тем не менее, стремился быть в курсе. Спиридовово дело тянулось уже больше года и рассматривалось еженедельно. Высокомерное древнее головоногое не желало являться на заседания Тройки и требовало, чтобы Тройка сама явилась к нему. Амбиция обеих сторон мешала разрешению конфликта, ибо речь шла о том, кто кого переломит.

– Опять не явился, старый склокник, – с удовлетворением сказал Хлебовводов.

– Никак нет, – подтвердил комендант уныло.

– Нет, надо же, какая скотина, – продолжал Хлебовводов. – Семь ног у мерзавца, и не может явиться.

– Восемь, – поправил Фарфукис.

– Почему это восемь? – оскорбился Хлебовводов. – Осьминог ведь, то есть о семи ногах. Что вы мне, в самом деле...

— У осьминога восемь ног, — мягко сказал Фарфуркис. — Он, собственно, восьминог, но «в» у него редуцировалось.

— Да бросьте вы, — сказал Хлебовводов. — Что ты, понимаешь, мне вкручиваете? Редуцировалось, медуцировалось... Не знаете — так и скажите! Вот пусть научный консультант объяснит... Товарищ научный консультант! Сколько у него ног? Семь или восемь?

— Выбегалло не знал. Он осклабился, потянул себя за бороду и произнес:

— Эта... Ног сколько?.. Значить, се шарман илья кель кешоз де си мелоде¹?

— Чего? — сказал Хлебовводов.

— Ту кампрандр се ту пардоне², — пояснил Выбегалло, чувствуя себя на верном пути.

— Ага... — нерешительно сказал Хлебовводов. — Это мы, конечно, понимаем... латинский там, немецкий... Но вот хотелось бы уточнить, сколько все-таки у данного осьминога ног? Семь их все-таки или восемь?

— Десять, — сказал Роман.

Хлебовводов посмотрел на него ошарашенно.

— Шуточки шутите? — спросил он. — А между прочим, вы, товарищ представитель, на работе. Это вы дома своей жене шуточки шутите.

— Мне, товарищ Хлебовводов, шутить с вами не о чем, — холодно сказал Роман. — Вы задали консультанту вопрос, и, поскольку консультант находится в затруднении, я отвечаю вместо него. У спрута Спиридона десять ног.

— Иль фо фер де рестриксон³! — важно сказал Выбегалло.

— Какие там рестриксионы, — сказал Роман грубо. — Се редикюль, ля камерад⁴ профессор. Десять ног, а точнее говоря, не ног, а рук, поскольку спруты на щупальцах не ходят, а щупальцами хватают, как руками.

— Но ноги-то, ноги у него есть? — спросил Хлебовводов. — Ну, хоть одна!

— Ничего не могу добавить, — сказал Роман.

— Одну минуточку, — сказал Фарфуркис. — Почему же, в таком случае, он называется осьминог?

— А Спиридон не осьминог. Спиридон — кальмар, мегайотис.

— Ага, — сказал Фарфуркис. — Благодарю вас.

¹ Это прелестно, в этом есть нечто мелодичное.

² Все понять — значит, все простить.

³ Бывают исключения.

⁴ Это смешно, товарищ.

— А нам все равно, — злобно сказал Хлебовводов. — Руки там у него или что. В крайнем случае, мог бы и на руках дойти. Не в кино же, на заседание... И вообще, какое нам дело? Мы его вызываем, он не приходит, а у нас не горит. У нас другой работы много. Кто там следующий?

— От Спиридона имеется заявление, — доложил комендант.

— Отказать, отказать! — сказал Хлебовводов.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Товарищ Хлебовводов, у вас есть вопрос?

— Нет, — сказал Хлебовводов пристыженно. — Виноват.

— Народ желает знать все детали, — продолжал Лавр Федотович, глядя на Хлебовводова в бинокль. — Между тем, отдельные члены Тройки, видимо, пытаются подменить общее мнение Тройки своим частным мнением. Однако, народ говорит этим отдельным товарищам: не выйдет, товарищи!

Воцарилось почтительное молчание. Было слышно, как Хлебовводов терзается угрызениями совести. Лавр Федотович опустил бинокль и приказал:

— Докладывайте, товарищ Зубо.

— Меморандум номер двенадцатый, — прочитал комендант. — Настоящим Полномочный посол Генерального содружества Гигантских древних головоногих свидетельствует свое искреннее уважение Председателю Тройки по рационализации и утилизации необъясненных явлений (сенсаций) Его Превосходительству товарищу Вунюкову Лавру Федотовичу и имеет поставить его в известность о нижеследующем:

§ 1. Настоящий меморандум является двенадцатым в ряду документов идентичного содержания, отправленных Полномочным послом в адрес Его Превосходительства.

§ 2. Полномочный посол до сего дня не получил ни уведомления о вручении, ни подтверждения о получении, ни адекватного ответа хотя бы на один из вышеупомянутых документов.

§ 3. Полномочный посол вынужден с сожалением констатировать установление нежелательной традиции, которая вряд ли может в дальнейшем способствовать нормальным отношениям между Высокими договаривающимися сторонами.

Допуская в связи с вышеизложенным, что предшествовавшие одиннадцать документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания Его Превосходительства, Полномочный посол считает необходимым вновь информировать Его Превосходительство о своих намерениях, вытекающих из его, Полномочного посла, обязанностей перед Генеральным содружеством, которое они имеет честь представлять:

§ 1. Полномочный посол намерен встретиться с представителями Министерства Иностранных Дел Высокой договаривающейся стороны в

целях обсуждения процедуры вручения Министру Иностранных Дел своих верительных грамот.

§ 2. После упомянутого обсуждения Полномочный посол намерен вручить Министру Иностранных Дел Высокой договаривающейся стороны свои верительные грамоты.

В интересах Высоких договаривающихся сторон и допуская, что предшествовавшие одиннадцать документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания Его превосходительства, Полномочный посол считает себя обязанным повторить свои предложения Его Превосходительству:

§ 1. Полномочный посол желал бы встретиться с Его превосходительством для обсуждения средств и порядка доставки его, Полномочного посла, к месту встречи с представителями Министерства Иностранных Дел Высокой договаривающейся стороны.

§ 2. Время встречи с Его превосходительством Полномочный посол оставляет на усмотрение Его превосходительства.

§ 3. Что же касается места встречи, то, принимая во внимание физические и физиологические особенности организма Полномочного посла, было бы желательно провести встречу в нынешней резиденции Полномочного посла.

С совершеннейшим почтением остаюсь в ожидании решения Вашего Превосходительства покорнейшим Вашим слугой,

СПИРИДОН,
*Полномочный посол Генерального содружества
Гигантских древних головоногих.*

— Все, — сказал комендант.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович, — какие будут предложения по существу дела?

— У меня предложение одно, — заявил Хлебовводов. Лишить его, гада, пищевого довольствия. Пусть голодом посидит, а то сразу ведь видно, что издается. Сколько раз было ему говорено, явись, мол, на заседание, а он одни только писульки пишет. Вот я и предлагаю: пусть-ка поголодаает, образумится...

В этот момент Эдик, наскоро посовещавшись с Романом, решил в осуществление своей утопической программы морального преобразования членов Тройки попытаться извлечь на поверхность из глубины хлебовводовского сознания все, что там застрило разумного-доброго-вечного, но исторг только смутное видение селедочки под горчичным соусом и профессионально неразборчивый возглас: «Не держите двери, следующая станция «Кропотkinsкая!»».

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов, — возразил Фарфуркис. — Так нельзя. Что значит — «не держите двери»? Двери для переговоров должны

быть раскрыты. А вдруг он и в самом деле посол? Над соблюдать дипломатическую осторожность. Другое дело, конечно, что он ведет себя несогласно со своим званием и требует от Тройки действий, подрывающих наш престиж. Поставить его на место, конечно, необходимо. Надо написать ему, что Тройка не уполномочена вступать в какие бы то ни было отношения с Министерством Иностранных дел, и что задача Тройки – рационализировать и утилизировать необъясненные явления, и потому Спиридон есть для Тройки не более как дело номер шесть, обязанное предстать, скажем, в понедельник. А его дипломатические функции Тройку ни в какой мере не интересуют.

– Грррм, – произнес Лавр Федотович. – Народ не располагает излишками бумаги для заведения переписки с необъясненными явлениями. С другой стороны, народ гостеприимен и хлебосолен. Выражая общее мнение, предлагаю товарищу Зубо еще раз на словах объяснить делу номер шестому всю несообразность его поведения. Пищевым довольствием обеспечивать по-прежнему. Других предложений нет? Вопросов к докладчику нет?

– Какого калибра? – рявкнул полковник.

Лавр Федотович взял бинокль и наставил на шутника. Однако полковник мирно спал, и Лавр Федотович, снизойдя к его слабости, пренебрег и успокоился.

– Продолжаем дневное заседание Тройки, – произнес он. – Следующий. Доложите, товарищ Зубо.

Роман, удостоверившись, что Спиридону до понедельника не угрожает опасность быть передану в кружок юных планеристов или пущену в распыл, что-то шепнул Эдику и на цыпочках вышел. Комендант раскрыл очередную папку и принялся докладывать:

– Дело номер шестьдесят четвертое. Фамилия: не установлена. Имя: не установлено. Отчество: не установлено...

– Протестую, – сказал Фарфуркис. – Что значит: не установлено? Надо установить! В милицию обратиться, если потребуется...

– Запирается, сволочь, – сказал Хлебовводов кровожадно.

– Это из пришельцев, – вяло сказал комендант. – У них не всегда есть.

– Я категорически протестую! – закричал Фарфуркис, распаляясь и бешено листая свою книжку. – В инструкции сказано абсолютно четко! Параграф шестой главы четвертой части второй... Вот! «В случае, если необъясненное явление представляет собой живое существо, но, по каким-то причинам собственное имя его не может быть установлено, надлежит в целях удобства регистрации и идентификации придать ему фамилию, имя и отчество по выбору и утверждению Тройки. Примечание: во избежание имперсонаций, злоупотреблений и диффамаций за-

прещается присваивать указанным живым существам имена широко известных деятелей истории, литературы и искусства. Примерный список имен – см. «Приложение № 19». Вы что, инструкции никогда не читали?

– Да! Не читал! – сказал комендант, распаляясь. – Это не мне инструкция, это вам инструкция! Мне ее и в руки не дают! А вы вот вечно не дослушаете... У меня вот приложение к анкете есть: «Краткое описание дела номер шестьдесят четвертого».

– Какое там еще описание, – сказал Фарфуркис, но вид имел смущенный и вновь листал записную книжку.

– Сами же на прошлом инструктаже велели: если нет у человека ФИО, пускай будет хоть описание. Вот товарищ Выбегалло и составил... Говорят, говорят, и сами не знают, что говорят...

– Эта... – решился вставить Выбегалло. – Фэ се ке дуа адвиенн се ки пурра¹, значить...

– Затруднение? – мертвым голосом осведомился Лавр Федотович. – Товарищ Фарфуркис, устраните.

– Да, действительно, – признался Фарфуркис. – Я несколько поторопился с протестом. Дело в том, что я исходил из параграфа шестого, в то время, как рассматриваемое дело подпадает под параграф седьмой той же главы, где говорится: «В случае, если необъясненное явление представляет собой субстанцию, лишь с некоторой долей неопределенности могущую быть названной живым существом, то есть, если самый факт идентификации необъясненного явления как живого существа представляет для Тройки какие-либо затруднения... – вот тогда, товарищи, действительно надлежит именовать такое явление по номеру дела и прилагать к анкете краткое описание... Я снимаю свой протест.

– Устранили? – осведомился Лавр Федотович. – Продолжайте, товарищ Зубо.

– А что мне теперь продолжать? – спросил комендант. – Пункт четвертый продолжать или сначала описание?

– А какая разница? – опрометчиво ляпнул Хлебовводов, но тут же испугался и полез зачем-то под стол.

Фарфуркис бешено листал книжку в поисках указаний и – не находил. Полковник проснулся и тяжело задумался. Даже Выбегалло попытался задуматься, но от натуги у него пошла носом кровь, и ему стало не до того. Я поглядел на Лавра Федотовича и ощутил себя потрясенным. Лавр Федотович возвышался над всеми нами, как некий бастион. Страшно было даже представить себе, какая титаническая мыслительная работа кипела сейчас за гранитным фасадом его спокойствия и не-

¹ Поступай как следует, а там будь что будет.

возмутимости. Пункт четвертый или описание? Описание или пункт четвертый?

— В инструкции нет соответствующих указаний, — обреченно произнес Фарфуркис.

Назревала трагедия, кошмарный беспрецедентный конфликт, разрешить который могло только чудо. И чудо свершилось.

— Доложите описание, — просто сказал Лавр Федотович.

И все ожило. Фарфуркис, просияв лицом, принялся делать пометки в протоколе. Хлебовводов вылез из-под стола и стал преданно смотреть на Лавра Федотовича. Полковник умиротворенно улыбнулся и снова заснул. Что же касается Выбегаллы, то он позволил себе дважды высморкаться, и притом таким образом, что произведенные им звуки могли быть легко восприняты и как слова безудержного восхищения на французском диалекте. Мы с Эдиком горячо пожали друг другу руки.

— Описание дела номер шестьдесят четвертого, — прочитал комендант. — «Дело номер шестьдесят четыре представляет собой бурую полужидкую субстанцию объемом около десяти литров и весом в шестнадцать килограммов. Не пахнет. Вкус остался неизвестен. Принимает форму сосуда, куда налили. На гладкой поверхности принимает форму круглой лепешки толщиной до двух сантиметров. Если посыпать солью, корчится. Питается сахарным песком. Со временем не протухает. Способно восстанавливать изъятые из него массы», — комендант отложил описание и вернулся к анкете. — Пункт четвертый. Год и место рождения: не установлены, но, вероятно, не на Земле...

— Вероятно! — саркастически сказал Фарфуркис. — Это вы нам потом все обоснуете, — сказал он Выбегалле, погрозив пальцем.

— Всенепременнейше! — бодро отозвался профессор Выбегалло. — Народ будет доволен!

— Национальность, — повысив голос, продолжал комендант. — Вероятно, пришелец. Образование: вероятно, высшее. Знание иностранных языков: вероятно, знает. Профессия и место работы в настоящее время: вероятно, пилот космического корабля. Был ли за границей: вероятно...

— То есть, как? — вскинулся Хлебовводов. — То есть, как это — вероятно?

— А так! — огрызнулся комендант. — Откуда мне знать? Может, он из Швеции сюда прибыл, он же не разговаривает...

— По-моему, бдительность у нас не на высоте, — сказал Хлебовводов.

— Фарфуркис, занесите-ка ты, браток, на всякий случай в протокол: Хлебовводов, мол, напоминает коменданту о бдительности!

Комендант с ненавистью поглядел на него и продолжал:

— Краткая сущность необъясненности: неизвестное существо (возможно, вещество) с неизвестной планеты (возможно, с кометы) не вы-

ясенного химического состава и с принципиально неопределяемым уровнем интеллекта. Данные о ближайших родственниках отсутствуют, адрес постоянного местожительства неизвестен. Все.

— Ничего себе — все! — желчно хохотнув, сказал Хлебовводов. — Это был я директором конного парка номер два погрузо-разгрузочной конторы номер девять в одна тысяча девятьсот пятьдесят втором году, и приходит ко мне один мерин. Я, говорит, мерин. Документов нет, языков не знает, имя тоже неизвестно. Мне бы его гнать в три шеи или в милицию сдать, а я его по неопытности принял, понимаешь: чего там, думаю, пускай, мерин ведь. А он через неделю жеребенка приносит — раз! Скрывается без следа — два! И еще пять мешков овса как корова языком слизнула... Вот тебе и мерин. А ты мне тут толкуете — неизвестно, мол, возможно, не обнаружено... Как дети, ей-богу!

— Да-да! — решительно сказал Фарфуркис. Я тоже не удовлетворен. Это не работа, знаете ли. Команданту простительно, но вы, товарищ Выбегалло, меня удивляете.

Выбегалло принял перчатку.

— Чем? Чем же это я вас удивляю, товарищ Фарфуркис? — осведомился он.

— Неубедительно составленным описанием, товарищ Выбегалло, вот чем! — сказал Фарфуркис.

— Отписка, а не описание получилась у вас, — добавил Хлебовводов.

— Такое описание и я могу составить.

Тогда Выбегалло задрал бороду, плотоядно оглядел зарвавшихся критиканов, поддернул манжеты и принялся потрошить.

Оказалось, что высокой науке, которую он здесь имеет честь представлять, не впервые отстаивать интересы народа от нападок профанов и дилетантов. Се пениблъ ме селя фе дюбъен¹. Он, профессор Выбегалло, связанный с народом пуповиной общего происхождения, никогда не считал для себя зазорным лично разоблачать прописки и отражать насокки. Он, профессор Выбегалло, считает своим долгом напомнить здесь некоторым отдельным товарищам, что наша наука не терпит очковтирательства, фактосочинительства и припiskомании. Он, профессор Выбегалло, как человек, может понять желание товарища Хлебовводова, чтобы дело номер шестьдесят четыре прилетело к нам, скажем, из ФРГ. Тогда бы товарищ Хлебовводов мог с легкой душой составить себе небольшой политический капиталец, явившись инициатором передачи этого дела в совсем иные инстанции. Понятно ему, профессору Выбегалле, и желание товарища Фарфуркиса, чтобы дело было определено признано веществом. Тогда бы товарищ Фарфуркис имел возможность

¹ Это тяжко, но это полезно.

отфутболить это дело в геологоразведочный институт и высвободить себе таким образом некоторое количество народного времени для сомнительных похождений, не свидетельствующих о его высоком моральном уровне. Но наука в его, профессора Выбегаллы, лице с гневом отвергает столь безответственные методы работы с необъясненными явлениями. Если наука не имеет достаточно данных для утверждения, что дело номер шестьдесят четыре прибыло к нам, скажем, из ФРГ, то она, наука, на вопрос «Было ли дело за границей?» прямо и недвусмысленно отвечает: вероятно. Если для определения вещественности или существенности дела у науки не хватает фактов, то она, наука, не разводя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует дело как «неизвестное существо, в скобках, возможно, вещество». Присутствующий здесь Лавр Федотович подтвердит, что давно прошли времена очковтирательства, фактосочинительства и припискомании, и что напрасны попытки отдельных членов Тройки повернуть колесо истории вспять. Ле марьяж се фо дан ле сье¹.

Поддавшись воздействию корпоративного духа, мы с Эдиком громко зааплодировали. Выбегалло раскланялся и сел.

Препарированный и выпотрошенный Хлебовводов счел в таких условиях за благо отступить на исходные позиции, с которых он вновь принялся преданно глядеть на Лавра Федотовича. Хитроумный же Фарфуркис не сдавался. Тяжко страдая от полученных ран, он все же нашел в себе силы зайти с фланга и нанести ответный удар.

— Я хотел бы только подчеркнуть, — веско сказал он, — что мы не юннаты, что мы ответственность несем, что обязанность наша — рассматривать объекты необъясненные, а нам здесь предлагают к рассмотрению объект фактически неизвестный. Согласно же инструкции, — продолжал он, возвысив голос, — метод работы с неизвестным объектом должен быть принципиально иным, поскольку неизвестный объект может, в частности, оказаться самовозгорающимся, взрывчатым, ядоопасным или даже антропофагическим. Вот почему я категорически против рассмотрения дела сейчас, когда среди нас находится Лавр Федотович, жизнь которого представляет слишком большую ценность для того, чтобы мы имели право ею рисковать.

Все взгляды устремились на Лавра Федотовича. Лавр Федотович долго молчал, опустив веки, и дымил «Герцогиной Флор». Затем он произнес:

— Народ...

— Да! Да! — подхватил Фарфуркис. — Вот именно!

¹ Браки совершаются на небесах.



Однако Лавр Федотович словно бы и не слышал этого восклицания. Он поднес к глазам бинокль и несколько минут рассматривал по очереди коменданта и Выбегаллу. Спокойствие, с которым оба они ожидали начальственного решения, видимо, удовлетворило его.

— Народ ждет от нас подвига, — произнес он, наконец, опуская бинокль. — Пусть дело войдет, товарищ Зубо.

Комендант засеменил к двери в приемную, а Лавр Федотович, между тем, извлек из портфеля противогазовую маску и положил ее на стол перед собой.

Комендант быстро вернулся, держа обеими руками большую стеклянную банку с делом номер шестьдесят четыре. Лицо у него было отчаянное, и мы с Эдиком его сразу поняли. Во-первых, банка была из под соленых огурцов, максимум на пять литров, и куда девались остальные пять литров пришельца, было непонятно. Во-вторых, дело номер шестьдесят четыре было отчетливо синее, а вовсе не бурое, как следовало из описания. Ну, сейчас начнется, подумал я. И началось.

Комендант еще не поставил банку на демонстрационный стол, как Фарфукис отчаянно вскрикнул, выхватил из папки описание и впился в него глазами.

— Бурое! — закричал он. — Бурое! Что вы нам принесли, товарищ Зубо? Почему синее, когда бурое? Лавр Федотович! Синее, а не бурое! А по описанию — бурое, а не синее!..

Заседание взорвалось. Комендант изо всех сил бил себя в грудь кулаками и клялся, что утром еще было бурое, не знает он, почему оно посинело, само оно посинело, он его не красил и не подменял; Хлебоводов требовал акта и все твердил про обманщика-мерина; Фарфуркис звал прокурора, обвинял в подлоге и в попытке ввести в заблуждение ответственный орган. Лавр Федотович молча сидел в противогазе, время от времени отдиная пальцем край маски, чтобы подышать; а полковник проснулся и, как петух на настесте, что-то неразборчиво выкрикивал, ошело крутя голвой и рубая невидимого врага невидимой шашкой. Потом все утомились и замолкли, только комендант из последних сил хрюпел истово: «Иисусом Христом нашим... сыном божиим... матерью его, пречистой девой Марией... не красил!». Наконец, затих и он. В образовавшейся паузе, словно из Мамонтовой пещеры густо прогудел голос Лавра Федотовича:

— Затруднение? Товарищ Фарфуркис, устраните.

Фарфуркис поправил галстук и произнес речь, из которой следовало, что подобные случаи предусмотрены инструкцией, а именно двенадцатым параграфом пятой главы четвертой ее части, где говорится черным по белому, что в случае изменения внешнего вида или даже внутренней структуры необъясненного явления надлежит составить акт по форме

номер сто десять дробь два. Он продемонстрировал Лавру Федотовичу форму и с его согласия принял было составлять акт, но тут обнаружилось, что при составлении акта исходным материалом должны служить: а) необъясненное явление в его настоящем виде и б) цветная его фотография (кинолента) в первоначальном виде. Поскольку запуганный комендант пребывал в полуобморочном состоянии, Фарфуркис сам полез в дело за фотографией (кинолентой) и немедленно обнаружил, что фотографии (киноленты) в деле нет.

— Где фотография? — страшным голосом спросил он, таким страшным, что комендант очнулся. — Где две цветные фотографии дела номер шестьдесят четыре размером девять на двенадцать?

Комендант лишь слабо шевелил губами.

— Да ведь он преступник, — сказал Фарфуркис безмерно удивленным тоном.

— Нет, — сказал комендант.

— Халатный саботажник! — сказал фарфуркис, глядя на него с отвращением.

— Нет! — простонал комендант. — Иисусом Христом... двенадцатью святыми апостолами...

— Гнойный прыщ на лице местной администрации! — сказал Фарфуркис.

— Да нет же! — заорал комендант. — Я-то здесь при чем? Это Найсморк! Он, а не я. Он же отказался!

— То есть, как отказался?

— Я ему говорю: фотографируй. А он не желает! Фотографируй, говорю. Нет, не фотографирует!.. Он же мне не подчиняется, он вам подчиняется!.. У меня и допуска нет...

— Найсморка ко мне! — глухо прогудел Лавр Федотович, и комендант кинул вон из помещения.

— Не нравится мне этот Зубо, — сейчас же сказал Фарфуркис. — Скользкая какая-то личность.

— Свиней откармливает, — живо сообщил профессор Выбегалло.

— Это нам известно, — сказал Фарфуркис.

— Дочка его... эта... развелась.

— Тоже известно.

— Брагу варит...

— Варит, — признал Фарфуркис. — И торгует...

— Иконы у него в доме, — сказал Выбегалло. — Староверские. И библию он читает и конспектирует.

— Да? — сказал Фарфуркис. — Это интересно.

– Нузан савон келькешоз оси¹, – самодовольно произнес Выбегалло.

Тут Хлебовводов, который давно уже сидел с отрешенным лицом, уставясь на банку с посиневшим делом, вдруг поднялся, приблизился к демонстрационному столу и обошел его кругом. Погиб комендант, подумал я. И точно; Хлебовводов взял банку в руки и взвесил на ладони.

– А ведь не будет здесь пуда, – сказал он. – Здесь, ежели хотите знать, и полпуда нет. То-то же я смотрю, что в описании сказано – десять литров, а банка мне хорошо знакомая, пятилитровая. Знаю такие банки, всегда из них закусываю. А вот тут и этикетка есть... «Огурцы соленые... Емкость пять литров». Чувствуете, на что я намекаю? Чувствуете?

Лавр Федотович содрал с лица противогаз и нацелился биноклем на банку. Выбегалло даже пасть разинул от любопытства. Фарфуркис с остервенением листал свою книжку, а я соображал, что теперь будет с комендантом: просто ли перевод с понижением или приклеют ему уголовщину. Жалко мне было коменданта. Симпатичный он был человек, хоть и дурак.

– И ведь еще ничего не известно, – сказал Хлебовводов, сосредоточенно нюхая дело. – Он, может быть, отлил, а потом водой разбавил... и вообще это, может быть, вода. Набросал туда синьки для крепости и думает, что дело в шляпе...

Дверь распахнулась, и в комнату, нагнув голову, ввалился, держа руки в карманах, длинный и тощий Найсморк.

Прямо с порога он затянул, глядя в нижний дальний угол комнаты: «Ну, чего еще... Опять придираетесь... Чего еще я вам не угодил...». Однако, на него не обратили внимания. Все взгляды зловеще скрестились на бледном коменданте, который выглядел из-за спины Найсморка и тоже ныл: «...Вот он пускай и отвечает, а я что... у меня и допуска нет...».

– Товарищ Зубо, – ровным голосом провозгласил Лавр Федотович, и все замерли. – Надлежит вам представить недостающие пять литров дела. Срок – четыре минуты.

Я подскочил к коменданту, похватил его подмышки и выволок в приемную, где и уложил на модных очертаний деревянную скамью для посетителей. Комендант был белее мрамора, глаза закачены, пульс не прощупывался. Я подложил ему под голову свою куртку, расстегнул ему воротник косоворотки и похлопал по щекам, дуя в лицо. Это не произвело на несчастного никакого впечатления, однако ясно было, что он не умирает, и оставив его лежать, я заглянул в комнату заседаний. Мне было очень интересно, как выкрутится Найсморк.

¹ Мы об этом тоже кое-что знаем.

А Найсморк выкручивался с блеском. Он загнал Хлебовводова и Фарфуркиса в угол, навис над ними двумя своими баскетбольными метрами и десятью сантиметрами и орал на них, как с трибуны:

— Я параграф двенадцатый знаю получше вашего! Я на нем крокодила съел, собакой закусил! Там сказано — анфас! По-русски понимаете? Ан-фас! Покажите, где у этого киселя анфас, и я его целый день снимать буду! Где у него анфас? Где? Ну где? Ну чего же молчите? Я самого господина Сукарно снимал! Я самого этого снимал... как его... ну, в шляпе еще все ходил! Я параграф двенадцатый наизусть!.. А если фаса нет? У господина Сукарно фас был нормальный! У этого... как его... фас был будь здоров, в три дня не обгадишь! А у этого где?..

Хлебовводов и Фарфуркис уже не помышляли о нападении. Бегая глазами по сторонам, они только молча рвались из угла, толкаясь и то-точка, как взорванные лошади в загоне. Полковник от крика опять проснулся и ему, видимо, спросонья тоже пришли в голову какие-то лошадиные аналогии — он ерзal в кресле и, жуя губами, пронзительно вскрикивал: «Взнуздывай! Взнуздывай!». Лавр Федотович, удобно развалившись в кресле, разглядывал все это в бинокль.

Я вернулся к коменданту и дал ему понюхать воды из графина для посетителей. Коменданту тут же очнулся, но предпочел впредь до выяснения притворяться бесчувственным.

— Товарищ Зубо, — сказал я ему на ухо. — Ваше дело полуобморочное, лежите тут себе, а минут через пять-десять приходите и твердите одно: ничего, мол, не знаю, ничего не делал. А я все постараюсь устроить. Договорились?

Коменданта слабо вздохнул в знак согласия. Он даже хотел что-то сказать, но тут дверь с треском распахнулась, и он снова притворился мертвым. Впрочем, это был всего лишь Найсморк. Он с наслаждением ахнул дверью, так что за обоями что-то просыпалось, и сообщил:

— Меня охрана топтала, когда я этого снимал... как его... и то ничего! Не на таковского напали! Где фас? Нет фаса! А нет фаса — нет фото! Будет фас — будет фото. Инструкция! — Он пренебрежительно поглядел на распостертого коменданта и сказал: — Слабак! Курица! Я таких пачками снимал. Закурить есть?

Я дал ему закурить, и он удалился, грохая всеми дверями по дороге. Я тоже закурил и, сделав две затяжки, вернулся в комнату заседаний. Полковник уже снова дремал. Фарфуркис, отдуваясь, листал записную книжку, а Хлебовводов что-то шептал на ухо Лавру Федотовичу. Завидя меня, он перестал шептать и спросил боязливо:

— Этот... фотограф... ушел?

— Да, — сказал я сухо.

— А коменданта где? — грозно спросил Хлебовводов.

– У него печеночная колика, – сухо сказал я.
– Госпитализирован? – быстро спросил Фарфуркис.
– Нет, – сказал я.
– Тогда пусть войдет, пусть ответит! Это подсудное дело!
Я набрал в легкие побольше воздуха и начал:

– Мне непонятно, товарищи, что здесь происходит. Мне непонятно, где я нахожусь. Это авторитетная комиссия или я не знаю что? Мы присутствуем при интересном научном явлении, которое развивается по имманентным ему законам, представляющим огромный научный интерес. Я вам удивляюсь, товарищ Выбегалло, на вашем месте я бы давно потребовал констатировать в протоколе, что здесь обнаружена несомненная корреляция между колориметрическими и контракционными характеристиками объекта... Как мы должны это понимать? – сказал я, обращаясь к Эдику.

– Мы должны понимать это так, – немедленно подхватил Эдик, – что резкое изменение объема и массы объекта, так называемая контракция, привело к изменению цвета, а возможно, и химического состава...

– Я прошу товарищей вдуматься в этот факт! – сказал я. – Особенно вас, товарищ Выбегалло. Мы обнаруживаем изменение цвета, не имея в своем распоряжении ни колориметра, ни спектрографа, ни... э-э...

– Ни даже простейшего термобарогелиоптера, – восторженно сказал Эдик. – Такого еще не бывало! Удивительный эффект, наблюдаемый простым глазом! А если учесть, что эффект этот обнаруживается при комнатной температуре и при нормальном атмосферном давлении, то можно смело утверждать, что мы имеем дело с необъяснимым явлением феноменальной ценности. Я должен подчеркнуть, что многие аспекты проблемы остались еще абсолютно не исследованными. Было бы чрезвычайно интересно изучить влияние контракции на вкусовые и магические свойства данной субстанции. Науке известны случаи, когда под влиянием контракции магодетерминант Иерусалимского менял знак на противоположный. Так, например, Роже де Понтреваль установил...

Пока Эдик, постепенно все более увлекаясь, излагал суть работ Роже де Понтреваля, я старался определить настроение присутствующих. Реакция Тройки казалась мне благоприятной: Лавр Федотович за бинокль не брался, Фарфуркис книжечку не листал, Хлебовводов слушал, отвесив челюсть, а полковник спал. Опасения мог внушить один лишь Выбегалло, который, по-видимому, все еще прикидывал, какие выгоды можно извлечь из создавшейся ситуаций. Ему надо было помочь определиться, и, как только Эдик замолчал, я двинул в боя гвардию.

– Между прочим, мне еще не ясно, – сказал я, – должны ли мы рассматривать происшедшую здесь безобразную сцену как недоразумение, проистекающее из легкомыслия отдельных членов Тройки или, может

быть, как сознательную попытку отдельных членов Тройки замазать новооткрытый эффект и скрыть его от научной общественности. Такие случаи бывали, — закончил я гробовым голосом, сел, выхватил из кармана блокнот и изобразил несколько сверхчеловеческих профилей.

Было слышно, как на столе перед председателем умывается муха.

— Грррм, — сказал Лавр Федотович, — какие вопросы к докладчику?.. Нет вопросов? Какие предложения?

Было видно, что Выбегалло понял, с какой стороны масло на данном бутерброде. Однако он не торопился. Он встал, разгладил бороду, уперся растопыренными пальцами в тома «Малой Энциклопедии» и некоторое время смотрел поверх голов.

— Эта... — начал он. — Я уже тут неоднократно говорил, не знаю, в протокол меня занесли или нет, шумно было очень, говорил я уже, знать, что эффект колориметрической контракции до сих пор не обнаруживался, а мы его тут... эта... обнаружили, и свалили на коменданта, на... ле пувр Зубо... Не все, конечно, свалили, а некоторые отдельные... эта... далекие от науки. Я уже тут говорил, что рано, товарищи, дело номер шестьдесят четвертое рационализировать, а тем более, упаси бог, утилизировать. Дело, конечно, надо отложить, и отложить его надо на срок, который потребуется, а вот чего отложить нельзя, товарищи, чего мы с вами не имеем никакого права откладывать, так это вопроса о приоритете. Дан нотр позисьон нэ определенный де девуар¹. И в данном случае наша девуар состоит в том, чтобы эффект назвать и... эта... сохранить для истории. А потому я категорическилагаю ходатайствовать перед компетентными органами о присвоении этому эффекту имени товарища Вунокова. Се ту се ке же ву ди².

Дальше все пошло, как по маслу. Появился комендант, который, разумеется, подслушивал под дверью. Встретили его благосклонно, он твердил, что ничего не знает, что это дело научное, а у него только едва восемь классов за душой... а его уверяли, что все выяснилось, что нельзя же так, работа есть работа, бывают срывы, бывают отдельные ошибки. Фарфуркис, пожал ему руку в знак извинения, Хлебовводов назвал братком, а Лавр Федотович даже пошутил: «Была вам здесь сегодня баня, товарищ Зубо, так что посетите-ка вы сегодня баню!». Когда все отсмеялись, Лавр Федотович снова посうровел и произнес:

— Повестка заседания исчерпана, я констатирую, что данное заседание, как и все предыдущие, происходило в деловой и рабочей атмосфере. Другие предложения будут? Нет? Тогда объявляю дневное заседание Тройки закрытым илагаю перейти к отдыху и обеду.

¹ В нашем положении существуют определенные обязанности.

² И это все, что я могу вам сказать.

Он погрузил в портфель все свои председательские принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебовводов и Выбегалло, сбив с ног зазевавшегося Фарфуркиса, кинулись, отпихивая друг друга, открывать ему дверь.

— Бифштекс — это мясо, — благосклонно сообщил им Лавр Федотович.

— С кровью! — преданно закричал Хлебовводов.

— Ну зачем же с кровью? — донесся голос Лавра Федотовича уже из приемной.

Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось: «Нет уж, позвольте, Лавр Федотович... Бифштекс без крови, Лавр Федотович, — это хуже, чем выпить и не закусить...» — «Наука полагает, что... эта... с лучком, значить...» — «Народ любит хорошее мясо... например, бифштексы...».

— В гроб они меня вгонят, — озабоченно сказал комендант. — Погибель они моя, мор, глад и семь казней египетских...

— Товарищ Зубо, — сказал я сурово, — извольте объяснить, что же это произошло на самом деле? Почему так мало пришельца? Почему он в этой банке?

— Ничего не знаю, ничего не делал, это эффект научный, — забарабанил комендант. Я прервал его.

— Товарищ Зубо, вы мне это прекратите, ведь Корнеев из вас душу вынет за эти штучки. Вы знаете Корнеева.

Комендант знал Корнеева. Он снова наладился было в обморок, но тут в комнату вернулся Фарфуркис. Тройка, как всегда, забыла за столом полковника. Фарфуркис разбудил его и увел, приговаривая: «Неужели трудно было проснуться вовремя? Старая вы песочница, в самом деле... Удивительно даже!».

— Ну? — сказал я, когда они удалились.

— Вы расскажите нам, пожалуйста, товарищ Зубо, — попросил вежливый Эдик, — может быть, делу удастся помочь...

Комендант понурился.

— Нет, — сказал он. — Никак этому делу уже не поможешь. Кто разбил, не знаю, а только прихожу я сегодня утром готовить его к демонстрации, а горшок евонный, глиняный, ну, в котором он прилетел, лопнул, половина вытекла, лужа на полу, и дальше вытекает. Ну, что мне было делать? Эх, думаю, семь бед — один ответ. Перелил я, что осталось, в эту банку, совру, думаю, что-нибудь, а может, и вовсе не заметят... Но это еще что! — В глазах его мелькнул пережитый ужас. — Бурый ведь он был, ребятки, переливал его, видел... А тут выхожу за банкой — мать моя, мамочка — синий!.. Не-ет, вгонят они меня в гроб, сегодня бы уже и вогнали, если бы не вы, ребятки, благодетели мои...

Мы с Эдиком переглянулись.

— М-м? — спросил я.

— Ну, что ты, — неуверенно сказал Эдик, — Не может быть... Вряд ли... Сомнительно что-то... Хотя...

Когда мы спускались по лестнице, он сказал:

— Вся беда в том, что это — Витька. Никогда нельзя угадать, на что он не способен.

Глава пятая

Вечернее заседание не состоялось. Официально нам было объявлено, что Лавр Федотович, а также товарищи Хлебовводов и Выбегалло отравились за обедом грибами, и врач рекомендовал им всем до утра полежать. Однако дотошный комендант не поверил официальной версии. Он при нас позвонил в гостиничный ресторан и переговорил со своим кумом, метрдотелем. И что же? Выяснилось: за обедом Лавр Федотович, выступая против товарища Хлебовводова в практической дискуссии относительно сравнительных преимуществ прожаренного бифштекса перед бифштексом с кровью, стремясь выяснить на деле, какое из этих состояний бифштекса наиболее любимо народом и, следовательно, перспективно, скушали под коньячок и под пльзенское бархатное по четырем экспериментальные порции из фонда шеф-повара. Теперь им совсем плохо, лежат пластом и до утра, во всяком случае, на людях появиться не смогут.

Комендант ликовал, как школьник, у которого внезапно и тяжело заболел любимый учитель. Я — тоже. Один только Эдик остался недоволен. Он как раз намеревался на вечернем заседании учинить очередной сеанс позитивной реморализации всей компании.

Мы купили по стаканчику мороженого, попрощались с комендантом и пошли к себе в гостиницу. По дороге на меня напал из-за угла стариашка Эдельвейс. Я дал ему рубль, но это не произвело на него обычного действия. Я отдал ему свое мороженое, но он не отставал. Материальные блага его больше не интересовали. Он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в качестве руководителя в работу по усовершенствованию и модернизации его эвристического агрегата и для начала составил бы развернутый план этой работы, рассчитанной на три года (пока он будет учиться в аспирантуре). Через пять минут беседы свет стал мраком перед моими глазами, горькие слова готовы были вырваться, и страшные намерения близились к осуществлению. Стариашку спас Эдик. «Такого рода работу, — вежливо, но твердо сказал он, — следовало бы начать с тщательного изучения литературы. Приходилось ли вам читать «Азбуку радиотехники» Кина?». Старику вообще не

приходилось читать, и скрывать этого он не стал. «Прекрасно, — сказал я, возвращаясь к жизни. — Немедленно запишитесь в библиотеку, возьмите там «Азбуку», «Геометрию» Киселева и что-нибудь по алгебре для восьмого класса. Прочтите и законспектируйте. До конца этой работы извольте меня не беспокоить». Старикашка спросил меня, что такое алгебра и удалился, увлекаемый агрегатом, которому, видимо, надоело стоять спокойно.

Поднявшись в свой номер, мы обнаружили там следующее. Витька Корнеев, очень довольный, валялся в ботинках на моей койке и разглагольствовал о свободе воли. Роман, голый по пояс, сидел у окна, и Федя осторожно облизывал ему алую распухшую спину какой-то желтой дрянью, распространяющей аптекарский запах. Клоп Говорун взобрался на стену и, зажав нос, с неодобрением на них поглядывал, ожидая случая вставить словечко-другое.

— А, работяги! — вскричал при виде нас Витька, дрыгнув ногами. — Прозаседавшиеся! Как здоровье многоуважаемого товарища Вунюкова? Как утилизировали дело номер шестьдесят четыре? Распили на четырех или вылили на помойку?

— Значит, это все-таки ты натворил? — сказал Эдик.

— Хватать и тикать, — ответил Витька. — Сто раз я вам говорил.

— Убирайся с моей койки, — потребовал я.

— Я вам тысячу раз говорил, осталопам, — сказал Витька, перебираясь с моей койки на свою. — Нельзя ждать милостей от природы и бюрократии. Я, например, никогда не жду. Я выбираю подходящий момент, хва-таю и рву когти. Но я знаю, что все вы чистоплюи и моралисты. Без меня вы бы здесь сгнили. Но я есть! И я сегодня все устрою. Эдельвейса я утоплю в канализации. Чего тебе еще нужно, Сашка? Черный Ящик тебе? Будет тебе Черный Ящик, я знаю, где он у них стоит... Теперь Амперян. Чего тебе нужно, Амперян? А, Клопа тебе? Давай сюда тару ка-кую-нибудь...

С этими словами он схватил Говоруна за ногу и потащил со стены, но тот заорал таким ужасным голосом, что из соседнего номера к нам постучали и в грубых выражениях предложили прекратить безобразие. Витька отпустил Клопа, и Говорун, оскорбленно отодвинувшись, принялся массировать потревоженную ногу.

Витька понизил голос и начал рассказывать, как он нынче ночью проник по водопроводной трубе в павильон, где томился в своем керамическом снаряде Жидкий пришелец; как он долго не мог вскрыть контейнер, как он, наконец, несмотря на кромешную тьму, расколол его взглядом над бидоном, позаимствованным в кладовке у коменданта («...у неготам целое сырное производство, у кулака, даже сепаратор есть...»), как потом долго искал, что бы этакое налить в опустевший

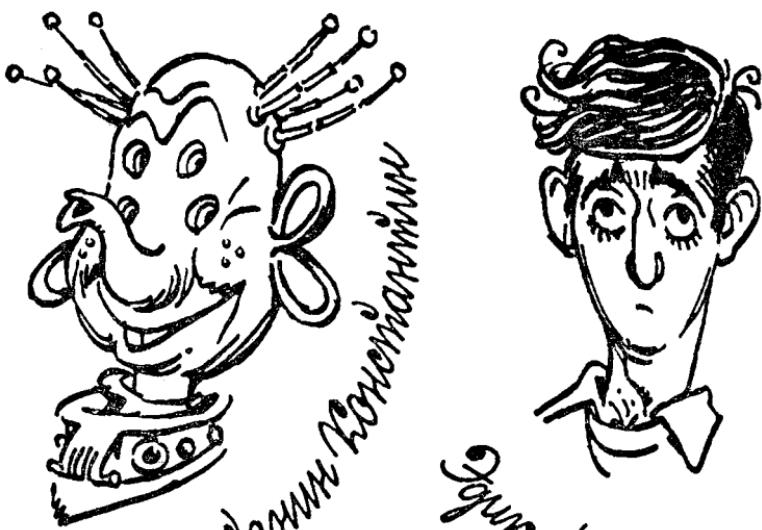
контейнер, пока не обнаружил в подвале ведро с какой-то бурдой... В Институт он трансгрессировался в два часа ночи, работал до обеда, как зверь, получил огромное удовольствие и кое-какие довольно пока скромные результаты, и вот он снова здесь, юный и свежий, как д'Артаньян, чья шпага всегда – к услугам друзей. Пришелец шлет всем приветы, утверждает, что только в Витькиной лаборатории почувствовал себя на Земле как дома, а бидон он, Витька, честно приволок обратно, потому что он, Витька, ученый, а не какой-нибудь паршивый домашник и теперь намерен вскорости вернуть бидон владельцу, так что если кому-нибудь нужно что-нибудь хапнуть на территории Колонии, то ради Бога, не стесняйтесь, он, Витька, готов.

Роман отнесся к этому рассказу, в общем, сочувственно, хотя слушал его уже второй раз, и этот второй раз, по его словам, ничем не отличался от первого: то же хвастовство и те же сомнительные притязания на честность. Я не без восхищения обозвал Витьку шпаной и уголовником. Эдик же явно расстроился и сказал, что это нечестно, что это свинство, что коменданта сегодня из-за Витьки чуть не довели до разрыва сердца, что это не метод, что Витька доиграется, что порядочные люди так не поступают и так далее.

Витька неприятно ухмыльнулся и спросил, а как же поступают порядочные люди. Он, Витька, очень интересуется узнать, что в такой ситуации обычно делают порядочные люди. Он, Витька, уже полмесяца ждет каких-нибудь порядочных результатов от действий порядочных людей. Может быть, порядочные люди все-таки снизойдут и просветят его, темного уголовного Витьку, как надлежит им, порядочным людям, поступать. Может быть, они даже поступят как-нибудь, наконец?

Эдик ответил, что да, порядочным человеком быть гораздо труднее, чем темным и уголовным. Действия порядочных людей всегда направлены на улучшение окружающего мира. Порядочные люди не могут испытывать удовлетворения, если им удалось достигнуть пусть даже самой благородной цели неблагородными средствами. Тем и труднее положение порядочного человека в сравнении с положением темного и уголовного, но порядочный человек вынужден тщательно и придирчиво отбирать средства для достижения целей в каждом частном конкретном случае.

Витька ответил, что, по его наблюдениям, так называемые порядочные люди были всегда чрезвычайно сильны в теории. Но его, Витьку, сейчас меньше всего интересует теория, его интересует практическая деятельность порядочных людей. Уж не принуждают ли его, Витьку, рассматривать в качестве образца такой деятельности жалкий благотворительный спектакль, разыгранный товарищем Амперяном на вчерашнем вечернем заседании? («...Если уж взялся, так и довел бы до конца,



Икондажемит Константин



Джестапоран



Роман Оира-Оира



Панург



девчонка



Рога-сновичек



Умная нора



говорух

чистоплюй; прикончили бы насильственно облагороженные стервятники насильственно облагороженного дурака Эдельвейса – было бы дело, а то один пшик и розовые сопли...»).

Эдик сильно покраснев, заявил, что Корнеев решительно ничего не смыслит в методике позитивной реморализации, а потому его, Эдика, никак не задевает этот плоский, безграмотный выпад. Он, Эдик, и в дальнейшем намерен продолжать попытки довести Тройку до верхнечеловеческого уровня, и хотя он, Эдик, отнюдь не гарантирует стопроцентной удачи, он, Эдик, не видит пока другого пути существенного улучшения данного участка мира. Он, Эдик, предвидит, однако, что дальнейшая дискуссия в таком тоне должна неизбежно выродиться в вульгарное препирательство, на которое Корнеев мастер, и поэтому он, Эдик, просит высказаться по существу дела как присутствующего здесь Александра Привалова, известного своей добротой и объективностью, так и присутствующего здесь Романа Ойру-Ойру, старшего из магистров.

Известный своей добротой и объективностью Александр Привалов в моем лице честно и прямо заявил, что вся эта проблема представляется ему надуманной, если, конечно, не считать небезынтересной, хотя и высказанной мимоходом, идеи относительно Эдельвейса и канализации. Он, добрый и объективный Привалов, ждет только субботы, когда Тройка будет рассматривать дело номер девяносто семь, надеется это дело выиграть и после этого покинет Китежград навсегда, унося в клевые Черный Ящик. А пока он намерен всеми разумными средствами выражать свою горячую заинтересованность деятельностью Тройки и присутствовать на всех без исключения заседаниях, дабы не упустить и тени шанса.

Старший из магистров к моменту своего выступления закончил холю ногтей, густо напудрил воспаленные от бритья щеки и, развесив на трельяже все свои восемнадцать галстуков из тринацати различных стран мира, решал задачу на оптимум. Он начал свое заявление с того, что все здесь правы, каждый по-своему, и, следовательно, все здесь неправы. Он, старший из магистров, всячески приветствует благородное намерение Э. Амперяна разоблачить членов Тройки в их собственных глазах и показать им, какими они могли бы быть, если бы не были такими, каковы они есть. Он, Роман, всегда считал, что позитивная реморализация является высшей формой воздействия человека на человека, но он же, Роман, считает необходимым напомнить, что далеко не всегда высшая форма воздействия является в то же время и наиболее эффективной. Он, Роман, всячески приветствует положительный фатализм А. Привалова, его, А. Привалова, нерушимую надежду на счастливый случай, ибо, что бы там ни говорили, а счастливый случай есть необходи-

мая компонента всех начинаний. Но он же, Роман (старший из магистров), напоминает, что в нашем реальном мире вероятность счастливого случая всегда была и остается значительно меньше вероятности любого другого. Наконец, действия В. Корнеева вызывают в нем, Романе, чувство невольного восхищения, каковое чувство, впрочем, в значительной степени омрачается сознанием того, что указанные действия определенно лежат по ту сторону морали. Нет, он, старший из магистров, не знает общего решения поднятой здесь проблемы. Ему кажется совершенно естественным, что каждый из присутствующих ищет частное решение – в соответствии со своей духовной конституцией. Например, он, Роман, глядит сейчас в это вот зеркало и видит в нем смуглое худощавое лицо, сверкающие жгуче черные глаза и чрезвычайно редкий в этих широтах, а потому дефицитный, горбатый гасконский нос. Между тем, у товарища Голого, администратора в высшей степени авторитетного и состоящего в приватном знакомстве с небезызвестным товарищем Вунюковым, имеется, среди прочих детей, любимая дочь на выданье по имени Ирина. Назвав имя, он, Роман, полагает, что сказал уже более, чем достаточно, и имеет только добавить, что товарищ Голый, насколько известно, никогда и ни в чем не отказывает товарищу Ирине; что товарищ Вунюков, по имеющимся сведениям, с большой охотой выполняет практически все просьбы товарища Голого; и что задача, таким образом, сводится лишь к созданию ситуации, когда товарищ Ирина вознамерится выполнять все существенные просьбы товарища Романа, старшего из магистров. Пока в своем активе он, Роман, числится: три бессонных ночи, заполненных чтением наизусть поэта Гумилева; два кошмарных вечера, проведенных у товарища Голого в беседах о хорканы вальдшнепов и чуфыканы тетеревов; ежедневное мучительное бритье опасной бритвой; сожженную нынче днем на пляже спину и хроническую боль в лицевых мускулах – следствие непрекращающейся мужественной улыбки.

– Победа будет за мной, – заключил Роман, натягивая пиджак. – И тогда я вас не забуду, мои дорогие фаталисты, моралисты и уголовники!

Он сделал ручкой, построил на лице мужественную улыбку и вышел, посвистывая. Клоп, потеряв надежду самовыразиться, с независимым видом выскользнул за ним. Только сейчас я заметил, что Федя в комнате тоже нет. Федя был очень чуток к напряженности в отношениях и, вероятно, счел за благо удалиться, когда Витька начал орать на Эдика.

– Может, хватит трепаться? – сказал я утомленно. – Может, лучше пойдем прогуляемся?

– Я знаю только одно, – не обратив на меня внимания, сказал Эдик. – Все, что ты говорил здесь, Виктор, ты никогда не осмелишься повторить ни Жиану Жиакому, ни Федору Симеоновичу. И уж, во всяком случае, ты никогда не расскажешь им, как тебе достался пришелец.

Это был удар большой жестокости и силы. Я даже поразился, как вежливый Эдик позволил себе это. Жиан Жиакомо и Федор Симеонович, учителя Витьки, принадлежали к предельно узкому кругу людей, которых Витька уважал, любил и вообще принимал во внимание.

Грубый Корнеев, только что нахально скаливший зубы в лицо Эдику, покернел, как удавленник. Он искал слов, грубых, оскорбительных слов, и не находил их. Тогда он стал искать грубые жесты. Он вскочил и пробежался по потолку.

Потом он превратился в камень, полежал так, раздумывая, и, отыскав жест, вернул себе прежний вид. Он извлек из-под кровати комендантский бидон, аккуратно поставил его посередине комнаты, отошел в угол, разбежался и пнул бидон ногой с такой силой, что бидон исчез. Потом он оглядел нас желтыми глазами, крикнул: «Ну, и пр-ропадайте тут, вегетарианцы!» – и исчез сам.

Несколько минут мы с Эдиком сидели молча. Говорить было не о чем. Затем Эдик тихонько сказал:

– Я хотел бы осмотреть Колонию, Саша. Ты меня не проводишь?

– Пойдем, – сказал я. – Только я не буду бродить с тобой, ты сам все осмотришь. А то я обещал Спиридону кое-что почитать.

Эдик не возражал. Я взял папку с японскими материалами, и мы вышли в коридор. По коридору, заложив руки за спину, прогуливался Клоп Говорун, задумчиво прислушиваясь к каким-то своим ощущениям. Я сообщил ему, что иду к Спиридону.

– Да-да, – рассеянно отозвался он. – Обязательно.

– Так пошли? – предложил я.

– Я занят! – раздраженно сказал Клоп. – Разве вы не видите, что я занят? Идите к своему Спиридону, я потом к вам присоединюсь... Некоторые люди, – сказал он Эдику с любезной улыбкой, – бывают временами чрезвычайно бес tactны.

Эдик вспомнил, видимо, замечание, которое он сделал Витьке, и совсем расстроился. До Колонии мы шли молча и около павильона, в котором жил Спиридон, расстались. Эдик сказал, что он посмотрит, как тут и что, а потом вернется сюда.

Под резиденцию Спиридону отвели бывший зимний бассейн. В низком помещении ярко светили лампы, гулко плескала вода. Запах здесь стоял ошеломляющий – холодный, резкий, от которого съеживалась кожа, а в мозгу возникали неприятные ассоциации: вспоминалась преисподняя, пыточные камеры и костяная нога нашей Бабы Яги. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Нужно было преодолеть первый спазм и ждать, пока принюхаешься. Я сел на край бассейна, спустил ноги и положил папку рядом с собой. Спиридона видно не было – вода волновалась, по ней прыгали блики, крутились маслянистые пятна.

— Спиридон, — позвал я и постучал каблуком в стенку бассейна.

Вот это больше всего раздражало меня в Спиридоне: наверняка ведь видит, что пришли к нему в гости, папку ему принесли, которую он просил, и не Выбегалло какой-нибудь пришел, а старый приятель, который все эти шутки наизусть знает, — и, все-таки, нет! Обязательно надо ему лишний раз показать, какой он могущественный, какой он непостижимый, и как легко он может спрятаться в прозрачной воде.

Оказался он, разумеется, прямо у меня под ногами. Я увидел его подмигивающий глаз величиной с тарелку.

— Ну хорошо, хорошо, — сказал я. — Красавец. Ничего не вижу, только глаз вижу. Очень эффектно. Как в цирке.

Тогда Спиридон всплыл. То есть, не то чтобы он всплыл, он, собственно, и не погружался, он все время был у поверхности, просто теперь он позволил себе быть увиденным. Плоские дряблые веки его распахнулись мгновенно, словно судно-ловушка откинуло фальшивые щиты, огромные круглые глаза, темные и глубокие, уставились на меня с нечестивым юмором, и слабый хрипловатый голос произнес:

— Как ты сегодня меня находишь?

— Очень, очень, — сказал я.

— Гроза морей?

— Корсар! Смерть кашалотам!

— Опиши меня, — потребовал Спиридон.

— Пожалуйста, — сказал я. — Но я не Альфред Теннисон, я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Ты сейчас похож на кучу грязного белья, которую бросили отмокать перед стиркой.

Спиридон одним длинным неуловимым движением как бы перелился на середину бассейна. Перепонка, скрывающая основания его рук, стала бесстыдно выворачиваться наизнанку, обнажилась иссиня-бледная поверхность, густо усеянная сморщенными бородавками, из самых недр организма высунулся в венце мясистых шевелящихся выростов и раскрылся, дразнясь, огромный черный клов. Послышался пронзительный скрежет: Спиридон хохотал.

— Завидуешь, — сказал он. — Вижу, что завидуешь. Ох, и завистливы же вы все, сухопутные! И напрасно. У вас есть свои преимущества. Гулять сегодня пойдем?

— Не знаю, — сказал я. — Как все. Я вот папку принес. Помнишь, ты просил?

— Помню, помню, — сказал Спиридон. — Как же...

Он разлегся на воде, распустив веером чудовищные щупальца, и принял мерцать и переливаться перламутром. У меня зарябило в глазах, и потянуло в сон. Представилось, что сижу я с удочкой ясным утром, солнышко греет, блики бегают по теплой воде, и сладко так тянет

все тело. Спиридон пустил мне в лицо струю холодной воды, и я опомнился.

— Тыфу, — сказал я. — Грязью своей... Тыфу!

— Почему же — грязью? — удивился Спиридон. — Чистейшая вода, в нечистой я бы умер.

— Черта с два ты бы умер, — вздохнул я. — Знаю я тебя.

— Бессмертен, а? — самодовольно сказал Спиридон.

— Что-то вроде этого, — согласился я. — Ну-ка, перестань мерцать. Ты на меня сон нагоняешь. Ты что, нарочно?

— Я не нарочно, но я могу и перестать. — Он вдруг снова оказался у самых моих ног. — А где наш говорливый дурак? — спросил он, — И где твой волосатый приятель?

— Он не только мой приятель, — возразил я. — Он и твой приятель. Что у тебя за манера — оскорблять друзей?

— Друзей? — спросил Спиридон. — У меня нет друзей. Я не знаю, что это такое.

— А как насчет Генерального содружества? — спросил я. — Чей же ты тогда Полномочный посол?

Спиридон холодно взглянул на меня.

— Ты имеешь какое-нибудь представление о дипломатии? — осведомился он. — Можешь не отвечать. Вижу, что очень смутное. Дипломатия есть искусство определять новые явления старыми терминами. В данном случае совершенно новое для вас, людей, явление — мою искреннюю и нерушимую дружбу меня сегодняшнего со мной завтрашним — я определяю старым термином «Генеральное содружество».

— Ага, — сказал я. — Значит, Генеральное содружество — это вранье.

— Ни в коем случае, — возразил Спиридон. — Это, повторяю, содружество меня со мной.

— Вот я и говорю: вранье, — повторил я. — Кроме самого себя, ты ни с кем не можешь находиться в содружестве, даже со мной.

— Гигантские древние головоногие, — наставительно сказал Спиридон, — всегда одиноки. И всегда рады этому обстоятельству.

— Понятно. А кто же тогда тебе мы — Федя, Говорун, я?

— Вы? Собеседники. Развлекатели... — он подумал немного и добавил. — Пища.

— Скотина ты, — сказал я, обидевшись. — Грязные ты подштанники. — Это прозвучало несколько по-хлебовводски, но и очень рассердился. — Ну и отмокай здесь в своем гордом одиночестве, а я пойду.

Я сделал вид, что собираюсь встать, но он ловко вцепился крючьями присосков мне в штанину и не пустил.

— Подожди, подожди, — сказал он. — Надо же, обиделся! До чего же вы все, сухопутные, правды не любите... Все, что угодно вам можно

говорить, кроме правды. Вот мы, Гигантские древние головоногие, всегда говорим только правду. Мы мудры, но бесхитростны. Когда я готовлюсь напасть на кашалота, я предельно бесхитростен. Я не говорю ему: «Позволь мне обнять тебя, мой друг, мы так давно не виделись!». Я вообще ничего не говорю ему, а просто приближаюсь с совершенно отчетливо выраженными намерениями... Ты знаешь, — сказал он, словно эта мысль впервые его осенила, — и ведь кашалоты этого тоже не любят! Удивительно нерационально построен мир. Жизнь возможна только в том случае, если реальность принимается нами как она есть, если черное называют черным, а белое — белым. Но до чего же вы все не любите называть черное черным! А я вот не понимаю, как можно обижаться на правду. Впрочем, я вообще не понимаю, как можно обижаться. Когда я слышу неправду, когда Клоп называет меня трясиной, а ты называешь меня грязными кальсонами, я только хохочу. Это неправда, и это очень смешно. А когда я слышу правду, я испытываю чувство благодарности — насколько Гигантские древние головоногие вообще способны испытывать это чувство, — ибо только знание правды позволяет мне существовать.

— Ну, хорошо, — сказал я. — А если бы я назвал тебя сверкающим брильянтом и жемчужиной морей?

— Я бы тебя не понял, — сказал Спиридон. — И я бы решил, что ты сам себя не понимаешь.

— А если бы я назвал тебя владыкой мира?

— Я бы сказал, что предо мною разумное существо, которое привыкло говорить владыкам правду в глаза.

— Но ведь это же неправда. Никакой ты не владыка мира.

— Значит, ты менее умен, чем кажешься.

— Еще один претендент на мировое господство, — сказал я.

— Почему — еще? — забеспокоился Спиридон. — Есть и другие?

— Злобных дураков всегда хватало, — сказал я с горечью.

— Это верно, — проговорил Спиридон задумчиво. — Взять хотя бы одного моего старинного личного врага — кашалота. Он был альбинос, и это уродство сильно повлияло на его умственные способности. Сначала он объявил себя владыкой всех кашалотов. Это было их внутреннее дело, меня это не касалось. Но затем он объявил себя владыкой морей, и пошли слухи, будто он намерен провозгласить себя господином Вселенной... Кстати, твои соотечественники — я имею в виду людей — этому поверили и даже признали его олицетворением зла. По океану начали ходить отвратительные сплетни, некоторые варварские племена, предчувствуя хаос, отважились на дерзкие налеты, кашалоты стали вести себя вызывающие, и я понял, что надобно вмешаться. Я вызвал альбиноса на диспут, — спрут замолчал, глаза его полузакрылись. — У него были

на редкость мощные челюсти, – сказал он, наконец. – Но зато мясо было нежное, сладкое и не требовало никаких приправ... Гм, да.

– Диспуты! – вскричал вдруг Панург, ударяя колпаком с бубенчиками об пол. – Что может быть благороднее диспутов? Свобода мнений! Свобода слова! Свобода самовыражения! Но что касается Архимеда, то история, как всегда, стыдливо и бесстыдно умолчала об одной маленькой детали. Когда Архимед, открывши свой закон, голый и мокрый, бежал по людной улице с криком «Эврика!», все жители Сиракуз хлопали в ладоши и безмерно радовались новому достижению отечественной науки, о котором они еще ничего не знали, а узнав – все равно не смогли понять. И только один дерзкий мальчик показал на пробегавшего гения пальцем и, заливаясь смехом, завопил: «Ребята! Э, пацанье! А ведь Архимед-то голый!». И хотя это была истинная правда, его тут же на месте, поймав за ухо, жестоко выпорол солдатским ремнем науколюбивый отец его.

– Возможно, – сказал Спиридон. – Возможно... Давай-ка мы почтаем, Саша. Должен тебе сказать, что меня крайне интересует, что о нас знают и помнят люди.

Я взял папку, положил ее к себе на колени и развязал тесемочки. Мне и самому было интересно. Материалы эти я знал с детства. Мой дядя, малоизвестный специалист по Японии, затеял некогда книгу под странным названием «Спруты и люди». Его обуревала идея, что головоногие с незапамятных времен имели весьма тесные контакты с людьми. Чтобы обосновать эту мысль, он перекопал кучу книг, архивов, записал множество японских легенд и все самое интересное, с его точки зрения, перевел на русский и собрал в эту папку. Книгу написать ему не удалось: он увлекся диссертацией на тему «Предательство японской либеральной буржуазией интересов японского рабочего класса». Папка была заброшена, большая часть материалов утрачена, но кое-что осталось – стопка пожелтевшей бумаги, исписанной ровным дядиным почерком. На каждом листочке – выписка из какой-нибудь книги или рукописи с непременной ссылкой на использованный источник.

– Подряд читать? – спросил я.

– Подряд, подряд, – сказал Спиридон. – И не торопись. Я буду все обдумывать.

– Ладно, – я взял первый листок. – «Ика имеет восемь ног и короткие туловище, ноги собраны около рта, и на брюхе сжат клюв. Внутри имеет дощечку, содержащую тушь. Когда встречает большую рыбу, извергает тушь волнами, чтобы скрыть свое тело. Когда встречает мелких рыб и чилимсов, выплевывает тушевую слону, чтобы приманить их. В «Бэнь-цао ганму» сказано, что ика содержит тушь и знает приличия». («Книга вод»).

– Что такое тушевая слюна? – спросил Спиридон.

– Нет уж, это ты мне скажи, пожалуйста, что такое тушевая слюна, – возразил я. – И заодно – каким образом дощечка может содержать тушь?

– Забавно, забавно, – задумчиво сказал Спиридон. – Видимо, перед нами здесь наивное описание небольшой каракатицы. Хотя, с другой стороны, каракатицы никогда не знали приличий. Более неприличное существо трудно себе вообразить. Я, во всяком случае, не берусь. Разве что Клоп. Ну ладно, дальше.

– «По мнению Бидзана, – прочитал я, – ика есть не что иное, как метаморфоза вороны, ибо есть и в наше время у ика на брюхе вороний клюв, и потому слово «ика» пишется знаками «ворона» и «каракатица» («Сведения о небесном, земном и человеческом»).

– Что есть ворона? – осведомился Спиридон.

– Птичка такая, – ответил я. – Черная, со здоровенным клювом.

– Какая вульгарная фантазия, – пробормотал Спиридон. – Дальше.

– «К северу от горы Дотоко есть большое озеро, и глубина его очень велика. Люди говорят, что оно сообщается с морем. В годы Энен в его водах часто ловили ика и ели в вареном виде. Ика всплывает и лежит на воде. Увидев это, вороны принимают его за мертвого и спускаются клевать. Тоша ика сворачивается в клубок и хватает их. Поэтому слово «ика» пишется знаками «ворона» и «каракатица». Что касается туши, которая содержится в теле ика, то ею можно писать, но со временем написанное пропадает, и бумага снова делается чистой. Этим и пользуются, когда пишут ложные клятвы». («Книга гор и морей»).

Пока я читал, в павильон вошел Федя. Он поклонился Спиридону, уселся рядом со мной и стал слушать. Когда я кончил читать, Спиридон проворчал:

– Вот это более похоже на правду. Я сам, признаюсь, так лавливал альбатросов в молодости... Я только не понимаю, почему всех этих людей так интересуют вороны и тушки? Сплошные вороны и тушки.

– Тушью в те времена писали, – сказал я. – А с воронами вас связывают из-за клюва. Неужели непонятно?

– Предположим, – сказал Спиридон холодно. – Здравствуйте, Федор. Как вы себя чувствуете?

– Спасибо, хорошо, – тихонько сказал Федя. – Я не помешаю?

– Ни в какой мере, – сказал Спиридон. – Продолжай, Саша.

– «Согласно стаинным преданиям, ика являются челядью при особе князя Внутреннего моря Сэто. При встрече с большой рыбой они выпускают черную тушь на несколько шагов вокруг, чтобы спрятать в ней свое тело» («Книга гор и морей»).

– Опять тушь, – проворчал Спиридон. – Дальше.

— «У поэта древности Цзо Сы в «Оде столице У» сказано: «Ика держит меч». Это потому, что в теле ика есть лекарственный меч, а сам ика относится к роду крабов» («Книга вод»).

— Нет, не поэтому, — сказал Спиридон. — А потому, что Цзо Сы по своей глупости превосходит даже Бидзана, упоминавшегося выше. Дальше.

— «В море водится ика, спина его похожа на игральную кость, телом он короткий, имеет восемь ног. Облик его напоминает большого голого человека с круглой головой» («Записи об обитателях моря»).

— Ну, это про осьминогов, — сказал Спиридон. — У них спина бывает еще и не на то похожа. На месте осьминога я бы, конечно, обиделся, но я, слава богу, на своем месте. Продолжай.

— «В бухте Сугороку видели большого тако. Голова его круглая, глаза, как луна, длина его достигала тридцати шагов. Цветом он был, как жемчуг, но когда питался, становился фиолетовым. Совокупившись с самкой, съедал ее. Он привлекал запахом множество птиц и брал их с воды. Поэтому бухту назвали Такогаура — Бухта Тако» («Упоминание о тиграх вод»).

— Гм, — сказал Спиридон. — Может быть, это был я. Какого века материал?

— Не знаю, — ответил я. — Здесь не написано.

— Гм. Цветом, как жемчуг... Где она, эта ваша Япония? Это такие островки на краю Тихого океана?.. Очень возможно, очень... Ну, дальше!

— «В старину некий монах заночевал в деревне у моря. Ночью послышался сильный шум, все жители зажгли огни и пошли к берегу, а женщины стали бить палками в котлы для варки риса. Утром монах спросил, а ему ответили, что в море около тех мест живет большой ика. У него голова, как у Будды, и все называют его «бодзу», то есть монах. Бывает, что он выходит на берег и разрушает лодки» («Предания юга»).

— Бывает и не такое, — загадочно сказал Спиридон. — Дальше.

— «Береговой человек говорит: ика и тако, но не знает разницы. Оба знают волшебство, имеют руки вокруг рта и тушь внутри тела. А человек моря различает их легко, ибо у ика брюхо длинное и снабжено крыльями, восемь рук поджаты и две протянуты, в то время как у тако брюхо круглое и мягкое, восемь рук протянуты во все стороны. У ика иногда вырастают на руках железные крючья, поэтому ныряльщицы боятся его» («Упоминание о тиграх вод»).

— Здесь какая-то нелогичность, — задумчиво сказал Спиридон. — Раньше авторы этих заметок все время путали кальмара с осьминогом. И вообще, все эти люди — и береговые, и морские — по-видимому, до

смерти нас боятся. Я всегда так думал. Приятно услышать подтверждение. Н-ну-с, а что там дальше?

— «В деревне Хоккэдзука на острове Кусумори жил рыбак по имени Гэнгобэй. Однажды он вышел на лодке и не вернулся. Жена его, напрасно прождав положенное время, вышла замуж за другого человека. Гэнгобэй через десять лет объявился в Муроцу и рассказал, будто лодку его опрокинул ика, огромный, как рыба Ку, сам он упал в воду и был подобран пиратом Надаэмоном» («Предания юга»).

— Чистейшее вранье, — сказал Спиридон. — Наверняка этот Гэнгобэй просто решил сходить в пираты подзаработать. Очень похоже на людей. Впрочем, это мелочь. Дальше.

— «Тако злы нравом и не знают великодушия. Если их много, они дерзко друг на друга нападают и разрывают на части. В старину на Цукуси было место, где тако собирались для свершения своих междуусобиц. Ныряльщики находят там множество больших и малых клювов и продают любопытным в столицу. Поэтому и говорится: тако-но томокуки — взаимопожирание тако» («Записи об обитателях моря»).

— Взаимопожирание! — сказал Спиридон раздраженно. — Это похороны, а не взаимопожирание... Глупцы.

— Привет, друзья! — раздался позади нас знакомый голос. — Уже читаете? Клопа, конечно, не подождали... Ну, еще бы, существа низшей организации, насекомое, так сказать, «а паразиты никогда...».

— Помолчи, Говорун, — сказал Спиридон. — Садись и слушай. Давай дальше, Саша.

Клоп, обиженно ворча, втиснулся между мной и Федором, и я продолжал:

— «У берегов Ие обитает животное, похожее на большого тако, большого юрибоси и большого ибогани. В ясную погоду лежит, колыхаясь, на волнах и размышляет о пучине вод, откуда извергнуто, и о горах, которые станут пучиной. Размышления эти столь мрачны, что ужасают людей» («Упоминание о тиграх вод»).

Почему-то Спиридон промолчал. Я поиском глазами и не обнаружил. Не видно было Спиридона и не слышно. Я продолжал.

— «Рассказывают, что во владениях сиятельного военачальника Ямаути Кадзутое промышляла губки знаменитая в Тосо ныряльщица по имени О-Гин. Лицом она была приятная, телом крепкая, нравом веселая. В тех местах издавна жил старый ика длиной в двадцать шагов. Люди его страшились, она же с ним играла и ласкала его, и он приносил ей отменные губки, которые шли по сто мон. Однако, когда ее просватали, он впал в уныние и пожрал ее. Больше его не видели. Это случилось в тот год, когда сиятельный военачальник Ямаути по настоянию супруги

счастливо уплатил десять ре золотом за кровного жеребца» («Предания юга»).

Спиридон опять промолчал, и я его окликнул.

– Да-да, – отозвался он. – Я слушаю.

Голос его показался мне странным, и я спросил, почему давно не слышно комментария.

– Потому что комментариев не будет, – сурово сказал Спиридон.

– Совсем больше не будет? – спросил я.

– Нет, отчего же – совсем? Там посмотрим...

Я продолжал чтение:

– «Параграф восемьдесят семь. Еще господин Цугами утверждает следующее. В Восточных морях видят катацумури-дако, пурпурною цвета, с множеством тонких рук, высовывается из круглой раковины размером в тридцать шагов с остриями и гребнями, глаза сгнили, весь оброс полипами. Когда всплывает, лежит на воде плоско, наподобие острова, распространяя зловоние и испражняясь белым, чтобы приманить рыб и птиц. Когда они собираются, хватает их руками без разбора и питается ими. Если приблизиться, хлопнуть в ладоши и крикнуть, от испуга выпускает ядовитый сок и наискось погружается в неведомую глубину, после чего долго не выходит. Среди знающих моряков известно, что он гнусен и вызывает на теле гнойную сыпь» («Свидетельство господина Цугами Ясумицу о поясе Восточных морей»).

– Любопытно, – сказал Спиридон. – Мне хочется вас поздравить. Письменность – это полезное изобретение. Конечно, с памятью гигантского древнего головоногого ей не сравниться, но вам, людям, она заменяет то, чего вы лишены от природы.

– Ты хочешь сказать, – спросил я, – что все прочитанное было на самом деле?

– Поговорим об этом, когда ты закончишь, – сказал Спиридон.

– Пойдемте лучше в кино, – предложил Говорун. – Устроили здесь читальню... Память, письменность... Слова вставить не дают.

– Дальше, Саша, дальше, – сказал Спиридон.

– «Параграф сто тринадцать. Еще господин Цугами свидетельствует такое. На острове Екомэдзима живет дед, дружит с большими ика. Он в изобилии разводит свиней на рыбе и квашеных водорослях. Когда в полнолуние он играет на флейте, ика выходят на берег, и он дает им лучших свиней. Взамен они приносят ему лекарство долголетия из источников в пучине вод» («Свидетельство господина Цугами Ясумицу о поясе Восточных морей»).

– Помню, помню, – сказал Спиридон. – Мы их потом судили... Надо сказать, что господин Цугами Ясумицу – опытный работник. Есть там еще что-нибудь из его свидетельств?

Я просмотрел оставшиеся листочки.

– Нет, больше нет. Может быть, и были, но потеряны.

– Это хорошо, – сказал спрут.

Я стал читать дальше:

– «Пират и злодей Редо далее под пыткой показал. Весной седьмого года Кэйте у берегов Осуми разграбил и потопил корабли с золотом, принадлежащие Симадэу Есихиро, на пути из Кагосимы. Его первый советник по имени Дзэнти заклинаниями вызвал из глубины на корабли стаю огромных ика, которые ужасным видом и крючками привели охрану в замешательство. Пират же и злодей Редо незаметно подплыл, зарезал храброго Мацунагу Сюнгаку и погубил всех иных верных людей. Подписано: Миногава Соэцу. Подписано: Сога Масамаро» («Хроника Цукуси»).

– Да, – подтвердил Спиридон. – Такие альянсы когда-то допускались. Согласитесь, это вам не какие-нибудь свиньи.

– Пардон, – сказал Говорун, отталкивая меня локтем. – А клопы? Были на кораблях клопы?

Спиридон пожал плечами.

– Очень может быть, – сказал он. – Нас это не интересовало.

– Разумеется, – сказал Говорун, помрачнев. – Как и всегда.

Я взял следующий листок.

– «В деревне Хигасимихара на острове Цудзукидзима еще до сей поры поклоняются большому тако, которого именуют «нуси» – хозяин. По обычаю, в третье новолуние все девушки и бездетные женщины после захода солнца раздеваются, выходят из деревни и с закрытыми глазами танцуют на отмели. Тако издали глядит и, выбрав, призывает к себе. Она идет, плача и не желая, и печально погружается в темную воду. Остальные возвращаются по домам» («Записки хлопотливого мотылька Аنسина Энко»).

– Чепуха какая-то, – сказал Клоп. – Если они танцуют с закрытыми глазами, да еще в новолуние, как же они узнают, кого он выбрал?

Спиридон промолчал.

– Читайте, Саша, тихонько попросил Федя.

– «При большом тайфуне во второй год Сетоку рыбаки из деревни Гумихара в Идзумо числом семнадцать потеряли лодки и спаслись на одинокой скале посреди моря. Они думали прожить беспечно, питаясь съедобными ракушками, но оказалось, что под скалой обитали демоны в образе тако огромной величины. Днем они жадно глядели из воды, а ночью являлись в сновидениях, сосали мозг и требовали: «Дайте немедленно одного». Поскольку выхода не было, страх одолел их, они стали тянуть жребий и отдали рыбака по имени Бинскэ. Обрадовавшись, демоны гладили себя руками по лысым головам, как бы говоря: «Вот хо-

рошо!». День за днем это повторялось, мучения ночью были такие, что иногда без жребия хватали кого придется и бросали в воду, а некоторые бросались сами. Когда осталось пятеро, их подобрал корабль, направлявшийся из Ниигаты в Сакаи. Демоны последовали за кораблем, потом чары их ослабли, и они скрылись» («Записи необычайных дел во владениях князя Мацудайры»).

— А вы знаете, — сказал Федя, — ведь у нас есть похожая легенда. Будто бы в некоторых расщелинах жили раньше звери Фрух...

— Как? — спросил Клоп.

— Это на нашем языке, — извиняющимся голосом пояснил Федя. — Фрух. Это значит «не увидеть». Их никто никогда не видел, но слышали, как они ползают внизу. И вот по ночам люди начинали мучиться, и многие уходили и сами бросались в расщелины. Тогда все прекращалось, — Федя сделал паузу, потом сказал застенчиво: — Я, конечно, понимаю, это сказка, но, если бы это была правда, можно было бы объяснить, почему мы так задержались в развитии. Ведь гибли всегда самые интеллигентные... певцы, или люди, знающие коренья, или художники... или кто не мог смотреть, как другие мучаются...

Я заметил, что Спиридон вновь помалкивает. Смешно было предполагать, чтобы этот закоренелый эгоцентрик испытывал стыд за поступки своих согражданников, и молчание его каким-то странным образом начинало действовать мне на нервы.

— Спиридон, — сказал я. — Где комментарий?

— Потом, потом, — неразборчиво буркнул он. — Продолжай.

— Тут всего один листок остался, — предупредил я.

— Вот и хорошо, — сказал Спиридон. — Вот и прочти его.

Я прочел последний листок:

— «Тогда мятежники с криком устремились вперед. Но его светлость соизволил повелеть дать знак, помчалась конница, с холмов спустились отряды асигару. Тогда мятежники в замешательстве остановили шаги. Асигару дали залп из мушкетов. Тогда мятежники, бросая оружие, копья и щиты, устремились обратно к кораблям. Верный Набэсима Тосикагэ, невзирая на доблесть, не смог бы догнать и схватить их. Тогда его светлость соизволил повелеть дать знак, и флотоводец Юсо выпустил боевых тако. Икусадако, подобно буре, напали на вражеские корабли, трясли, двигали, раскачивали, ломали. Видя это, мятежники устрашились и выразили покорность. Их всех перевязали, нанизав на нитку, подобно сущеной хурме, после чего его светлости благоугодно было повелеть разыскать и распять главарей на месте. Всего было распято восемьдесят злодеев, а флотоводец Юсо удостоился светлейшей похвалы» («Хроники Цукуси»).



Я сложил листочки и завязал папку. Все мы ждали, что скажет Спиридон. А Спиридон успокоил воду в бассейне, сделал себя темно-красным и растекся по поверхности, как масляная лужа.

— Большинство из документов, — заявил он, — относится, насколько я могу судить, к середине нынешнего тысячелетия, когда многие из нас, уцелевшие после мора, были еще очень молоды и не понимали, что сложное сложно. Отсюда попытки альянсов, отсюда подчиненность... Черт возьми, все мы любили сладкое мясо!.. Должен признаться, мне было неприятно слушать эти хроники, как всякому умному существу неприятно слушать воспоминания посторонних о его детстве. Но кое-кому из наших это стоило бы почитать — в назидание. И я им прочту... Но вас, конечно, интересует, есть ли во всем этом правда, сколько ее и вся ли это правда. Правда этих записок вот: мы всегда стремились уничтожить все, что попадает в море; некоторые из нас продавали право первородства за сладкую свинину; и некоторым из нас, самым молодым, нравилось, когда невежественные рыбаки их обожествляли. Вот что здесь правда. Остальное — сплошная тушь и воронятина. Всю же правду о гигантских головоногих не вместят никакие записи.

— Мне понравилось выражение «сосали мозг», — задумчиво сообщил Говорун. — Что бы это могло означать?

— Просто метафора, — холодно сказал Спиридон. — Почему ты не спрашиваешь, что означает выражение «глаза сгнили»?

— Потому что мне это неинтересно, — заносчиво ответил Говорун.

Я заметил, что Федя с сомнением качает головой.

— Нет, тут что-то другое, — проговорил он. — Тут что-то недобroe. А Спиридон просто не хочет рассказывать.

У меня было такое же ощущение, но мне не хотелось это обсуждать. Это было что-то неприятное и, в конце концов, не столь уж существенное. Не хотелось мазаться в грязи ради праздного любопытства. К тому же, интимность обстановки нарушил вдруг фотограф Найсморк.

Сложившись пополам, он вдвинулся в павильон, осмотрел нас дикими глазами и хрюкнул осведомился, который здесь будет Спиридон, спрут, древний и головоногий. Не дожидаясь ответа, он пошел вокруг бассейна, озираясь и бормоча, что свет здесь хороший, толковый человекставил, понимающий, только смердит вот, как на помойке у этого... как его... у столовой. Узнав, который здесь Спиридон, Найсморк пришел в профессиональный восторг. Он хлопал себя по ляжкам, заглядывал в видоискатель, вскрикивал от удовольствия и снова принимался хлопать и заглядывать. Он воскликнул, что вот это вот — фас, что этот фас — всем фасам фас, что такой фас он видел всего однажды, у этого... как его... да вот у вас же, гражданин, в прошлом году, когда вы только прибыли...

Он потратил на Спиридов фас полпленки. Однако же, когда настала очередь профиля, он разочаровался. Он горько сообщил, что профиля нет, то есть, конечно, кое-что виднеется, но больно мало, надо полагать, что все ушло в фас согласно закону сохранения суммы изображений. Нацелившись на то, что приходилось ему считать Спиридовым профилем, он попросил Спиридона сохранять серьезность, расслабиться и не улыбаться, сделал два снимка, взял у меня сигарету и исчез так же внезапно, как и появился.

— Меня он тоже давеча снимал, — ревниво сообщил Клоп. — При помощи микронасадки, между прочим. Я думаю, что это в связи с моим заявлением.

— Вряд ли, — сказал Федя. — Это потому, что коменданта запугали, и он потребовал, чтобы Найсморк всю Колонию переснял по второму разу. На всякий случай.

— Сплетня! — сказал Клоп. — Просто я подал заявление, чтобы Тройка приняла меня завтра вне всякой очереди и обсудила одно мое предложение.

— Какое? — спросил я.

— А вот это уже никого не касается, — высокомерно заявил Клоп. — Завтра услышите. Я полагаю, товарищ Амперян будет завтра присутствовать на утреннем заседании?

— Будет, — сказал я.

— Превосходно, — сказал Клоп. — Я очень уважаю товарища Амперяна, а завтрашнее заседание обещает стать историческим.

— Сомневаюсь, — сказал лениво Спиридон. — Сомневаюсь я, чтобы с Говоруном могло быть связано что-нибудь историческое. Тебя уже один раз вызывали в прошлом году, ничего исторического не обнаружили и в решении записали, помнится: «Клоп говорящий, необъясненного явления собой не представляет, в компетенцию Тройки не входит, лишить пищевого довольствия и койки в общежитии...».

— Это неправда! — крикнул Говорун. — Это дурак Хлебовводов предлагал. А Лавр Федотович не утвердил! Я был, есть и остаюсь необъясненным явлением! Что ты в этом смыслишь? Или, может быть, ты способен объяснить взлеты моей мысли, мои порывы, мою печаль при восходе ненавистного солнца? Если хочешь знать, будь я обыкновенным клопом...

— Будь ты обыкновенным клопом, — с усмешкой сказал Спиридон, — тебя бы уже давным-давно раздавили!

— Молчи, людоед! — взвизгнул Говорун, хватаясь за сердце. — Тряси-на ты холодная, бессовестная! Тысячу лет прожил, ума не нажил! Хам! По морде тебе давно не давали!

— Товарищи, товарищи! — сказал Федя, удерживая за талию Клопа, который, размахивая кулаками, рвался в бассейн. — Говорун, вы же там утонете... Спиридон, я вас прошу, извинитесь... Вы действительно были бес tactны! Вы же знаете, как Говорун относится к таким намекам...

Спиридон возразил, что он только констатировал очевидный факт, и что он готов дать удовлетворение любому, кто будет утверждать, будто он сказал неправду. Говорун лягдался, брызгал слюной и орал. Тогда я разозлился и потребовал, чтобы они немедленно прекратили склоку, иначе я упеку Говоруна на двое суток в спичечный коробок, а в бассейн накидаю марганцовки. Это подействовало. Буяны, конечно, утихомирились не сразу и некоторое время продолжали оскреблять друг друга, но, в конце концов, Спиридон процелил сквозь зубы что-то вроде «Виноват, переборщил», Говорун всплакнул, сказал, что в последнее время он что-то совсем изнервничался, и они пожали друг другу руки в знак примирения.

— Ну, вот и прекрасно, — сказал просиявший Федя. — А теперь, я думаю, мы можем пойти пройтись. Все вместе. Правда?

Выяснилось, что все «за». Федя тут же сбежал за тачкой и напихал в нее мокрого сена. Мы с Говоруном поднатужились, выволокли Спиридона из бассейна и свалили его в сено, а сверху прикрыли мокрым мешком. Спиридон смущенно кряхтел и торопливо извинялся, когда ему наступали на щупальца.

В тачке он устроился поудобнее, прикинул, каково ему будет озирать окрестности, и сообщил, что вполне готов.

В дверях павильона нас встретил сторож, связанный коменданта товарища Зубо. Он направлялся к бассейну, волоча за собой по земле дохлую собаку. Лицо у него было красное до багровости, он пошатывался, пахло от него водкой и луком.

— Спиридон Спиридонович! — прохрипел он; — Куда же это вы не едваши? Комендант заругается!

Спиридон сунул ему в руку небольшую жемчужину.

— Это тебе за беспокойство, голубчик, — сказал он. — А ужин занеси и оставь там где-нибудь, я вернусь и поужинаю.

— Это можно, — прохрипел сторож, разглядывая жемчужину, покачиваясь и непроизвольно приседая, чтобы сохранить равновесие. — Это пожалуйста... Оч-чень мы вами bla-адарны, Спиридон Спиридонович...

По дороге к набережной мы встретили Эдика, и я познакомил его со Спиридоном. Вежливый Эдик сказал спруту несколько комплиментов, и они разговорились было о необычайных размерах гигантских мегатитисов и о прирожденной властности их взора, но тут ревнивый Говорун подхватил Эдика под руку и с криком: «Пardon, товарищ Амперян! Одну минуточку, небольшая консультация!..» — увлек его вперед. Тем не

менее, Спиридон развеселился, овладел общим разговором и рассказал несколько забавных историй из жизни спротов. Очень смешной получилась у него история о том, как несколько молодых, неопытных мегатойтисов высledили подводную лодку и сговорились на нее напасть, приняв за большого кашалота; как они долго ползали по железной палубе и все подбадривали друг друга мужественными возгласами: «За дыхло его, братва! За дыхло!». Мы много смеялись над этой мастерски рассказанной историей, пока не выяснилось, что смеемся мы все по разным причинам. Я смеялся над глупыми мегатойтисами, Эдик – тоже; Спиридон хохотал, представляя себе, как перепугалась команда подводной лодки; Федя смеялся от радости, что всем весело, и никто ни с кем не скорится (Федя истории не понял, он решил, что подводная лодка – это просто затонувшая рыбачья шлюпка); Говорун же смеялся потому, что его осенила гениальная идея, не имеющая никакого отношения к рассказу. Он отказался сообщить нам эту идею, но я понял, в чем дело: полчаса спустя, когда мы шли по главной улице и возле гостиницы задержались, чтобы проститься с утомившимся Эдиком и заодно полить Спиридона из шланга, Говорун безразличным тоном попросил меня напомнить, в каком номере проживает этот дурак Хлебовводов. Я напомнил, и Клоп тотчас же распроштался, сказавши, что у него, к сожалению, неотложное свидание.

Мы еще немного погуляли втроем по Колонии, и я рассказывал Феде и Спиридону об устройстве Вселенной. Попутно выяснилось, что Спиридон простым глазом видит Красное Пятно на Юпитере и кольца Сатурна. Застенчивый Кузька все время шастал в кустах то справа, то слева от нас, напоминая о себе слабым кваканьем; мы звали его, обещая лакомства и дружбу, но он так и не решился приблизиться.

Возле склада битой летающей посуды мы неожиданно наткнулись на Романа с товарищем Ириной. Левой рукой Роман обнимал пышные плечи любимой дочери товарища Голого, а правой рукой вдохновенно указывал в звездную бездну – должно быть, тоже объяснял устройство Вселенной. Мы поспешили свернуть на боковую аллею и повезли Спиридона в бассейн. Время было уже позднее, город засыпал, и только далеко-далеко играла гармошка, и чистые девичьи голоса сообщали:

Ухажеру моему
Я говорю трехглазому:
Нам поцалуй ни к чему –
Мы братия по разуму!

Глава шестая

Когда Говоруна вызвали, он появился в комнате заседаний не сразу. Было слышно, как он препирается в приемной с комендантом, требуя

какого-то церемониала, какого-то повышенного пиетета, а также почетного караула. Эдик начал волноваться, и мне пришлось выйти в приемную и сказать Клопу, чтобы он перестал ломаться, а то будет плохо.

– Но я требую, чтобы он сделал три шага мне навстречу! – кипятился Говорун. – Пусть нет караула, но какие-то элементарные правила должны же выполняться! Я же не требую, чтобы он встречал меня у дверей... Пусть сделает три шага навстречу и обнажит голову!

– О ком ты говоришь? – спросил я, опешив.

– Как это, о ком? Об этом, вашем... кто там у вас главный? Вунюков?

– Балда! – прошипел я. – Ты хочешь, чтобы тебя выслушали? Иди немедленно! В твоем распоряжении тридцать секунд!

И Говорун сдался. Бормоча что-то насчет нарушения всех и всяческих правил, он вошел в комнату заседаний и нахально, ни с кем не по здоровавшись, развалился на демонстрационном столе. Лавр Федотович с мутными и пожелтевшими после вчерашнего глазами тотчас же взял бинокль и стал Клопа рассматривать. Хлебовводов, страдая от тухлой отрыжки, проныл:

– Ну чего нам с ним говорить? Ведь все уже говорено... Он же нам только голову морочит...

– Минуточку, – сказал Фарфуркис, бодрый и розовый, как всегда. – Гражданин Говорун, – обратился он к Клопу. – Тройка сочла возможным принять вас вне процедуры и выслушать ваше, как вы пишете, чрезвычайно важное заявление. Тройка предлагает вам быть, по возможности, кратким и не отнимать у нее драгоценное рабочее время. Что вы имеете нам заявить? Мы вас слушаем.

Несколько секунд Говорун выдерживал ораторскую паузу. Затем он с шумом подобрал под себя ноги, принял горделивую позу и, надув щеки, заговорил.

– История человеческого племени, – начал он, – хранит на своих страницах немало позорных свидетельств варварства и недомыслия. Грубый невежественный солдат заколол Архимеда. Вшивые попы сожгли Джордано布鲁но. Оголтелые фанатики травили Чарлза Дарвина, Галилео Галилея и Николая Вавилова... История клопов также сохранила упоминания о жертвах невежества и обскурантизма. Всем памятны неслыханные мучения великого клопа-энциклопедиста Сапукла, укававшего нашим предкам, травяным и древесным клопам, путь истинного прогресса и процветания. В забвении и нищете окончили свои дни Император, создатель теории групп крови; Рексофоб, решивший проблему плодовитости; Пульп, открывший анабиоз. Варварство и невежество обоих наших племен не могли не наложить и действительно наложили свой роковой отпечаток на взаимоотношения между ними. Втуне погибли идеи великого клопа-утописта Платуна, проповедовавшего

идею симбиоза клопа и человека и видевшего будущность клопиного племени не на исконном пути паразитизма, а на светлых дорогах дружбы и взаимной помощи. Мы знаем случаи, когда человек предлагал клопам мир, защиту и покровительство, выступая под лозунгом «Мы одной крови, вы и я», но жадные, вечно голодные клопиные массы игнорировали этот призыв, бессмысленно твердя: «Пили, пьем и будем пить», — Говорун залпом осушил стакан воды, облизнулся и продолжал, надсаживаясь, как на митинге: — Сейчас мы впервые в истории наших племен стоим перед лицом ситуации, когда клоп предлагает человечеству мир, защиту и покровительство, требуя взамен только одного: признания. Впервые клоп нашел общий язык с человеком. Впервые хлоп общается с человеком не в постели, а за столом переговоров. Впервые клоп взыскивает не материальных благ, а духовного общения. Так неужели же на распутье истории, перед поворотом, который, быть может, вознесет оба племени на недосягаемую высоту, мы будем топтаться в нерешительности, вновь идти на поводу у невежества и взаимоотчужденности, отвергать очевидное и отказываться признать свершившееся чудо? Я, Клоп Говорун, единственный говорящий Клоп во Вселенной, единственное звено понимания между нашими племенами, говорю вам от имени миллионов: опомнитесь! Отбросьте предрассудки, растопчите косность, соберите в себе все доброе и разумное, и открытыми и ясными глазами взгляните в глаза великой истине: Клоп Говорун есть личность исключительная, явление необъясненное и, быть может, даже необъяснимое!

Да, тщеславие этого насекомого способно было поразить самое заскорузлое воображение. Я чувствовал, что добром это не кончится, и толкнул Эдика локтем, чтобы он был готов. Оставалась, правда, надежда на то, что состояние кишечножелудочной прострелации, в котором пребывала большая и лучшая часть Тройки, помешает взрыву страостей. Благоприятным фактором было также отсутствие обожравшегося до постельного режима Выбегаллы.

Лавру Федотовичу было нехорошо, он был бледен и обильно потел, Фарфуркис не знал, на что решиться, и с беспокойством на него поглядывал, и я уже подумал, что все обошлось, как вдруг Хлебовводов произнес:

— «Пили, пьем и будем пить...». Это же он про кого? Это же он про нас, поганец! Кровь нашу! Кровушку! А? — он дико огляделся. — Да я же его сейчас к ногтям!.. Ночью от них спасу нет, а теперь и днем? Мучители! — и он принял яростно чесаться.

Говорун несколько побледнел, однако, продолжал держаться с достоинством. Впрочем, краем глаза он осторожно высматривал себе на всякий случай подходящую щель. По комнате распространился крепчайший запах дорогого коньяка.

— Кровопийцы! — прохрипел Хлебовводов, вскочил и ринулся вперед.

Сердце у меня замерло. Эдик схватил меня за руку — тоже испугался. Говорун прямо-таки присел от ужаса. Но Хлебовводов, держась за живот, промчался мимо демонстрационного стола, распахнул дверь и исчез. Было слышно, как он грохочет каблуками по лестнице. Говорун вытер со лба холодный пот и обессиленно опустил усы.

— Гррм, — как-то жалобно проговорил Лавр Федотович. — Кто еще просит слова?

— Позвольте мне, — сказал Фарфуркис, и я понял, что машина заработала. — Заявление гражданина Говоруна произвело на меня совершенно особое впечатление. Я искренне и категорически возмущен. И дело здесь не только в том, что гражданин Говорун искаженно трактует историю человечества, как историю страданий отдельных выдающихся личностей. Я готов также оставить на совести оратора его абсолютно несамокритические высказывания о собственной особе. Но его предложение, его идея о союзе... Даже сама мысль о таком союзе звучит, на мой взгляд, оскорбительно и кощунственно. За кого вы нас принимаете, гражданин Говорун? Или, может быть, ваше оскорбление преднамерено? Лично я склонен квалифицировать его как преднамеренное! И более того, я сейчас просмотрел материалы предыдущего заседания по делу гражданина Говоруна и с горечью убедился, что там отсутствует совершенно, на мой взгляд, необходимое частное определение по этому делу. Это, товарищи, наша ошибка, это, товарищи, наш просчет, который нам надлежит исправить с наивозможнейшей быстротой. Что я имею в виду? Я имею в виду тот простой и очевидный факт, что в лице гражданина Говоруна мы имеем дело с типичным говорящим паразитом, то есть, с праздношатающимся тунеядцем без определенных занятий, добывающим средства к жизни предосудительными путями, каковые вполне можно квалифицировать как преступные...

В эту минуту на пороге вновь появился измученный Хлебовводов. Проходя мимо Говоруна, он замахнулся на него кулаком, пробормотав: «У-у, собака бесхвостая, шестиногая!..». Говорун только втянул голову в плечи. Он понял, наконец, что его дело плохо. «Саша, — шептал мне Эдик в панике, — Саша, придумай что-нибудь...». Я лихорадочно искал выход, а Фарфуркис тем временем продолжал:

— Оскорбление человечества, оскорбление ответственного органа, типичное тунеядство, место которому за решеткой, — не слишком ли это много, товарищи? Не проявляем ли мы здесь мягкотелость, беззубость, либерализм буржуазный и гуманизм абстрактный? Я еще не знаю, что думают по этому поводу мои уважаемые коллеги, и я не знаю, какое решение будет принято по этому делу, однако, как человек по натуре не

злой, хотя и принципиальный, я позволяю себе обратиться к вам, гражданин Говорун, со словами предостережения. Тот факт, что вы, гражданин Говорун, научились говорить, вернее, болтать по-русски, может, конечно, некоторое время служить сдерживающим фактором в нашем к вам отношении. Но берегитесь! Не натягивайте струны слишком тую!

— Задавить его, паразита! — прохрипел Хлебовводов. — Вот я его сейчас... спичкой... — он стал хлопать себя по карманам.

На Говоруне лица не было. На Эдике тоже. А я все никак не мог найти выхода из возникшего трагического тупика.

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов, — брезгливо морщаась, проговорил Фарфуркис. — Я против незаконных действий. Что это за линчевание? Мы с вами не в Техасе. Необходимо все оформить по закону. Прежде всего, если не возражает Лавр Федотович, надлежит рационализировать гражданина Говоруна как явление необъясненное и, следовательно, находящееся в нашей компетенции...

При этих словах дурак Говорун просиял. О, тщеславие!..

— Далее, — продолжал Фарфуркис, — нам надлежит квалифицировать рационализированное необъясненное явление как вредное и, следовательно, в процессе утилизации подлежащее списанию. Дальнейшая процедура предельно проста. Мы составляем акт таким, примерно, образом: акт о списании Клопа говорящего, именуемого ниже Говоруном...

— Правильно! — прохрипел Хлебовводов. — Печатью его!..

— Это произвол! — слабо пискнул Говорун.

— Минуточку! — вскинулся Фарфуркис. — Что значит — произвол? Мы списываем вас согласно параграфу семьдесят четвертому приложения о списании остатков, где совершенно отчетливо говорится...

— Все равно произвол! — кричал Клоп. — Палачи! Жандармы!..

И тут меня, наконец, осенило.

— Позвольте, — сказал я, — Лавр Федотович! Вмешайтесь, я прошу вас! Это же разбазаривание кадров!

— Гррм, — еле слышно произнес Лавр Федотович. Его так мучило, что ему было все равно.

— Вы слышите? — сказал я Фарфуркису. — И Лавр Федотович совершенно прав! Надо меньше придавать значения форме и пристальное вглядываться в содержание. Наши оскорбленные чувства не имеют ничего общего с интересами народного хозяйства. Что за административная сентиментальность? Разве у нас здесь пансион для благородных девиц? Или курсы повышения квалификации?.. Да, гражданин Говорун позволяет себе дерзость, позволяет себе сомнительные параллели. Да, гражданин Говорун еще очень далек от совершенства. Но разве это означает, что мы должны списать его за ненадобностью? Да вы что, това-

рищ Фарфуркис? Или вы, быть может, способны сейчас вытащить из кармана второго говорящего клопа? Может, среди ваших знакомых есть еще говорящие клопы? Откуда это барство, это чистоплюйство? «Мне не нравится говорящий клоп, давайте спишем говорящего клопа...». А вы, товарищ Хлебовводов? Да, я вижу, вы – сильно пострадавший от клопов человек. Я глубоко сочувствую вашим переживаниям, но я спрашиваю: может быть, вы уже нашли средство борьбы с кровососущими паразитами? С этими пиратами постелей, с этими гангстерами народных снов, с этими вампирами запущенных гостиниц?..

– Вот я и говорю, – сказал Хлебовводов. – Задавить его без разговоров... А то акты какие-то...

– Не-е-ет, товарищ Хлебовводов! Не позволим! Не позволим, пользуясь болезнью научного консультанта, вводить здесь и применять методы грубо-административные вместо методов административно-научных. Не позволим вновь торжествовать волюнтаризму и субъективизму! Неужели вы не понимаете, что присутствующий здесь гражданин Говорун является собой единственную пока возможность начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев? Было время, когда некоторый доморощенный клопиний талант повернул клопов-вегетарианцев к их нынешнему отвратительному модус вивенди. Так неужели же наш современный, образованный, обогащенный всей мощью теории и практики клоп не способен совершить обратного поворота? Снабженный тщательно составленными инструкциями, вооруженный новейшими достижениями педагогики, ощущая за собой поддержку всего прогрессивного человечества, разве не станет он архимедовым рычагом, с помощью коего мы окажемся способны повернуть историю клопов вспять, к лесам и травам, к лону природы, к чистому, простому и невинному существованию? Я прошу Комиссию принять к сведению все эти соображения и тщательно их обдумать.

Я сел. Эдик, бледный от восторга, показал мне большой палец. Говорун стоял на коленях и, казалось, горячо молился. Что касается Тройки, то, пораженная моим красноречием, она безмолвствовала. Фарфуркис глядел на меня с радостным изумлением. Видно было, что он считает мою идею гениальной, и сейчас лихорадочно обдумывает возможные пути захвата командных высот в этом новом, неслыханном мероприятии. Уже виделось ему, как он составляет обширную, детальнейшую инструкцию, уже носились перед его мысленным взором бесчисленные главы, параграфы и приложения, уже в воображении своем он консультировал Говоруна, организовывал курсы русского языка для особо одаренных клопов, назначался главой Государственного комитета пропаганды вегетарианства среди кровососущих, расширяющаяся деятель-

ность которого охватит также комаров и мошку, мокреца, слепней, оводов и мухи-зубатку...

— Травяные клопы тоже, я вам скажу, не сахар... — проворчал консервативный Хлебовводов. Он уже сдался, но не хотел признаться в этом, и цеплялся к частностям.

Я выразительно пожал плечами.

— Товарищ Хлебовводов мыслит узкоместными категориями, — возразил Фарфуркис, сразу вырываясь на полкорпуса вперед.

— Ничего не узкоместными, — возразил Хлебовводов. — Очень даже широкими... этими... как их... Воняют же! Но я понимаю, что это можно подработать в процессе. Я к тому, что можно ли на этого положиться... на стрикулиста... Несерьезный он какой-то... и заслуг за ним никаких не видно...

— Есть предложение, — сказал Эдик. — Может быть, создать подкомиссию для изучения этого вопроса во главе с товарищем Фарфуркисом. Рабочим заместителем товарища Фарфуркиса я бы предложил товарища Привалова, человека незаинтересованного и объективного...

Тут Лавр Федотович вдруг поднялся. Простым глазом было видно, что он здорово сдал после вчерашнего. Обыкновенная человеческая слабость светилась сквозь обычно каменные черты его. Да, гранит дал трещину, бастion несколько покосился, но все-таки, несмотря ни на что, стоял могучий и непреклонный.

— Народ... — произнес бастion, болезненно заводя глаза. — Народ не любит замыкаться в четырех стенах. Народу нужен простор. Народу нужны поля и реки. Народу нужны ветер и солнце...

— И луна! — добавил Хлебовводов, преданно глядя на бастion снизу вверх.

— И луна, — подтвердил Лавр Федотович. — Здоровье народа надо беречь, оно принадлежит народу. Народу нужна работа на открытом воздухе. Народу душно без открытого воздуха...

Мы еще ничего не понимали, даже Хлебовводов еще терялся в догадках, а проницательный Фарфуркис уже собирал бумаги, упаковывал записную книжку и что-то шептал коменданту. Комендант кивнул и почтительно-деловито осведомился:

— Народ любит ходить пешком или ездить на машине?

— Народ... — провозгласил Лавр Федотович, — народ предпочитает ездить в открытом автомобиле. Выражая общее мнение, я предлагаю настояще заседание перенести, а сейчас провести намеченное на вечер выездное заседание по соответствующим делам. Товарищ Зубо, обеспечьте, — с этими словами Лавр Федотович грузно опустился в кресло.

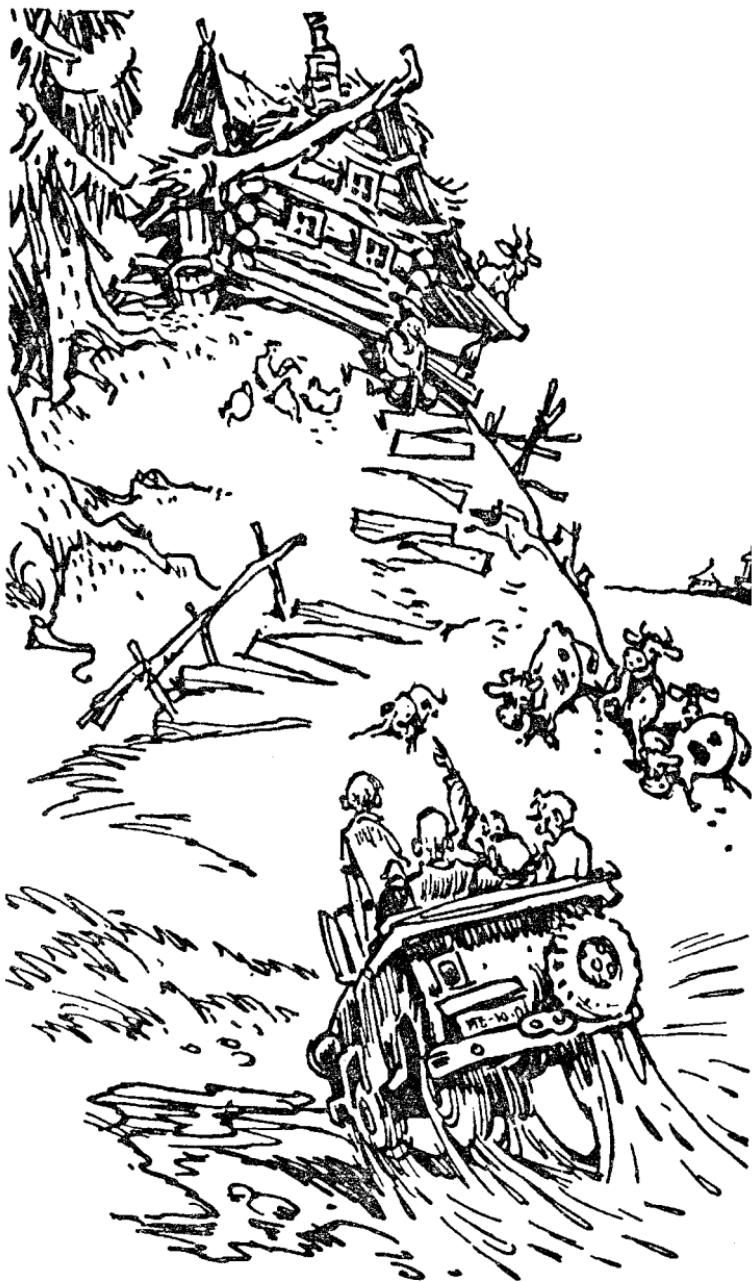
Все засуетились. Комендант бросился вызывать машину. Хлебовводов отпаивал Лавра Федотовича боржомом, а Фарфуркис забрался в

сейф и принял искать соответствующие дела. Я под шумок схватил Говоруна за шиворот и коленом вышиб его вон. Говорун не сопротивлялся: пережитое потрясло его и надолго выбило из колеи. Он даже говорить не мог и только, что-то бессвязно бормоча, пытался целовать мне руки.

Мы с Эдиком спустились на улицу. Эдик глядел на меня с восхищением и говорил, что у меня настоящий административный талант, что он, Эдик, так бы не мог, что есть, все-таки, значит, методы борьбы, достаточно эффективные и, в то же время, достаточно далекие от уголовщины. Я в ответ втолковывал ему, что все это не так просто, что всем талантам моим грош цена: будь здесь Выбегалло и не страдай так Лавр Федотович от последствий гастрономической дискуссии, Клопа бы нашего обязательно припечатали. Счастливый случай всех нас спас.

Тем временем был подан автомобиль. Лавра Федотовича вывели под руки и бережно погрузили на переднее сиденье. Хлебовводов, Фарфуркис и комендант, толкаясь и огрызаясь друг на друга, оккупировали заднее сиденье. «А машина-то пятиместная, – озабоченно сказал Эдик. Нас не возьмут». Я ответил, что не вижу в этом ничего плохого. На выездной сессии будут рассматриваться дела, не имеющие к нам никакого отношения, а мы пока сможем пойти и выкупаться. Эдик сказал, что он не пойдет купаться. Он невидимо последует за автомобилем и проведет сегодня еще один сеанс позитивной реморализации. «Нельзя терять надежду, – сказал он. – Пока имеешь дело с человеческими существами, терять надежду нельзя».

Тут в автомобиле поднялся крик. Сцепились Фарфуркис с Хлебовводовым. Хлебовводов, которому от запаха бензина стало хуже, требовал немедленного движения вперед. При этом он кричал, что народ любит быструю езду. Фарфуркис же, чувствуя себя единственным в машине деловым человеком, ответственным за все, доказывал, что присутствие постороннего и непроверенного шоferа превращает закрытое заседание в открытое и что, кроме того, согласно инструкции, заседания в отсутствие научного консультанта проводиться не могут, а если и проводятся, то в дальнейшем признаются недействительными. «Затруднение? – осведомился Лавр Федотович слегка окрепшим голосом. – Товарищ Фарфуркис, устраните». Ободренный Фарфуркис с азартом принял устранять. Я не успел и глазом моргнуть, как меня кооптировали в качестве ВРИО научного консультанта, шоfer был отпущен, а я оказался на его месте. «Давай, давай, – шептал мне на ухо невидимый Эдик. – Ты мне еще, может быть, поможешь...». Я нервничал и озирался. Вокруг машины собралась толпа ребятишек. Одно дело – сидеть со всей этой компанией в закрытом помещении, и совсем другое – выставляться на всеобщее обозрение. Ребятишки откровенно глазели. Между



тем, неугомонный Фарфуркис вспомнил про полковника, забытого на верху, и вновь сцепился с Хлебовводовым.

— Да зачем нам этот старый хрен? — стонал Хлебовводов.

— Неудобно, неудобно, — говорил Фарфуркис. — Комендант, сбегайте.

— Да куда мы его посадим? — с надрывом спрашивал Хлебовводов. — В багажник, что ли, мы его посадим?

— Ничего, ничего, как-нибудь разместимся.

Я решил прекратить эту постыдную сцену.

— Напоминаю, — сказал я строго. — Согласно инструкции завода-изготовителя — машина пятиместная. Нарушения инструкции я не потерплю. Я из-за вашего полковника прокол в тексталон зарабатывать не намерен.

Комендант, уже высунувший было ногу наружу, втянул ее обратно.

— Ехать бы... — умирал Хлебовводов. — С ветерком бы...

— Гррм, — сказал Лавр Федотович. — Есть предложение ехать. Не дождаясь задержавшихся. Другие предложения есть?.. Шофер, поезжайте.

Я завел двигатель и стал осторожно разворачивать машину, пробираясь сквозь толпу ребятишек. Лавр Федотович совсем приободрился. Ласковое теплое солнце и свежий налетающий ветерок сотворили с ним маленькое чудо. Он даже впал в юмористическое настроение и позволил себе сказать каламбур про полковника: «Спал он, спал, а теперь вот все проспал». Я, наконец, развернулся, и мы покатили по улицам Нового Китея.

Первое время Фарфуркис страшно надоедал мне советами. То он советовал мне остановиться — там, где остановка была запрещена; то он советовал не гнать и помнить мне о ценности жизни Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я ехал быстрее, потому что встречный ветер недостаточно энергично овеял чело Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я не обращал внимания на сигналы светофоров, ибо это подрывает авторитет Тройки...

Однако, когда мы миновали белые китејградские «черемушки» и выехали за город, когда перед нами открылись зеленые луга, а вдали засинело озеро, когда машина запрыгала по щебенке с гребенкой, в машине наступила умиротворенная тишина. Все подставили лица встречному ветерку, все щурились на солнышко, всем было хорошо. Лавр Федотович закурил первую сегодня «Герцоговину Флор». Хлебовводов тихонько затянул какую-то ямщицкую песню, комендант подремывал, прижимая к груди папку с делами, и только Фарфуркис после короткой борьбы нашел в себе силы справиться с изнеженностью. Развернув карту Китејграда с окрестностями, он деятельно наметил маршрут, который, впрочем, оказался никуда не годным, потому что Фарфуркис за-

был, что у нас автомобиль, а не вертолет. Я предложил ему свой вариант: озеро – болото – холм. На озере мы должны были рассмотреть дело плезиозавра; на болоте – рационализировать и утилизировать имеющее там место гуканье; а на холме нам предстояло обследовать так называемое заколдованное место.

Фарфуркис, к моему удивлению, не возражал. Выяснилось, что он полностью доверяет моей водительской интуиции, более того, он вообще всегда был высокого мнения о моих способностях. Ему будет очень приятно работать со мной в клопиной подкомиссии, он давно меня держит на примете, он вообще всегда держит на примете нашу чудесную талантливую молодежь. Он сердцем всегда с молодежью, но он не закрывает глаза на ее существенные недостатки. Нынешняя молодежь мало борется, мало уделяет внимание борьбе, нет у нее стремления бороться больше, бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной, первоочередной задачей всей борьбы, а ведь если она, наша чудесная, талантливая молодежь, и дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется немного шансов стать настоящей борющейся молодежью, всегда занятой борьбой за то, чтобы сделаться настоящим борцом, который борется за то, чтобы борьба...

Плезиозавра мы увидели еще издали – нечто похожее на ручку от зонтика торчало из воды в двух километрах от берега. Я подвел машину к пляжу и остановился. Фарфуркис все еще боролся с грамматикой во имя борьбы за борющуюся молодежь, а Хлебовводов уже стремительно выбросился из машины и распахнул дверцу рядом с Лавром Федотовичем. Однако, Лавр Федотович выходить не пожелал. Он благосклонно посмотрел на Хлебовводова и сообщил, что в озере – вода, что заседание выездной сессии Тройки он объявляет открытым и что слово предоставляется товарищу Зубо.

Комиссия расположилась на травке рядом с автомобилем, настроение у всех было какое-то нерабочее. Фарфуркис расстегнулся, а я и во все снял рубашку, чтобы не терять случая подзагореть. Комендант, по минутно нарушая инструкцию, принялся отбарабанивать анкету плезиозавра по кличке Лизавета, никто его не слушал, Лавр Федотович задумчиво разглядывал озеро перед собой, словно бы прикидывая, нужно ли оно народу, а Хлебовводов вполголоса рассказывал Фарфуркису, как он работал председателем колхоза имени Театра Музкомедии и получал по пятнадцать поросят от свиноматки. В двадцати шагах от нас шелестели осы, на дальних лугах бродили коровы, и уклон в сельскохозяйственную тематику представлялся вполне извинительным.

Когда комендант зачитал краткую сущность плезиозавра, Хлебовводов сделал ценное замечание: ящур – опасная болезнь скота, заявил он, и можно только удивляться, что здесь он плавает на свободе. Некоторое

время мы с Фарфуркисом лениво втолковывали ему, что ящур – это одно, а ящер – это совсем другое. Хлебовводов, однако, стоял на своем, ссылаясь на журнал «Огонек», где совершенно точно, и неоднократно упоминался какой-то ископаемый ящур. «Вы меня не событе, – говорил он. – Я человек начитанный, хотя и без высшего образования». Фарфуркис, не чувствуя себя достаточно компетентным, отступил, я же продолжал спорить, пока Хлебовводов не предложил позвать сюда плезиозавра и спросить его самого. «Он говорить не умеет», – сообщил комендант, присевший рядом с нами на kortочки. «Ничего, разберемся, – возразил Хлебовводов. – Все равно же полагается его вызывать, так хоть польза какая-то будет».

– Гррм, – сказал Лавр Федотович. – Вопросы к докладчику имеются? Нет вопросов? Вызовите дело, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и заметался по берегу. Сначала он сорванным голосом кричал: «Лизка! Лизка!». Но, поскольку плезиозавр, по-видимому, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и принялся размахивать им, как потерпевший кораблекрушение при виде паруса на горизонте. Лизка не подавала никаких признаков жизни. «Спит, – с отчаянием сказал комендант. – Окуней наглоталась и спит...». Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, высунувшись через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит, – нечего аккумуляторы подсаживать, – дело казалось мне безнадежным.

– Товарищ Зубо, – не опуская бинокля, произнес Лавр Федотович. – Почему вызванное дело не реагирует?

Комендант побледнел и не нашелся, что сказать.

– Хромает у вас в хозяйстве дисциплинка, – подал голос Хлебовводов. – Подраспустили подчиненных.

Комендант рванул на себе рубашку и разинул безмолвный рот.

– Ситуация чревата подрывом авторитета, – сокрущенно заметил Фарфуркис. – Спать нужно ночью, а днем нужно работать.

Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, иного выхода у него не было. Хлебовводов и Фарфуркис висели над ним, сверкая осколенными клыками, а Лавр Федотович уже давно начал медленно поворачивать голову в его сторону. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но это ему все равно. «Ничего, – кровожадно сказал Хлебовводов. – На дутом авторитете выплывет». Я осторожно высказал сомнение в целесообразности предпринимаемых действий. «Комендант, несомненно, утонет, – сказал я, – и есть ли необходимость в том, чтобы Тройка брала на себя не свойственные ей функции, подменяя собою станцию спасения на водах. Кроме того, – напомнил я, – в случае утонутия коменданта, задача все равно

останется невыполненной, и логика событий подсказывает нам, что тогда плыть придется либо Фарфуркису, либо Хлебовводову».

Фарфуркис возразил на это, что вызов дела является функцией и прерогативой представителя местной администрации, а за отсутствием такового – функцией научного консультанта, так что мои слова он рассматривает как выпад и как попытку валить с большой головы на здоровую. Я заявил в ответ, что здесь и сейчас я выступаю не столько в качестве научного консультанта, сколько в качестве водителя казенного автомобиля, от коего не имею права удаляться далее, чем на двадцать шагов... «Вам следовало бы помнить приложение к Правилам движения по улицам и дорогам, – заметил я укоризненно, ничем особенно не рискуя. – А именно – параграф двадцать первый такового».

Наступило тягостное молчание. Черная ручка от зонтика по-прежнему неподвижно маячила на горизонте. Все с трепетом следили, как медленно, словно трехствольная орудийная башня линейного крейсера, поворачивается в нашу сторону голова Лавра Федотовича. Все мы были на одном плоту, и никому из нас не хотелось залпа.

– Господом нашим... – не выдержал комендант. Он уже стоял на коленях в одном белье. – Спасителем Иисусом Христом!.. Не боюсь я плыть и утонуть не боюсь!.. Но ей-то что, Лизке-то... У ей хайло, что твои ворота!.. Глотка у ей, что твое метро! Она не меня, она корову может сглотнуть, как семечку!.. Спросонья-то...

– В конце концов, – несколько нервничая, произнес Фарфуркис, – зачем нам ее звать? В конце концов, и отсюда видно, что никакого интереса она не представляет. Я предлагаю ее рационализировать и за недобность списать...

– Списать ее, заразу! – радостно подхватил Хлебовводов. – Корову она может сглотнуть, подумаешь! Тоже мне, сенсация! Корову и я могу сглотнуть, а ты вот от этой коровы добейся... пятнадцать поросят, понимаешь, добейся, вот это работа!

Лавр Федотович, наконец, развернул главный калибр. Однако, вместо дикой орды враждующих индивидуумов, вместо гнезда кипения противоречивых страстей, вместо недисциплинированных, подрывающих авторитет Тройки пауков в банке, он обнаружил перед собою, в перекрестьи прицела, сплоченный рабочий коллектив, исполненных энтузиазма и делового рвения сотрудников, горящих единственным стремлением: списать заразу Лизку и тут же перейти к следующему вопросу. Залпа не последовало. Орудийная башня развернулась в обратном направлении, и чудовищные жерла отыскали на горизонте ничего не подозревающую ручку от зонтика.

– Народ... – донеслось из боевой рубки. – Народ смотрит вдаль. Эти плезиозавры народу...



— Не нужны! — выпалил Хлебовводов из малого калибра — и промазал.

Выяснилось, что эти плезиозавры нужны народу позарез, что отдельные члены Тройки утратили чувство перспективы, что отдельные коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят, что отдельные представители нашей славной научной интеллигенции обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло и что, наконец, дело номер восемь впредь до выяснения должно быть отложено и пересмотрено позже — в один из зимних месяцев, когда до него можно будет добраться по льду. Других предложений не было, вопросов к докладчику — тем более. На том и порешили.

— Перейдем к следующему вопросу, — объявил Лавр Федотович, и действительные члены Тройки, толкаясь и выдирая друг у друга клочья шерсти, устремились к заднему сиденью. Комендант торопливо одевался, бормоча: «Я же тебе это припомню... Лучшие же куски отдавал... Как дочь родную... Скотина водоплавающая...».

Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, ведущей вдоль берега озера. Дорога была страшненькая, и я возносил хвалу небесам, что лето стоит сухое, иначе тут бы нам был и конец. Однако, хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к болоту дорога все чаще обнаруживала тенденцию к исчезновению и к превращению в две поросшие осокой сырье рытвины. Я врубил демультиплексор и прикидывал физические возможности своих спутников. Было совершенно ясно, что от толстого, дряблого Фарфуркиса проку будет немного. Хлебовводов выглядел мужиком жилистым, но непонятно было, оправился ли он в достаточной степени после желудочного удара. Лавр же Федотович вряд ли даже соизволит вылезти из машины. Так что действовать в случае чего придется мне с комендантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради того только, чтобы вытолкнуть из грязи девяностокилограммовую машину с грузным Вунюковым на борту.

Пессимистические размышления мои были прерваны появлением впереди гигантской черной лужи. Это не была патриархальная буколическая лужа типа миргородской, всеми изъезженная и ко всему притерпевшаяся. Это не была также и мутная глинистая урбанистическая лужа, лениво и злорадно расплывшаяся среди неубранных куч строительного мусора. Это было спокойное и хладнокровное, зловещее в своем спокойствии мрачное образование, небрежно, но основательно расположившееся между двумя рядами хилой осиновой поросли, — загадочное, словно глаз Сфинкса, коварное, словно царица Тамара, наводящее на кошмарные мысли о бездне, набитой затонувшими грузовиками. Я резко затормозил и сказал:

– Все, приехали.

– Грррм, – произнес Лавр Федотович. – Товарищ Зубо, дождите дело.

В наступающей тишине было слышно, как колеблется комендант. До болота было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами.

– Дело номер тридцать восьмое, – прочитал он. – Фамилия: прочерк. Имя; прочерк, Отчество: прочерк. Название: Коровье Вязло...

– Минуточку! – прервал его Фарфуркис встревоженно. – Слушайте!

Он поднял палец и застыл. Мы прислушались и услышали. Где-то далеко-далеко победно запели серебряные трубы. Множественный звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался. Кровь застыла у нас в жилах. Это трубили комары, и притом не все, а пока только командиры рот или даже только командиры батальонов и выше. И таинственный внутренним взором зверя, попавшего в ловушку, мы увидели вокруг себя гектары и гектары топкой грязи поросшие редкой осокой, покрытые слежавшимися слоями прелых листьев, с торчащими гнильными сучьями, и все это под сенью болезненно тоящих осин, и на всех этих гектарах, на каждом квадратном сантиметре – отряды поджарых рыжеватых каннибалов» лютых, изголодавшихся, самоотверженных.

– Лавр Федотович! – пролепетал Хлебовводов. – Комары!

– Есть предложение! – нервно закричал Фарфуркис. – Отложить рассмотрение данного дела до октября... нет, до декабря месяца!

– Грррм, – произнес Лавр Федотович с удивлением. – Народ не понимает...

Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебовводов вззвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис отвел ему тем же. Лавр Федотович начал медленно и с изумлением поворачиваться, и тут свершилось невозможное: огромный рыжий пират четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и с ходу, не примериваясь, вонзил в него свою шпагу по самые глаза. Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясен, он не понимал, он не верил... И началось.

Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Федотович, а с заднего сиденья доносилась такая буря аплодисментов, словно разгоряченная компания уланов и лейб-гусаров предавалась там взаимооскорблению действием.

К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже распух. У меня было такое ощущение, что уши мои превратились в горячие оладьи, щеки – в каравай, а на лбу взошли многочисленные рога. «Вперед! – кричали на меня со всех сторон. – Назад! Газу! Да подтолкните же его!



Я вас под суд отдам, товарищ Привалов!». Двигатель ревел, ключья грязи летели во все стороны, машина прыгала, как кенгуру, но скорость была мала, отвратительно мала, а наперерез с бесчисленных аэродромов снимались все новые и новые эскадрильи, эскадры, армады. Преимущество противника в воздухе было абсолютным. Все, кроме меня, остервенело занимались самокритикой, переходящей в самоистязание. Я же не мог оторвать рук от баранки, я не мог даже отбиваться ногами, у меня оставалось свободной только одна нога, и ею я бешено чесал все, до чего мог дотянуться.

Потом, наконец, мы вырвались из зарослей осинника обратно на берег озера. Дорога сделалась получше и шла в гору. В лицо мне ударили тугой ветер. Я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. Я чесался с упоением, я никак не мог перестать, а когда все-таки перестал, то обнаружил, что Тройка доедает коменданта. Комендант был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта, ему предъявили счет за каждую выпитую из членов Тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что оставалось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и думать, не могло уже, собственно, называться комендантом как таковым: две-три обглоданные кости, опустошенный взгляд и слабое бормотание: «Господом богом... Иисусом, Спасителем нашим...».

— Товарищ Зубо, — произнес наконец Лавр Федотович, — почему вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать.

Комендант принялся трясущимися руками собирать разбросанные по машине листки.

— Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности, — приказал Лавр Федотович.

Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом прочел:

— Обширное болото, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки.

— Ну? — сказал Хлебовводов. — Дальше что?

Дальше ничего. Все.

— Как так — все? — плачуще возопил Хлебовводов. — Убили меня! Зарезали! И для ради чего? Звуки ахающие... Ты зачем нас сюда привезли, террорист? Ты это нас ухающие звуки слушать привезли? За что же мы кровь проливали? Ты посмотрите на меня — как я теперь в гостинице появлюсь? Ты же мой авторитет на всю жизнь подорвали! Я же тебя сгноя так, что от тебя ни аханья, ни уханья не останется!

— Грррм, — сказал Лавр Федотович, и Хлебовводов замолчал. Глаза его выкатились, он с видом тихого идиота медленно обводил дрожащим пальцем огромную красную припухлость у себя на лбу.

— Есть предложение, — продолжал Лавр Федотович. — Ввиду представления собой делом номер тридцать восемь под названием Коровье Вязло исключительной опасности для народа, подвергнуть названное дело высшей мере рационализации, а именно: признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а, следовательно, реально не существующим, и как таковое исключить навсегда из памяти народа, то есть, из географических и топографических карт.

Хлебовводов и Фарфуркис бешено захлопали в ладоши. Лавр Федотович извлек из-под сиденья свой портфель и положил его плашмя к себе на колени.

— Акт! — воззвал он.

На портфель лег акт о высшей мере.

— Подписи!!

На акт пали необходимые подписи.

— ПЕЧАТЬ!!!

Лязгнула дверца сейфа, волной накатила канцелярская затхлость, и перед Лавром Федотовичем возникла Большая Круглая Печать. Лавр Федотович взял ее обеими руками, занес над актом и с силой опустил. Мрачная тень прошла по небу, автомобиль слегка присел на рессорах. Лавр Федотович убрал портфель под сиденье и продолжал:

— Команданту Колонии товарищу Зубо за безответственное содержание в Колонии иррационального, трансцендентного, а, следовательно, реально не существующего болота Коровье Вязло, а также за необеспечение безопасности работы Тройки объявить строгий выговор, но без занесения. Есть еще предложения?

Слегка повредившийся от треволнений Хлебовводов внес предложение приговорить коменданта Зубо к расстрелу с конфискацией имущества и с поражением родственников в правах на двенадцать лет. Однако, Фарфуркис слабым голосом возразил, что такой меры социальной защиты Тройка применить не вправе, что у него, Фарфуркиса, есть сильное желание подать на коменданта в суд, но что в конечном счете он, Фарфуркис, полностью поддерживает Лавра Федотовича.

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Что у нас сегодня еще, товарищ Зубо?

— Заколдованное место, — убито сказал комендант. — Недалеко отсюда, километров пять.

— Комары? — осведомился Лавр Федотович.

— Христом богом... — сказал комендант. — Спасителем нашим... Нету их там. Муравьи разве что...

— Хорошо, — констатировал Лавр Федотович. — Осы? Пчелы? — продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную заботу о народе.

– Ни боже мой, – сказал комендант искренне.

Лавр Федотович долго молчал.

– Бешеные быки? – спросил он, наконец.

Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть и речи.

– А волки? – спросил Хлебовводов подозрительно.

Но в окрестностях не было и волков, а также медведей, о которых вовремя вспомнил Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованныму месту. Высшая мера уже оказала свое действие. На карте был Китежград, была река Китежа, было озеро Звериное, были какие-то Лопухи, болота же Коровье Вязло, которое распространялось раньше между озером Звериным и Лопухами, больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на старинных картах на месте Антарктики.

Мне было дано указание продолжать движение, и мы поехали. Мы миновали овсы, пробрались сквозь стадо коров, обогнули рощу Круглую, форсировали ручей Студеный и через полчаса оказались перед местом заколдованным.

Это был холм. С одной стороны он порос лесом. Вероятно, раньше здесь кругом стоял сплошной лес, тянувшийся до самого Китежграда, но его свели, и осталось только то, что было на холме. На самой вершине виднелась почерневшая избушка, по склону перед нами бродили две коровы с теленком под охраной большой понурой собаки. Возле крыльца копались куры, а на крыше стояла коза.

– Что же вы остановились? – спросил меня Фарфуркис. – Надо же подъехать, не пешком же нам...

– И молоко у них, по всему видать, есть... – добавил Хлебовводов. – Я бы молочка сейчас выпил. Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молочка выпить. Ехай, ехай, чего стали!

Я попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозмож но, но объяснения мои были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотовича, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молочка, такими стенаниями Фарфуркиса: «Сметана! С погреба!», что я не стал спорить. Мне и самому было любопытно еще раз проехаться по этой дороге.

Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму. Спидометр принял отсчитывать километры, шины шуршали по колючей травке. Лавр Федотович неукоснительно глядел вперед, а заднее сиденье в предвкушении молока и сметаны затягивало спор, чем на болотах питаются комары. Хлебовводов вынес из личного опыта суждение, что комары питаются исключительно ответственными работниками, совер-

шающими инспекционные поездки. Фарфуркис, выдавая желаемое за действительное, уверял, что комары живут самоедством. Комендант же кротко, но настойчиво лепетал о божественном, о какой-то божьей росе и жареных акридах. Так мы ехали минут двадцать. Когда спидометр показал, что пройдено пятнадцать километров, Хлебовводов спохватился.

— Что же это получается? — сказал он. — Едем-едем, а холм где стоял, там и стоит... Поднажмите, товарищ водитель, что это вы, браток?

— Не доехать нам до холма, — кротко сказал комендант. — Он же заколдованный, не доехать до него и не дойти... Только бензин весь даром сожжем.

После этого все замолчали, и на спидометре намоталось еще семь километров. Холм по-прежнему не приблизился ни на метр. Коровы, привлеченные шумом мотора, сначала некоторое время глядели в нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в траву. На заднем сиденьи нарастило возмущение. Хлебовводов и Фарфуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зловещими. «Вредительство», — говорил Хлебовводов. «Саботаж, — возражал Фарфуркис. — Но — злостный!». Потом они перешли на шепот, и до меня доносилось только: «...на колодках... ну да, колеса крутятся, а машина стоит... Комендант?... Может быть, и ВРИО консультанта... бензин... подрыв экономики... потом машину спишут с большим пробегом, а она новенькая...». Я не обращал внимания на этих зловещих попугаев, но потом вдруг хлопнула дверца и ужасным, стремительно удаляющимся голосом заорал Хлебовводов. Я изо всех сил ударил по тормозам. Лавр Федотович, продолжая движение, с деревянным стуком, не меняя осанки, влип в ветровое стекло. У меня в глазах потемнело от удара. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебовводова, который все еще катился вслед за нами, беспорядочно размахивая конечностями.

— Затруднение? — осведомился Лавр Федотович обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара. — Товарищ Хлебовводов, устраните.

Мы устраивали затруднение довольно долго. Пришлось сходить за Хлебовводовым, который лежал метрах в пятидесяти позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре: будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решил выйти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был буквально поражен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом приволокли его к машине, положили у заднего колеса так, чтобы он самолично убедился в

своем заблуждении, а сами отправились на помочь Фарфуркису, который в панике искал и никак не мог найти свои очки и верхнюю челость. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди.

Затруднение было полностью устранено, повреждения Хлебовводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только теперь осознав, что парного молока нет, не будет и быть не может, внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а приступить к нашим прямым обязанностям.

— Товарищ Зубо, — произнес он. — Доложите дело.

У дела двадцать девятого фамилии, имени и отчества, как и следовало ожидать, не оказалось. Оказалось только условное наименование «Заколдуй». Год рождения его терялся в глубине веков, место рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. По национальности Заколдуй был русский, образования не имел, иностранных языков не ведал, профессия у него была — холм, а место работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми выше координатами. За границей Заколдуй сроду не бывал, ближайшими родственником его являлась Мать — Сыра Земля, адрес же постоянного местожительства определялся все теми же координатами и с той же точностью. Анкета произвела на Хлебовводова благоприятнейшее впечатление. Хлебовводов сказал, что будь он сейчас, как некогда, председателем правления Всероссийского хорового общества, он бы такого товарища утвердил бы в любой должности с закрытыми глазами. Что же касается краткой сущности необъясненности, то Выбегалло, не мудрствуя лукаво, выразил ее предельно кратко: «Во-первых, не проехать, во-вторых, не пройти».

Комендант сиял. Дело уверенно шло на рационализацию. Хлебовводов был доволен анкетой. Фарфуркис восхищался необъясненностью, с одной стороны, очевидной, а с другой — ничем не угрожающей народу, да и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки.

Но тут дверь избушки растворилась, и на крыльце выбрался, опираясь на палочку, старый человек в валенках и длинной подпоясанной рубахе до колен. Он потоптался на порожке, посмотрел из-под руки на солнце, махнул рукой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся на ступеньку.

— Свидетель! — сказал Фарфуркис. — А не вызвать ли нам свидетеля?

— Так что ж — свидетель... — упавшим голосом сказал комендант. — Разве чего неясно? Ежели вопросы есть, то я могу...

— Нет! — сказал Фарфуркис, с подозрением глядя на него. — Нет, зачем же вы? Вы вон где живете, а он — здешний.

— Вызвать, вызвать! — сказал Хлебовводов. — Пусть молока принесет.

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, вызовите свидетеля по делу номер двадцать девять.

— Эх! — воскликнул комендант, удариивши соломенной шляпой о землю. Дело рушилось на глазах. — Да если бы он мог сюда прийти, он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении! Не выйти ему оттуда! Как он там застрял, так он там и остался...

И в полном отчаянии, под пристальными подозрительными взглядаами Тройки, предчувствуя новые неприятности и ставши от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам китежградское предание о заколдунском леснике Феофиле. Как жил он себе и не тужил в своей сторожке с женой, — молодой тогда еще совсем был, здоровенный; как ударила однажды в холм зеленая молния, и начались страшные происшествия. Жена Феофилова как раз в город уходила; вернулась — не может взойти на холм, до дому добраться. Она опять в город, побежала в слезах к попу. Поп набрал святой воды в ведро и пошел холм кропить. Идет он, идет, не дойти до холма, да и только. Брызгал он этой святой водой направо, налево, молитвы возносил — не помогает. А поп оказался в вере слаб, взял и разуверился. Расстригся, ренегат, и пошел в атеисты. Это уже бунт. Приехал урядник, видит — на холме Феофил. Спервоначalu грозил Феофилу, звал, ругался по-черному, потом принялся Феофила шкаликом приманивать. Мол, увидит шкалик Феофил и обязательно к нему прорвется, а тут уж его можно будет хватать и вязать. И верно, рвался Феофил. Двое суток к шкалику с холма без передышки бежал — нет, не добежать. Так он там и остался. Он — там, жена — здесь. Сначала к нему приходила, кричали они друг другу, потом надоело ей, перестала ходить. Феофил сначала тоже очень оттуда рвался. Говорят, видели, как он свинью зарезал, солониной запасся, чистое белье увязал и пошел с холма путешествовать. Хлеба, говорят, взял на дорогу два каравая, сухарей. Долго шел с холма, полгорода сбежалось глядеть, как он идет. И все по низу холма, все по низу. Смех и грех. Ну, потом, конечно, успокоился, смирился, жить-то надо. Так с тех пор и живет. Ничего, привык.

Выслушав эту страшную историю, Хлебовводов вдруг сделал открытие: советских документов у Феофила нет, переписи он избежал, в выборах участия не принимал, воспитательной работе не подвергался и вполне возможно, что остался кулаком-мироедом.

— Две коровы у него, — говорил Хлебовводов, — и теленок вот, коза. А налогов не платит... — глаза его вдруг расширились. — Раз теленок есть, значит, и бык у него где-то там спрятан!

— Есть бык, это точно, — уныло признался комендант. — Он у него, верно, на той стороне сейчас пасется.

— Ну, браток, и порядочки у тебя, — зловеще сказал Хлебовводов. — Знал я, чувствовал, что хапуга ты и очковтиратель, но такого даже от тебя не ожидал. Чтобы ты подкулачник, чтобы ты кулака покрывали, мироеда...

Комендант набрал в грудь побольше воздуха и заныл:

— Святой девой Марии..., Двенадцатью первоапостолами... На Евангелии клянусь и на конституции...

— Внимание! — прошептал невидимый Эдик.

Лесник Феофил вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел в нашу сторону. Затем он встал, отбросил клюку и начал неторопливо спускаться с холма, оскальзываясь в высокой траве. Белая грязноватая коза следовала за ним, как собачонка. Феофил подошел к нам, опустился в вольтеровское кресло, задумчиво подпер подбородок костлявой коричневой рукой, а коза села рядом и уставилась на нас желтыми бесовскими глазами.

— Люди как люди, — сказал Феофил. — Удивительно...

Коза отбросила за спину тяжелую золотую косу, обвела нас взглядом и выбрала Хлебовводова.

— Это вот Хлебовводов, — сказал она. — Рудольф Архипович. Родился в девятьсот десятом в Хохломе, имя родители почерпнули из велико-светского романа, по образованию — школьник седьмого класса, происхождения родителей стыдится, иностранных языков изучал много, но не знает ни одного...

— Иес! — подвердил Хлебовводов, стыдливо хихикая. — Натюрихи-яволь!...

— Профессии как таковой не имеет — руководитель. В настоящее время — руководитель-общественник. За границей был: в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии... и так далее, всего в сорока двух странах. Везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов.

— Так, — сказал Феофил. — Можете что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович?

— Никак нет! — сказал Хлебовводов весело. — Разве что вот... орто... доро... орто-ксальный... не совсем ясно!

— Быть ортодоксальнее ортодоксов означает примерно следующее, — сказала коза. — Если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы готовы объявить войну всему, что за кордоном. Понятно?

— Так точна, — сказал Хлебовводов. — Иначе невозможно. Образование у нас больно маленькое. Иначе, того и гляди промахнешься.

— Крал? — небрежно спросил Феофил.

— Нет, — сказала коза. — Подбирал, что с возу упало.

— Убивал?

— Ну, что вы! — засмеялась коза. — Лично — никогда.

— Расскажите что-нибудь, — попросил Хлебовводова Феофил.

— Ошибки были, — быстро сказал Хлебовводов. — Люди не ангелы. И на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах, и то спотыкается. Кто не ошибается, то не ест... тот есть, не работает...

— Понял, понял, — сказал Феофил. — Будете еще ошибаться?

— Ни-ког-да! — твердо сказал Хлебовводов.

Феофил покивал.

— Что от него останется на земле? — спросил он козу.

— Дети, — сказал коза. — Двое законных, трое незаконных... Фамилия в телефонной книге... — прекрасное лицо ее напряглось, словно она всматривалась вдаль.

— Нет, больше ничего...

— А нам много и не надо, — хихикнул Хлебовводов. — Касательно же незаконных детей, то ведь это как получается? Едешь, бывало, в командировку...

— Благодарю вас, — сказал Феофил. Он посмотрел на Фарфуркиса. — А этот приятный мужчина?

— Это Фарфуркис, — сказал коза. — По имени и отчеству никогда и никем называем не был. Родился в девятьсот шестнадцатом в Таганроге, образование высшее, юридическое, читает по-английски со словарем. По профессии — лектор. Имеет степень кандидата исторических наук, тема диссертации: «Профсоюзная организация мыловаренного завода имени товарища Семенова в период 1934-1941 годов». За границей не был и не рвется. Отличительная черта характера — осторожность и предупредительность, иногда сопряженные с риском навлечь на себя недовольство начальства, но всегда рассчитанные на благодарность от начальства впоследствии...

— Это не совсем так, — мягко возразил Фарфуркис. — Вы несколько подменяете термины. Осторожность и предупредительность являются чертой моего характера безотносительно к начальству, я таков от природы, это у меня в хромосомах. Что же касается начальства, то такова уж моя обязанность — указывать вышестоящим юридические рамки их компетенции.

— А если они выходят за эти рамки? — спросил Феофил.

— Видите ли, — сказал Фарфуркис, — чувствуется, что вы не юрист. Нет ничего более гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки. Их можно указать при необходимости, но их нельзя перейти.

— Как вы насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил.

— Боюсь, что этот термин несколько устарел, — сказал Фарфуркис. — Мы им не пользуемся.

— Как у него насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил козу.

— Никогда, — сказала коза. — Он всецца свято верит в то, о чем свидетельствует.

— Действительно, что такое ложь? — сказал Фарфуркис. — Ложь — это отрицание или искажение факта. Но что есть факт? Можно ли вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действительности говорить о факте? Факт есть явление или деяние, засвидетельствованное очевидцами? Однако, очевидцы могут быть пристрастны, корыстны или просто невежественны... Факт есть деяние или явление, засвидетельствованное в документах? Но документы могут быть подделаны или сфабрикованы... Наконец, факт есть деяние или явление, фиксируемое лично мною. Однако, мои чувства могут быть притуплены или даже вовсе обмануты привходящими обстоятельствами. Таким образом, оказывается, что факт как таковой есть нечто весьма эфемерное, расплывчатое, недостоверное, и возникает естественная потребность вообще отказаться от такого понятия. Но в этом случае ложь и правда автоматически становятся первопонятиями, неопределимыми через какие бы то ни было более общие категории... Существуют Большая Правда и антипод ее, Большая Ложь. Большая Правда так велика и истинность ее так очевидна всякому нормальному человеку, каким являюсь и я, что опровергать или искажать ее, то есть лгать, становится совершенно бессмысленно. Вот почему я никовда не лгу и, естественно, никогда не лжесвидетельствую.

— Тонко, — сказал Феофил. — Очень тонко... Конечно, после Фарфуркиса останется эта его философия факта?

— Нет, — сказала коза. — То есть, философия останется, но Фарфуркис тут ни при чем. Это не он ее придумал. Он вообще ничего не придумал, кроме своей диссертации, так что останется от него только эта диссертация, как образец сочинений такого рода.

Феофил задумался. Коза сидела у его ног на скамеечке и расчесывала волосы, как Лорелея. Мы встретились с нею глазами, и она мне улыбнулась не без кокетства. Очень, очень милая была козочка. Было в ней что-то от моей Стеллочки, и мне ужасно захотелось домой.

— Правильно ли я понял, — сказал Фарфуркис, обращаясь к Феофилу, — что все кончено, и можем продолжать свои занятия?

— Еще нет, — ответил Феофил, очнувшись от задумчивости. — Я хотел бы еще задать несколько вопросов вот этому гражданину.

— Как?! — вскричал потрясенный Фарфуркис. — Лавру Федотовичу?

— Народ... — проговорил Лавр Федотович, глядя куда-то в бинокль.

— Вопросы Лавру Федотовичу?!.. — бормотал Фарфуркис, находясь в состоянии гротеска.

— Да, — подтвердила коза. — Вунюкову Лавру Федотовичу, год рождения...

— Да что же это такое?! — возопил в отчаянии Фарфуркис. — Товарищи! Да куда это мы опять заехали? Ну, что это такое? Неприлично же...

— Правильно, — сказал Хлебовводов. — Не наше это дело. Пускай милиция разбирается.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Другие предложения есть? Вопросы к докладчику есть? Выражая общее мнение, предлагаю дело номер двадцать девять рационализировать в качестве необъясненного явления, представляющего интерес для Министерства пищевой промышленности, Министерства финансов и Министерства охраны общественного порядка. В целях первичной утилизации предлагаю дело номер двадцать девять под наименованием «Заколдуй» передать в прокуратуру Китежградского района.

Я посмотрел на вершину холма. Лесник Феофил, тяжело опираясь на клюку, стоял на своем крылечке, из-под ладони озирая окрестности. Коза бродила по огороду. Я, прощаясь, помахал им беретом. Горестный вздох невидимого Эдика прозвучал над моим ухом одновременно с тяжелым стуком Большой Круглой Печати.

Глава седьмая

Возвращаясь из исполнкомовского гаража в гостиницу, я потерял бдительность, и вновь был пойман старикашкой Эдельвейсом. Делать было нечего, и я холодно осведомился, выполнил ли он мое задание. К моему огромному изумлению, оказалось, что да. Оказалось, что все рекомендованные книжки в количестве пяти он прочел от доски до доски и вырубил наизусть: бывают такие дотошные старички, усердные не по разуму. Я не поверил, однако, он шпарил по памяти целые страницы с любого места слева направо, справа налево и даже сзаду наперед. При этом сразу же было видно, что он абсолютно ничего в прочитанном не понял и никогда не поймет. Воспользовавшись моим естественным замешательством, он объявил, что теорией он теперь овладел, возвращаться к ней больше не намерен, а намерен он возвратиться к практике.

В отчаянии и меланхолии я понес какую-то околосицу насчет самообучающихся машин. Он слушал, раскрыв рот, и впитывал каждый звук

— по-моему, он запоминал эту околосицу дословно. Затем меня осенило. Я спросил, достаточно ли сложной машиной является его агрегат. Он немедленно и страстно заверил меня, что агрегат невообразимо сложен, что иногда он, Эдельвейс, даже сам не понимает, что там где и к чему. «Прекрасно, — сказал я. — Хорошо известно, что всякая достаточно сложная электронная машина обладает способностью к самообучению и самовоспроизведству. Самовоспроизведение нам сейчас пока не нужно, а вот обучить эвристический агрегат Бабкина... тьфу... Машкина печатать тексты самостоятельно, без человека-посредника, мы обязаны в самые короткие сроки. Как это сделать? Мы применим хорошо известный и многократно испытанный метод длительной тренировки».

Преимущество этого метода в простоте. Берется достаточно обширный текст, скажем, «Жизнь животных» Брэма в пяти томах. Машкин садится за свой агрегат и начинает печатать слово за словом, строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор агрегата будет анализировать, думатель... — у ей внутре ведь есть, кажется, думатель?... — думатель будет думать, и, таким образом, агрегат станет у вас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он у вас начнет сам печатать. Вот вам рубль подъемных, и ступайте в библиотеку за Брэмом...

Расставшись с Эдельвейсом, я поднялся в наш номер. Здесь было не весело. На моей кровати сидел, подперев подбородок кулаками, взлохмаченный и небритый Витька. Лицо его выражало высшую степень недовольства миром вообще и своим положением в этом мире в особенностях. Эдик, обняв колено, сидел на подоконнике и грустно смотрел на улицу. Роман в кремовых брюках, кремовых же выходных штиблетах и в майке расхаживал по комнате и со стыдливой горечью говорил о том, что быть моральным и нравственным хорошо, а быть аморальным и безнравственным, наоборот, плохо, что в нашем обществе, оказывается, узаконена строгая моногамия, и любые попытки пойти против течения беспощадно караются общественным презрением, а то и в уголовном порядке; что любовь — это ни в какой мере не вздохи на скамейке и уж, во всяком случае, не прогулки при луне...

Я сел за стол, откупорил бутылку нарзана и спросил, о чём идет речь. Выяснилось, что товарищ Голый, администратор опытный, искушённый в принципе «доверяй, но проверяй», навел справки о гражданине Ойре-Ойре Р. П., и сведения о семейном положении этого гражданина оказались столь неблагоприятными, что товарищ Голый мнением положил: гражданина Ойру-Ойру Р. П. впредь на порог не пускать и от ухаживания и иных матrimоний в отношении товарища Ирины отстранить, а товарищу Ирине объявить выговор и предложить ей в дисциплинарном порядке забыть и думать об указанном гражданине Ойре-Ойре Р. П. Выяснилось далее, что к отстранению от матrimоний стар-

ший из магистров отнесся легко, если не сказать – легкомысленно, но мучается теперь вполне обоснованным страхом, что оргвыводы отстранением не закончились и весьма возможен неофициальный закулисныйговор между местной администрацией в лице товарища Голого и Тройкой в лице товарища Вунюкова о невидании товарищем Ойрой-Ойрой Р. П. спрута Спиридона как своих ушей без зеркала. Короче говоря, старший из магистров потерпел сокрушительное поражение и был отброшен на исходные рубежи.

Не менее решительное поражение, как оказалось, потерпел и грубый, темный, уголовный Виктор Корнеев. Ничего, кроме серых и черных слов, вытянуть из него не получалось, но сами за себя говорили, во-первых, знакомый бидон с Жидким пришельцем, стоящий в углу и готовый к возврату в комендантово лоно, а во-вторых, крайне угнетенное состояние духа темного и уголовного Корнеева, свидетельствующее о переживаемой им ужасной нравственной трагедии. Можно было только догадываться, что именно произошло, и мысленному взору являлись тогда великие: грустный Жиан Жиакомо, укоризненный Федор Симеонович и беспощадно-брэзгливый Кристобаль Хунта, произносящие перед поникшим Корнеевым какие-то волшебной силы слова, которые нам не дано было услышать (и слава богу!).

В отличие от двух своих собратьев-магистров Эдик Амперян не признавал себя потерпевшим окончательное поражение. Однако то, чему он оказался сегодня свидетелем – зверское избиение Клопа Говоруна, бездарное рассмотрение дела заразы Лизки и решительная расправа со злосчастным Коровьим Вязлом, – изрядно потрепало его оптимизм. Решение же по заколдованному месту, принятое немедленно после одного из лучших Эдиковых психологических этюдов, повергло его в панику. Следовало серьезно подумать о состоятельности методов позитивной реморализации в применении к неуязвимой Тройке.

Я закурил сигарету и, перестав сопротивляться, с головой погрузился в волны меланхолии, затопившей номер. Мне было совершенно ясно, что фортуна повернула к нам свою спину.

– Увы мне! – воскликнул вдруг Панруг, грустно звякнув бубенцами.
– Здесь печально, как в скорбном доме; здесь уныло, как на кладбище; а ведь вам еще неизвестна история блаженного Акакия! Вы еще не знаете, что Акакий был послушником у одного весьма сурового инока. Этот чернорясник всячески терзал Акакия словом и жезлом, дабы смирить его дух и умертвить его плоть. Однако, поскольку Акакий, существо крайне незлобивое, сносил ругань и побои без единого стона и жалобы, инок этот, как часто бывает с садистическими натурами, постепенно распался и незаметно для себя переменил цель своих жестоких упражнений. Теперь он припекал Акакия, стремясь изо всех сил спрово-

цировать беднягу на бунт или хотя бы на просьбу о пощаде. И не преуспел ведь! Плеть сломалась раньше духа, и Акакий в бозе почил. И вот, стоя над раскрытым гробом и глядя в мертвое лицо, разочарованный инок в злобе и раздражении думал: «Ушел-таки... Не повезло... Надо же, какая скотина попалась упрямая!». Как вдруг Акакий открыл один глаз и торжествующе показал иноку длинный язык...

— Чего надо? — хмуро спросил Панурга грубый Корнеев. — Чего вы здесь все время шляетесь?

— Витька, сказал я, — это же Панург...

— Ну и что? Шляются тут всякие шуты гороховые, уши развешивают по чужим домам... — он схватил оставленный Панургом колпак с бубенцами и вышвырнул в окно.

— У товарища Колуна тоже есть взрослая дочка, — задумчиво проговорил Роман, но Корнеев посмотрел на него с таким презрением, что старший из магистров только рукой махнул, сел и принялся стаскивать матримониальные кремовые брюки. Тогда Эдик решительно объявил, что нам остается одно: обратиться в высшие инстанции. Он, Эдик, не считает, правда, Тройку совершенно уж безнадежной, и будет продолжать свои попытки реморализации и далее, но толково составленная и разумно обоснованная докладная записка, по-деловому критикующая деятельность Тройки, будучи направлена по верному адресу, может вызвать желательные последствия. Эдику возразил Роман, прекрасно изучивший все такого рода входы и выходы. Он сказал, что никакая «телега» не способна вызвать желательные последствия, ибо попадет она либо к товарищу Голому, духовная близость которого к товарищу Вунюкову очевидна, либо к товарищу Колуну, для которого авторитет профессора Выбегаллы не менее весом, нежели авторитет магистра Амперяна, и который, как добросовестный человек, не согласится выступать арбитром в научном споре. Так что, в лучшем случае, «телега» ничего не изменит, а в худшем — настроит Тройку на мстительный образ мысли.

Это было похоже на правду, и Корнеев предложил нейтрализовать Выбегаллу в надежде, что новый научный консультант окажется порядочным человеком. Витькино предложение показалось нам неясным. Непонятно было, что Корнеев имеет в виду под словом «нейтрализовать», и почему эта нейтрализация приведет к появлению нового консультанта. Впрочем, Корнеев с возмущением и достаточно грубо отверг наши подозрения и сказал, что имеется в виду лишь кампания по систематическому спаиванию профессора, которую кто-нибудь из нас развернет. «Разика два приползет к заседанию на бровях, — сказал Витька, — его и попрут». Мы были разочарованы. В высшей степени сомнительным представлялось, чтобы кто-нибудь из нас в отдельности или даже



все мы вместе способны были бы за пиршественным столом поставить Выбегаллу на брови. Кишка у нас была тонка, слабы мы были в коленках, и не хватало у нас для такой кампании пороху.

Я предложил изготовить дубли всех экспонатов, в которых мы были заинтересованы, и подсунуть их Тройке вместо оригиналов. Мне казалось, что это позволит нам выиграть время, а там, глядишь, мы что-нибудь и придумаем. Мое предложение было отвергнуто – как паллиативное, оппортунистическое, дурно пахнущее и, к тому же, не сводящее дело с мертвкой точки. Тогда, с горя, я предложил создать дубликаты членов Тройки. Магистры удивились. Были заданы вопросы. Я не знал, зачем я это предложил. У меня не было никаких оснований предполагать, будто Шестерка будет лучше Тройки. Я сказал это просто так, от отчаяния, и Корнеев заставил меня признать, что хотя я и демонстрирую иногда случайные озарения, но в сущности своей я как был дураком, так и остался.

Тут в разговор снова вмешался Панург и внес свое предложение, сформулированное в виде притчи о том, как некий Таврий Юбеллий остановил на улице убийцу двухсот двадцати пяти сенаторов консула Фульвия, сделал ему выговор и, в знак протesta против позорной бойни, заколол себя кинжалом. «Некоторым кажется, что Таврий Юбеллий – герой, – заключил Панруг, – но на самом деле он тоже дурак: зачем убивать себя, честного человека, если имеешь реальную возможность заколоть убийцу двух сотен твоих друзей и знакомых?». Мы обдумали идею, заложенную в этой притче, и отказались от нее, причем Корнеев заявил, что довольно с нас уголовщины.

Источник идей иссякал на глазах. Последнюю попытку сделал Эдик, предложивший в знак протesta облить бензином и сжечь на глазах у Тройки своего дубля. Роман усомнился в эффективности такого жеста, и они быстренько проиграли идею на моделях. Естественно, Роман оказался прав. Когда модель дубля вспыхнула, модель Лавра Федотовича отреагировала на происшествие стандартным высказыванием: «Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните». И модель Хлебовводова, повалив на пол горящую модель дубля, затоптала ее ногами вместе с огнем. Больше идей не было, но зато позвонил телефон. Я снял трубку.

– Профессора Привалова Александра Ивановича можно позвать? – осведомился до тошноты знакомый дребезжащий голос.

– Да, – сказал я. – Слушаю вас, товарищ Машкин.

– Так что разрешите доложить, – сказал Эдельвейс, – что указания ваши я выполнил в точности. Две страницы уже перепечатал. Но вот беда какая... Не по-русски там идет... У меня в агрегате таких букв и нету. Иностранные, видать... Их печатать, или как?

— А! — сказал я, догадавшись, что речь идет о латинских наименованиях различных животных. — Обязательно печатать!

— А ежели в ем этих букв нету?

— Тогда срисовывайте рукой... Очень хорошо! Агрегат заодно и срисовывать научится... Действуйте, действуйте!

Я повесил трубку, и у меня даже на сердце потеплело, когда я представил себе, как настырный Эдельвейс, вместо того, чтобы путаться под ногами, клянчить приказы и мучить меня своей глупостью, мирно сидит себе за «ремингтоном», колотит по клавишам и, высунув язык, срисовывает латинские буквы. И еще долго будет колотить и срисовывать, а когда мы покончим с Брэмом, то возьмем сначала тридцать томов Чарльза Диккенса, а затем, помолясь, примемся за девяностотомное собрание сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями... Не-ет, Витька не совсем прав, не такой уж я дурак, мне только взяться, а там уж я...

Я торжествующе оглядел кислые физиономии друзей моих и только было собрался для поднятия духа рассказать им, как умные люди обходят вставшие у них на пути препятствия, возведенные тупостью и невежеством, — как вдруг неожиданное решение нашей проблемы выскочило у меня откуда-то из мозжечка и мгновенно завладело серым веществом. Несколько секунд я лихорадочно искал практическое решение осенившей меня светлой идеи, не нашел его и, не желая далее искать в одиночку, быстро и несвязно стал рассказывать, как я обуздал Эдельвейса.

Меня поняли, едва я упомянул о Брэме. Мне сказали, чтобы я замолчал. Мне сказали, чтобы я заткнулся и не мешал. Мне сказали, что я молодец, ясная голова, и мне тут же сказали, что будет лучше, если я уйду и перестану, как последний осел, путаться под ногами.

— Вечный двигатель! — провозгласил Роман. — Десять заявок. Лучше двадцать.

— Двадцать на двигатель первого рода, — подхватил Эдик, — столько же на двигатель второго рода...

— Разумный селенит, — сказал Витька. — Электронное оборудование для спиритического кабинета...

— Дух Наполеона! — вскричал Эдик. — Я знаю, в Колонии есть две штуки!

— По пять заявок на каждую...

— Духи — это блеск. Дух Македонского — раз, дух Бисмарка, дух Чингисхана...

— Дух Амперяна!

— Откуда ты его возьмешь?

— Сделаем!

— Правильно, сделаем! А что еще можно сделать?

– Подождите, – сказал Роман. – Сделать можно все, не пропадем. Но нужно десять тысяч заявок, как минимум, а это значит – десять тысяч авторитетных подписей, десять тысяч бланков, десять тысяч конвертов... Далее наша почта не справится, надо ей помочь...

– Ясно, – сказал Витька. – Я беру на себя заявки со всеми причиндалами. Ты, Роман, старый филателист, ты займись почтой. Эдик, ты самый эрудированный, садись и составляй список глупостей. Сашка... Черт, вот ведь бездарь, ничего не умеет... Ладно, бланки я тоже возьму на себя. А ты забирай палатки и катись в Тихую Заводь, потому что ночевать в этом номере сегодня будет невозможно. И чтобы к десяти часам была уха, были раки, костер и все прочее. Пшел!

Он выхватил волшебную палочку, и я торопливо пшел. Я закрыл за собой дверь как раз в тот момент, когда в стол ударила первая молния, Я шарахнулся. Голос Витьки рявкнул какое-то халдейское слово, и дверь исчезла. Предо мной была глухая стена.

Я завистливо вздохнул и, бормоча: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить», – направился в Колонию к Спиридону. В Спиридоно-вом павильоне хранилось наше туристическое снаряжение. Я послал Говоруна и Федю за хлебом и приправами, а сам принялся осматривать рыболовные снасти. Через час все было готово, и мы тронулись в путь.

Я тащил палатку, котелок, удочки и все, что было необходимо для ухи. Федя толкал перед собой тачку со Спиридоном и нес одеяла. Клоп ничего не нес – он шагал поодаль, засунув руки в карманы, и оскорбительно разглагольствовал насчет так называемых разумных существ, которые, несмотря на весь свой хваленый разум, шагу не могут ступить без продуктов питания. «А я вот все мое ношу с собой», – хвастливо заявлял он. Спиридон помалкивал под мокрой мешковиной и только вращал глазами.

Нам предстояло пройти около десяти километров до Тихой Заводи, прелестного mestечка на берегу Китежи, где мы обычно ставили палатку, разводили костер, варили уху и играли в бадминтон. До захода солнца оставалось около двух часов, надо было поторапливаться, но мы задержались в Колонии поболтать с пришельцем Константином.

Константину сильно не повезло. Его летающее блюдце совершило вынужденную посадку около года назад. При посадке корабль испортился окончательно, и защитное силовое поле, которое автоматически создалось в момент приземления, убрать Константину не удалось. Поле это было устроено так, что не пропускало ничего постороннего. Сам Константин со своей одеждой и с деталями двигателя мог ходить через сиреневую пленку в обе стороны совершенно беспрепятственно. Но семейство полевых мышей, случайно оказавшееся на месте посадки, так там и осталось, и Константин вынужден был скармливать ему небога-



тые свои запасы, так как земную пищу пронести под защитный колпак не мог даже в своем желудке. Под колпаком оказались также забытые кем-то на парковой аллее тапочки, и это было единственное из земных благ, от которого Константину была хоть какая-то польза. Кроме тапочек и мышей, в защитном поле были заключены: два куста волчьей ягоды, часть чудовищной садовой скамейки, изрезанной всевозможными надписями, и четверть акра сырватой, никогда не просыхающей почвы.

Константиновы дела были плохи. Звездолет не желал чиниться. На Китежградском заводе не было, естественно, ни подходящих запчастей, ни специального оборудования. Кое-что можно было бы достать в крупнейших научных центрах, но требовалось ходатайство Тройки, и Константин с нетерпением вот уже много месяцев ждал вызова. Он возлагал некоторые надежды на помочь землян, он рассчитывал, что ему хотя бы удастся снять проклятое защитное поле и провести, наконец, на корабль какого-нибудь крупного ученого, но, в общем-то, он был настроен пессимистически, он был готов к тому, что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет через двести.

Константино летающее блюдце стояло недалеко от дороги. Из-под блюдца торчали ноги Константина, обутые в скороходовские тапочки сорок четвертого размера. Ноги отлягивались от семейства мышей, настойчиво требовавших ужина. Федя постучал в защитное поле, и Константин, увидев нас, выбрался из-под блюдца. Он прикрикнул на мышей и вышел к нам. Знаменитые тапочки, конечно, остались внутри, и мыши тотчас устроили в них временное обиталище.

Мы спросили, как у Константина дела. Константин бодро сообщил, что, кажется, начало получаться, и перечислил два десятка незнакомых нам приборов, которые были ему совершенно необходимы. Мы сказали ему, что вредно так много работать, и пригласили с собой – отдохнуть, развлечься, поесть ухи. Минут десять мы объясняли ему, что такое уха, после чего он признался, что это ему совсем неинтересно и что он лучше пойдет поработает. Кроме того, близилось время кормить мышей. Он пожал нам руки и снова полез под свое блюдце. Мы двинулись дальше.

Дорога шла вдоль Китежи, приятная загородная дорога, покрытая нежной теплой пылью, неразбитая, гладкая. Справа тянулись огороды городского питомника, слева под небольшим обрывчиком текла темная прохладная река, очень приятная на вид здесь, вдали от стоков Китежградского завода. Мы шли быстро. Меня прошибал пот, Федя тоже очень старался, и разговаривать нам было некогда: мы берегли дыхание. А Спиридон с Говоруном затягали разговор на темы морали. Слушать их было очень поучительно, поскольку ни тот, ни другой представления не имели ни о гуманизме, ни о любви к ближнему.

Спиридон утверждал, что совесть – это пустое понятие, придуманное для обозначения внутренних переживаний человека, делающего не то, что ему делать надлежит. «Да, – соглашался Клоп, – муки совести – это последствия сделанных ошибок. У этих теплокровных людышек масса возможностей совершать ошибки, не то что у нас, клопов. У нас сохраняются только те, кто ошибок не делает и, следовательно, мучений совести не испытывает. Потому-то у клопов и нет совести». Это была истинная правда: будь у данного клопа хоть капля совести, он мог бы, по крайней мере, тащить пакет с луком.

Покончив с совестью, Спиридон перешел на проблемы добра и зла, и они быстро с ними справились, согласившись, что находятся по ту сторону как того, так и другого. Затем последовали: вопрос о так называемой подлости, вопрос о праве на убийство и вопрос о любви. Подлость они объявили понятием, производным от совести, и потому несущественным. Во взглядах на право убивать они разошлись решительно. Спиридон исходил из принципа: живу, потому что убиваю и не могу иначе. Клоп же проповедовал в этом вопросе христианство: соси, но знай меру. Они разгорячились и опять чуть не подрались, потому что Клоп обозвал Спиридона фашистом. Мы с Федей их разняли. Федя пригрозил Спиридону, что вывалит его на дорогу, а я пообещал Клопу, что сведу его в дезинсекцию.

Тогда они заговорили о любви. Спиридон оказался певцом любви платонической. Говорун же – чувственной. Спиридон вздыхал, закатывал глаза и мерзким голосом пел баллады – в переводе на русский – о коралловом цветке его нежности, плывущем по бурному океану на встречу предмету любви, каковой предмет он, несчастный влюбленный, никогда не видел и никогда не увидит. Он стонал и цитировал Блока: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого как небо Аи... Как тонко! – вздыхал он. – Как верно! Очень по-нашему, очень...». Говорун вначале только хихикал и расправлял усы тыльной стороной ладони, однако, потом и его разобрало. Он принялся читать нам стихи собственного сочинения, предпослав им в виде эпиграфа знаменитые строки «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым...», каковые он считал вершиной человеческой поэзии. Однако, мы с Федей нашли его сочинения непристойными и велели ему замолчать. Особенно негодовал Федя. Он заявил, что такого не слыхивал даже от обезьян в зоопарке, где отсидел по недоразумению несколько месяцев.

Так за разговорами мы еще засветло добрались до Заводи. Федя подкатил тачку к самой воде и с удовольствием вывалил Спиридона в темный, поросший кувшинками омут. Каждый занялся своим делом. Спиридон исчез под волнами и, через минуту появившись, сообщил нам, что сегодня здесь полно раков, есть окунь и два больших леща. Я велел

ему ловить раков, но ни в коем случае не отпугивать и, упаси бог, не трогать будущую уху. Федя принял разбивать палатку, а я стал разжигать костер. Говорун, как всегда, отлынивал. Сославшись на внезапный приступ хандры и на слабые мышцы, он скрылся в кустах, где жило несколько его знакомых травяных клопов, и оттуда тотчас понеслись взрывы хохота и надсадно выкрикиваемые обрывки анекдотов сомнительного свойства.

Когда солнце село, лагерь был готов. Великолепно, без единой морщинки растянутая палатка ждала постояльцев в объятия расстеленных одеял. Весело трещал костер, и купающиеся в кипятке раки становились все более и более красными. Федя, закинув три удочки, азартно следил за поплавками, хотя уже основательно стемнело и надеяться на клев более не приходилось. Из омута страшновато поблескивали глаза удобно расположившегося там Спиридона. Судя по редким всплескам, он, несмотря на строжайший запрет, ощупкой ловил и поедал на месте отборную рыбу, однако, уличить его в этом не было никакой возможности.

Я взял кол от палатки, сходил в кусты и разогнал веселящуюся там компанию, которая перешла уже все границы. Говорун полез было в амбицию, но я показал ему указательный палец и засадил чистить лук. Закат отбушевал, высыпали звезды, раки сварились, первая порция ухи – тоже. Я намазался диметилфталатом и пригласил всех к столу. Мы с Федей с удовольствием ели уху, сосали раков, Говорун присел поодаль на пенек и, глядя на нас, во всеуслышание сетовал на отсутствие proximity приличной гостиницы или, по крайней мере, Дома колхозника. Спиридон плескался и чем-то хрюстал в своем омуте.

Потом, когда уха была съедена, а раки высосаны до последней лапки, Федя пошел в темноту сполоснуть посуду и проверить, как себя чувствует живая рыба в садке. Для второй порции ухи все было готово, оставалось ждать ребят. Я прилег у костра, ощущая во всем теле приятную негу, предвкушая одеяло в палатке и завтрашнее утреннее купание при активном участии Спиридона, и как мы ухватим Говоруна за руки, за ноги и всей компанией поволочем его топить, а он будет орать и распространять коньячные запахи... Вспомнив о Клопе, я стал размышлять, куда девать его на ночь, дабы не вводить в искушение: посадить ли его в спичечный коробок или привязать шпагатом к дереву, а в темноте у меня за ушами злобно и разочарованно завывали комары, оскребленные диметилфталатом. Говорун сидел на пеньке, поджав под себя все ноги, и поглядывал на меня со странным выражением. Федя рассказывал Спиридону, как прекрасны снежные горы, каким образом нужно до них отсюда добираться и какие воинские части дислоцированы в окрестностях Китежграда. Я совсем уже решил было проблему Клопа, сообразив,

что его просто следует перевезти на ночь на другой берег, и раздумывал, как бы поделикатнее сообщить ему о своем решении, как вдруг послышался треск валежника, приглушенные голоса, и из лесу один за другим вышли и вступили в освещенное пространство хорошо знакомые, но совершенно неожиданные люди.

Лавр Федотович, поддерживаемый под локоть дремлющим на ходу полковником, приблизился к костру первым и опустился на землю так резко, словно у него подломились ноги. Полковник вознамерился было рухнуть в костер, но, видимо, спохватился и рухнул в кусты прямо на возмущенно загалдевших травяных клопов. Хлебовводов отпихнул локтем Федю и уселся на его место. Фарфуркис же сначала вдумчиво пристроил огромный портфель Лавра Федотовича и только тогда опустился рядом со мной, протягивая к костру пухлые ручки.

Это было совершенно неожиданно и необъяснимо. Я обалдело посмотрел на часы. Было ровно десять. Тройка сидела неподвижно, и мне вдруг показалось, что эти люди, если не считать спящего полковника, удивлены не меньше и понимают не больше меня.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович с какой-то новой интонацией. — Кажется, возникло затруднение. Товарищ Фарфуркис, устраните.

Было совершенно очевидно, что затруднение действительно возникло, и что Фарфуркис пока еще не имеет ни малейшего представления о том, как его устранять.

— Э... — сказал он. — Э... Природа... Э... Лес, река... Э... Отдых... — он вдруг оживился. — Я полагаю, Лавр Федотович, что Тройка была достаточно загружена все эти дни, чтобы теперь позволить себе отдых...

— На природе, — подхватил сообразительный Хлебовводов.

— Да-да, на природе. Позвольте, да здесь прелестно! Палатка, костер...

— Костер — это огонь, — с некоторым сомнением сообщил Лавр Федотович.

— Совершенно верно, — без колебаний согласился Фарфуркис. — Прекрасный свежий воздух, проточная вода... Здесь можно прекрасно отдохнуть. Мы здесь прекрасно отдохнем, Лавр Федотович!

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Хлебовводов, распорядитесь.

Хлебовводов тотчас вскочил и, зацепившись за натянутую веревку, прямо в сапогах полез в палатку.

— Все готово, Лавр Федотович! — бодро сообщил он оттуда. — Я уже распорядился! Пять одеял верблюжьих и три подушки походных, надувных. Сейчас я их надую, и можно отдохнуть.

— Народ... — сказал Лавр Федотович, величественно поднимаясь. — Народ имеет право на отдых... Товарищ Фарфуркис, назначаю вас от-

вественным за отдых. Обеспечьте. Спокойной ночи, товарищи! Можете отдохнуть.

С этими словами, подняв в знак прощального приветствия белую мягкую руку, он шагнул в палатку и тотчас принял там ворочаться, как бронзовавр, время от времени, если судить по тихим воплям, придавливая собою Хлебоввода.

— Товарищ ВРИО научного консультанта, — обратился ко мне Фарфуркис. — Оставляю вас дежурным по лагерю. Во-первых, костер. Костер не должен гаснуть всю ночь. Во-вторых, к завтраку Лавр Федотович предпочитает свежую рыбу, молоко и... э-э... лесные ягоды. Скажем, земляника, малина... Это на ваше усмотрение. В случае тревоги будите меня.

Он встал на четвереньки и ловко нырнул в палатку, увлекая за собой председательский портфель. И уже через секунду тишина нарушилась на диво спевшимся хором носоглоток: Лавр Федотович вел басы, Хлебовводов подтягивал звучным тенором, а Фарфуркис, выбирая паузы, вырывался в них прерывистым дискантом.

— Так землянику или малину? — спросил безответный Федя.

— Кукиш с маслом, — сказал я. — Какого черта? Ничего не понимаю. Откуда они взялись? Где ребята?

Федя растерянно улыбнулся и пожал плечами.

— Не знаю, — пробормотал он. — Странно как-то... — Он помолчал. — Нет, пойду все-таки малинки соберу, — сказал он и ушел в темноту.

— Может быть, кто-нибудь объяснит мне все это? — громко спросил я.

Но Говоруна на пеньке уже не было. Сквозь носоглоточный хор я слышал, как он осторожно бродит в палатке, ступая по спящим, и потихоньку мурлычет: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым...».

Никто не ответил на мой вопрос. Только из омута донесся до меня скрежещущий смех Спиридона.

Глава восьмая

Утреннее солнце, вывернув из-за угла школы, теплым потоком ворвалось в раскрытые настежь окна комнаты заседаний, когда на пороге появился каменнолицый Лавр Федотович и немедленно предложил задернуть шторы. «Народу это не нужно», — объяснил он. Сейчас же следом за ним появился Хлебовводов, подталкивая впереди себя полковника. Полковник разбитым голосом выкрикивал команды и комментировал их, а Хлебовводов приговаривал: «Ладно, ладно тебе, развоевался...». Когда мы с комендантом задернули шторы, на пороге возник Фарфуркис. Он что-то жевал и утирался. Невнятной скороговоркой из-

винившись за опоздание, он разом проглотил все недожеванное и завопил:

— Протестую! Вы с ума сошли, товарищ Зубо! Немедленно убрать эти шторы! Что за манера отгораживаться и бросать тень?

Возник крайне неприятный инцидент, и все время, пока инцидент распутывался, пока Фарфуркиса унижали, сгибали в барабан рог, вытирали об него ноги и выбивали ему бубну, Выбегалло, как бы говоря: «Вот злонравия достойные плоды!» — укоризненно качал головой и многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом Фарфуркиса, растоптанного, растерзанного, измолоченного и измочаленного, пустили униженно догнивать на его место, а сами, отдуваясь, опуская засученные рукава, вычищая клочья шкурь из-под когтей, облизывая окровавленные клыки и непроизвольно взрыкивая, расселись за столом и объявили себя готовыми к утреннему заседанию.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович, бросив последний взгляд на распятые останки. — Следующий. Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант впился в раскрытую папку скрюченными пальцами, в последний раз глянул поверх бумаги на поверженного врага налитыми глазами, в последний раз с оттяжкой кинул задними лапами землю и, только втянув жадно раздутыми ноздрями сладостный аромат разложения, окончательно успокоился.

— Дело семьдесят второе, — забарабанил он. — Константин Константинович Константинов двести тринадцатый до новый эры город Константинов планеты Константины звезды Антарес...

— Я бы попросил! — прервал его Хлебовводов. — Ты что это нам читаете? Ты это нам роман читаете? Или водевиль? Ты, браток, анкету нам зачитываете, а получается у тебя водевиль.

Лавр Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комендант сник.

— Это, помню, в Сызрани, — продолжал Хлебовводов, — бросили меня заведующим курсов повышения квалификации среднего персонала, так там тоже был один — улицу не хотел подметать... Только не в Сызрани, помнится, это было, а в Саратове... Ну да, точно, в Саратове! Сперва я там школу мастеров-крупчатников укреплял, а потом, значит, бросили меня на эти курсы... Да, в Саратове, в пятьдесят втором году, зимой. Морозы, помню, как в Сибири... Нет, — сказал он с сожалением, — не в Саратове это было. В Сибири это и было, а вот в каком городе — вылетело из башки. Вчера еще помнил. Эх, думаю, хорошо было там, в этом городе...

Он замолчал, мучительно приоткрыв рот. Лавр Федотович подождал немного, осведомился, есть ли вопросы к докладчику, убедился, что вопросов нет, и предложил Хлебовводову продолжать.

— Лавр Федотович, — прочувствованно сказал Хлебовводов. — Забыл, понимаете, город. Ну, забыл, и все. Пускай он пока дальше зачитывает, а я покуда вспомню. Только пускай он по форме, пускай пункты называет и не частит, а то ведь безобразие получается...

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — сказал Лавр Федотович.

— Пункт пятый, — прочитал комендант с робостью. — Национальность...

Фарфуркис позволил себе слабо шевельнуться и сейчас же испуганно замер. Однако Хлебовводов уловил это движение и приказал коменданту:

— Сначала. Сначала! Сызнова читайте!

— Пункт первый, — сказал комендант. — Фамилия...

Пока он читал сызнова, я с беспокойством думал о ребятах, почему они не пришли вчера в лагерь, почему их нет сейчас на заседании, неужели работы оказалось так много...

— Херсон! — заорал вдруг Хлебовводов. — В Херсоне это было, вот где... Ты давайте, продолжайте, — сказал он вздрогнувшему коменданту. — Это я так, вспомнил... — Он сунулся к уху Лавра Федотовича и, млея от смеха, принялся ему что-то нашептывать, так что черты товарища Вунюкова обнаружили тенденцию к раздеревенению, и он был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью.

— Пункт шестой, — нерешительно зачитал комендант. — Образование: высшие син... кри... кре... кретическое.

Фарфуркис дернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебовводов ревниво вскинулся:

— Какое? Какое образование?

— Синкетическое, — повторил комендант единственным духом.

— Ага, — сказал Хлебовводов и поглядел на Лавра Федотовича.

— Это хорошо, — веско произнес Лавр Федотович. — Народ любит самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

— Пункт седьмой. Знание иностранных языков: все без словаря.

— Чего-чего? — сказал Хлебовводов.

— Все, — повторил комендант. — Без словаря.

— Вот так самокритическое, — сказал Хлебовводов. — Ну ладно, мы это проверим.

— Пункт восьмой. Профессия и место работы в настоящее время: читатель поэзии, ам-фи-бра-хист, пребывает в краткосрочном отпуске. Пункт девятый...

— Подождите, — сказал Хлебовводов. — Работает-то он где?

— В настоящее время он в отпуске, — пояснил комендант. — В краткосрочном.

— Это я без тебя понял, — возразил Хлебовводов. — Я говорю: специальность у него какая?

Комендант поднял папку к глазам.

— Читатель... — сказал он. — Стихи, видно, читает.

Хлебовводов удариł по столу ладонью.

— Я тебе не говорю, что я глухой, — сказал он. — Что он читает, это я слышал. Читает и пусть себе читает в свободное от работы время. Специальность, говорю! Работает где, кем?

Выбегалло отмалчивался, и я не вытерпел.

— Его специальность — читать поэзию, — сказал я. — Он специализируется по амфибрахию.

Хлебовводов посмотрел на меня с подозрением.

— Нет, — сказал он. — Амфибрахий — это я понимаю. Амфибрахий там... то, ее... Я что хочу уяснить? Я хочу уяснить, за что ему жалованье платят, зарплату.

— У них зарплаты как таковой нет, — пояснил я.

— А! — обрадовался Хлебовводов. — Безработный! — Но он тут же опять насторожился. — Нет, не получается!.. Концы с концами у вас не сходятся. Зарплаты нет, а отпуск есть. Что-то вы тут крутите, изворачиваетесь вы тут что-то...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к докладчику, а также к научному консультанту. Профессия дела номер семьдесят два.

— Читатель поэзии, — быстро сказал Выбегалло. — И, вдобавок... эта... амфибрахист.

— Место работы в настоящее время, — сказал Лавр Федотович.

Пребывает в краткосрочном отпуске. Отдыхает, значит, краткосрочно.

Лавр Федотович, не поворачивая головы, перекатил взгляд в сторону Хлебовводова.

— Имеются еще вопросы? — осведомился он.

Хлебовводов тоскливо заерзал. Простым глазом было видно, как высшая доблесть солидарности с мнением начальства борется в нем с не менее высоким чувством гражданского долга. Наконец гражданский долг победил, хотя и с заметным для себя ущербом.

— Что я должен сказать, Лавр Федотович, — залебезил Хлебовводов. — Ведь вот что я должен сказать! Амфибрахист — это вполне понятно. Амфибрахий там... то, се... И насчет поэзии все четко. Пушкин там, Михалков, Корнейчук... А вот читатель... Нет же в номенклатуре такой профессии! И понятно, что нет. А то как это получается? Я, значит, стишки почтываю, а мне за это — блага, мне за это — отпуск... Вот что я должен уяснить.

Лавр Федотович взял бинокль и взорвался на Выбегаллу.

– Заслушаем мнение консультанта, – объявил он.

Выбегалло поднялся.

– Эта... – сказал он и погладил бороду. – Товарищ Хлебовводов правильно здесь заостряет вопрос и верно расставляет акценты. Народ любит стихи – се ля мэн сюр ле кер ке же ву леди¹! Но всякие ли стихи нужны народу? Же ву деманд анпе², всякие ли? Мы с вами, товарищи, знаем, что далеко не всякие. Поэтому мы должны очень строго следовать... эта... определенному, значить, курсу, не терять из виду маяков и... эта... ле вин этире иль фо ле боар³. Мое личное мнение вот какое: эдэ – туа э дье тедера⁴. Но я предложил бы еще заслушать присутствующего здесь представителя товарища Привалова, вызвать его, так сказать, в качестве свидетеля...

Лавр Федотович перевел бинокль на меня. Хлебовводов сказал:

– А что ж, пускай. Все равно он постоянно выскакивает, не терпится ему, вот пускай и прояснит, раз он такой шустрый...

– Вуаля, – с горечью сказал Выбегалло, – ледукасьен куон донно женжен дапрезан⁵!

– Вот я и говорю, пускай, – повторил Хлебовводов.

– Слово предоставляется свидетелю Привалову, – произнес Лавр Федотович, опуская бинокль.

Я сказал:

– У них там очень много поэтов. Все пишут стихи, и каждый поэт, естественно, хочет иметь своего читателя. Читатель же – существо непрорганизованное, он этой простой вещи не понимает. Он с удовольствие читает хорошие стихи и даже заучивает их наизусть, а плохие знать не желает. Создается ситуация несправедливости, неравенства, а поскольку жители там очень деликатны и стремятся, чтобы всем было хорошо, создана специальная профессия – читатель. Одни специализируются по ямбу, другие – по хорею, а Константин Константинович – крупный специалист по амфибрахию и осваивает сейчас александрийский стих, приобретает вторую специальность. Цех этот, естественно, вредный, и читателям полагается не только усиленное питание, но и частые краткосрочные отпуска.

– Это я все понимаю! – проникновенно вскричал Хлебовводов. – Ямбы там, александриты... Я одного не понимаю: за что же ему деньги

¹ Я говорю вам это, положив руку на сердце.

² Я вас спрашиваю.

³ Когда вино откупорено, его следует выпить.

⁴ Помогай себе сам, тогда и бог тебе поможет.

⁵ Вот воспитание, какое дают теперь молодым людям.

плотят? Ну, сидит он, ну, читает. Вредно, знаю! Но чтение – дело тихое, внутреннее, как ты его проверишь, читает он или кемарит, сачок?.. Я помню, заведовал я отделом в инспекции по карантину и защите растений, так у меня попался один... Сидит на заседании и вроде бы слушает, даже записывает что-то в блокноте, а на деле спит, прощелыга! Сейчас по конторам многие навострились спать с открытыми глазами... Так вот я и не понимаю: наш-то как? Может, врет? Не должно же быть такой профессии, чтобы контроль был невозможен – работает человек или, наоборот, спит?

– Это все не так просто, – возразил я. – Ведь он не только читает, ему присылают все стихи, написанные амфибрахием. Он должен все их прочесть, понять, найти в них источник высокого наслаждения, полюбить их и, естественно, обнаружить какие-нибудь недостатки. Об этих всех своих чувствах и размышлениях он обязан регулярно писать авторам и выступать на творческих вечерах этих авторов, на читательских конференциях, и выступать так, чтобы авторы были довольны, чтобы они чувствовали свою необходимость... Это очень, очень тяжелая профессия, – заключил я. – Константин Константинович – настоящий герой труда.

– Да, – сказал Хлебовводов. – Теперь я уяснил. Полезная профессия. И система мне нравится. Хорошая система, справедливая.

– Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, – произнес Лавр Федотович.

Комендант вновь поднес папку к глазам.

– Пункт девятый. Был ли за границей: был. В связи с неисправностью двигателя четыре часа находился на острове Рапа-Нуи.

Фарфуркис что-то неразборчиво пропищал, и Хлебовводов тотчас подхватился.

– Это чья же нынче территория? – обратился он к Выбегалле.

Профессор Выбегалло, добродушно улыбнувшись, широким снисходительным жестом, отоспал его ко мне.

– Дадим слово молодежи, – сказал он.

– Территория Чили, – объяснил я.

– Чили, Чили... – забормотал Хлебовводов, тревожно поглядывая на Лавра Федотовича. Лавр Федотович хладнокровно курил. – Ну, раз Чили – ладно тогда, – решил Хлебовводов. – И четыре часа только... Ладно. Что там дальше?

– Протестую! – с безумной храбростью прошептал Фарфуркис, но комендант уже читал дальше.

– Пункт десятый, Краткая сущность необъясненности: разумное существо со звезды Антарес. Летчик космического корабля под названием летающее блюдце...



Лавр Федотович не возражал. Хлебовводов, глядя на него, одобрительно кивнул, и комендант продолжал:

– Пункт одиннадцатый. Данные о ближайших родственниках... Тут большой список.

– Читайте, читайте, – сказал Хлебовводов.

– Семьсот девяносто три лица, – предупредил комендант.

– Ты не теряйте время, – посоветовал Хлебовводов. – Твое дело читать, вот и читайте. И разборчиво.

Комендант вздохнул и начал:

– Родители — А, Бе, Ве, Ге, Де, Е, Ё, Же...

– Ты это чего? Ты постой... Ты погоди... – сказал Хлебовводов, от изумления утратив дар вежливости. – Ты что, в школе? Мы тебе что, дети?

– Как написано, так и читаю, – огрызнулся комендант и продолжал:

– Зе, И, Й, Ке, Ле, Ме...

– Грррм, – произнес Лавр Федотович. – Имеется вопрос к докладчику. Отец дела номер семьдесят два. Фамилия, имя, отчество.

– Одну минутку, – вмешался я. – У Константина Константиновича девяносто четыре родителя пяти различных полов, девяносто шесть сорачников четырех различных полов, двести семь детей пяти различных полов и триста девяносто шесть соутробцев пяти различных полов.

Эффект моего сообщения превзошел все ожидания. Лавр Федотович в полном замешательстве взял бинокль и поднес его ко рту. Хлебовводов беспрерывно облизывался. Фарфуркис яростно листал записную книжку.

На Выбегаллу надеяться не приходилось, и я готовился к генеральному сражению — углублял траншеи до полного профиля, минировал танкоопасные направления, оборудовал отсечные позиции. Погреба ломились отбоеприпасов, артиллеристы застыли у орудий, пехоте было выдано по чарке водки. Эх, ребят со мной не было! Не было у меня резерва Главного Командования, был я один.

Тишина тянулась, набухала грозой, насыщалась электричеством, и рука моя уже легла на телефонную трубку — я готов был скомандовать упреждающий атомный удар, — однако, все это ожидание рева, грохота, лязга окончилось пшиком. Хлебовводов вдруг осклабился, наклонился к уху Лавра Федотовича и принял что-то нашептывать ему, бегая по углам замаслившиимися глазками. Лавр Федотович опустил обслоненный бинокль, прикрылся ладонью и произнес дрогнувшим голосом:

– Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

Комендант с готовностью отложил список родственников и зачитал:

– Пункт двенадцатый. Адрес постоянного места жительства: Галактика, звезда Антарес, планета Константина, государство Константина, город Константинов, вызов 457 дробь 14-9. Все.

– Протестую, – сказал Фарфуркис окрепшим голосом. Лавр Федотович благосклонно взглянул на него. Опала кончалась, и Фарфуркис со слезами счастья на глазах затарахтел: – Я протестую! В описании указана дата рождения – двести тринадцатый год до нашей эры. Если бы это было так, то делу номер семьдесят два было бы сейчас больше двух тысяч лет, что на две тысячи лет превышает максимальный известный науке возраст. Я требую уточнить дату и наказать виновного.

– Ему действительно две тысячи лет, – сказал я.

– Это антинаучно, – возразил Фарфуркис. – Вы, товарищ свидетель, напрасно воображаете, что вам позволят здесь оперировать антинаучными заявлениями. Мы здесь тоже кое-что знаем, и я говорю сейчас даже не о гигантском опыте нашего руководства, но просто о нашем знании научной литературы. В последнем номере журнала «Здоровье»... – и он подробно рассказал содержание статьи о геронтологии в последнем номере журнала «Здоровье». Когда он кончил, Хлебовводов ревниво спросил его:

– А, может быть, он горец, откуда вы знаете?

– Но позвольте! – вскричал Фарфуркис. – Даже среди горцев максимально возможный возраст...

– Не позволю я, – сказал Хлебовводов. – Не позволю я вам преуменьшать достижения наших славных горцев! Если хотите знать, то максимально возможный возраст наших горцев предела не имеет! – и он победоносно поглядел на Лавра Федотовича.

– Народ... – произнес Лавр Федотович. – Народ вечен. Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ пребывает вовеки.

Фарфуркис и Хлебовводов задумались, прикидывая, в чью же пользу высказался председатель. Ни тому, ни другому рисковать не хотелось. Один был на гребне и не желал из-за какого-то паршивого пришельца с этого гребня ссыпаться. Другой, глубоко внизу, висел над пропастью, но ему только что была сброшена спасательная бечевка. А, между тем, Лавр Федотович произнес:

– У вас все, товарищ Зубо? Вопросы есть? Нет вопросов? Есть предложение вызвать дело, поименованное Константиновым Константином. Других предложений нет? Пусть дело войдет.

Комендант побледнел, закусил губу и вытащил из кармана перламутровую коробочку.

– Пусть дело войдет, – повторил Лавр Федотович, чуть повышая голос.

– Сейчас, сейчас, – бормотал комендант. Ему было страшно.

– Ну, чего ты стоите? – возмущенно спросил Хлебовводов. – Мне прикажете за ним идти?

Тогда комендант решился. Он зажмурил глаза и нажал на перламутровую крышку. Раздался звук откупориваемой бутылки, и рядом с демонстрационным столом появился Константин. По-видимому, вызов захватил его во время работы: он был в комбинезоне, заляпанном флюoresцентной смазкой, передние руки его были в рабочих металлических перчатках, а задние он торопливо вытирали о спину. Все четыре глаза его еще хранили озабоченное деловое выражение. По комнате распространился сильный запах Большой Химии.

– Здравствуйте, – сказал Константин обрадованно, сообразив, наконец, куда попал. – Наконец-то, вы меня вызвали. Правда, дело мое пустяковое, неловко даже вас беспокоить, но я в безвыходном положении, мне только и остается, что просить о помощи. Чтобы не задерживать долго ваше внимание, что мне нужно? – он принял загибать пальцы на правой передней руке. – Лазерную сверлильную установку, но самой высокой мощности. Плазменную горелку, у вас такие уже есть, я знаю. Два инкубатора на тысячу яиц каждый. Для начала мне этого хватит, но хорошо бы еще квалифицированного инженера и чтобы разрешили работать в лабораториях ФИАНа...

– Так какой же это пришелец? – с изумлением и негодованием произнес Хлебовводов. – Какой он, я спрашиваю, пришелец, если я его каждый день вижу в ресторане? Вы, собственно, гражданин, кто такой и как сюда попали?

– Я – Константин из системы Антареса... – Константин, смущаясь. – Я думал, что вы уже все знаете... Меня уже опрашивали, я анкету заполнял... – он заметил Выбегаллу и приветливо ему улыбнулся. – Ведь это вы меня опрашивали, верно?

Хлебовводов тоже обратился к Выбегалле.

– Так это, по-вашему, пришелец? – извительно спросил он.

– Эта... – сказал Выбегалло с достоинством. – Современная наука не отрицает, значить, возможности прибытия пришельцев, товарищ Хлебовводов, надо быть в курсе. Это официальное мнение, не мое, а гораздо более ответственных научных работников... Джордано Бруно, например, высказывался по этому вопросу вполне официально... Академик Волосянис Левой Альфредович тоже... и... эта... писатели – Уэльс, например, или, скажем, Тьмутараканов...

– Странные какие-то дела творятся, – сказал Хлебовводов с недоверием. – Пришельцы какие-то странные пошли...

– Я вот смотрю фотографию в деле, – подал голос Фарфуркис, – и вижу, что общее сходство имеется, но у товарища на фотографии две

руки, а у этого неизвестного гражданина – четыре. Как это с точки зрения науки может быть объяснено?

Выбегало разразился длиннейшей французской цитатой, смысл которой сводился к тому, что некий Артур любил поутру выйти на берег моря, предварительно выпив чашку шоколада. Я перебил его и сказал:

– Костя, встаньте, пожалуйста, к товарищу Фарфуркису лицом.

Константин повиновался.

– Так-так-так, – сказал Фарфуркис. – С этим мы разобрались. Должен вам сказать, Лавр Федотович, что сходство фотографии с этим вот товарищем несомненное. Вот четыре глаза я вижу... да, четыре. Носа нет... Да... Рот крючком. Все правильно.

– Ну, не знаю, – сказал Хлебовводов. – О пришельцах ясно писали в прессе, и утверждалось там, что если бы пришельцы существовали, они давали бы нам о себе знать. А поскольку, значит, не дают о себе знать, то их и нет, а есть одна выдумка недобросовестных лиц... Вы пришелец? – гаркнул он вдруг на Константина.

– Да, – сказал Константин, попятившись.

– Знать вы о себе давали?

– Я не давал, – сказал Константин. – Я вообще не собирался у вас приземляться. И дело ведь не в этом, по-моему...

– Нет уж, гражданин хороший, ты мне это бросьте. Именно в этом все дело и есть. Дал о себе знать – милости просим, хлеб-соль выносим, пей-гуляй. А не дал – не обессудь. Амфибрахий амфибрахием, а мы тут тоже деньги не даром получаем. Мы тут работаем и отвлекаться на посторонних не можем. Таково мое общее мнение.

– Грррм, – произнес Лавр Федотович. – Кто еще желает высказаться?

– Я, с вашего позволения, – попросил Фарфуркис. – Товарищ Хлебовводов в целом верно изобразил положение вещей. Однако, мне кажется, что, несмотря на загруженность работой, мы не должны отмахиваться от товарища. Мне кажется, мы должны подойти более индивидуально к этому конкретному случаю. Я – за более тщательное расследование. Никто не должен получить возможность обвинять нас в поспешности, бюрократизме и бездушии, с одной стороны, а также в халатности, прекраснодушии и отсутствии бдительности, с другой стороны. С позволения Лавра Федотовича я предложил бы провести дополнительный опрос гражданина Константинова с целью выяснения его личности.

– Чего это мы будем подменять собой милицию? – сказал Хлебовводов, чувствуя, что поверженный соперник вновь неудержимо лезет вверх по склону.

– Прошу прощения! – сказал Фарфуркис. – Не подменять собой милицию, а содействовать исполнению духа и буквы инструкции, где в параграфе девятом главы первой части шестой сказано по этому пово-

ду... – голос его повысился до торжествующей звонкости. – «В случае, когда идентификация, проивведенная научным консультантом совместно с представителем администрации, хорошо знающими местные условия, вызывает сомнения Тройки, надлежит произвести дополнительное изучение дела на предмет уточнения идентификации совместно с уполномоченным Тройки или на одном из заседаний Тройки». Что я и предлагаю.

– Инструкция, инструкция... – сказал Хлебовводов гнусаво. – Мы будем по инструкции, а он тут нам голову будет морочить, жулик четырехглазый... время будет у нас отнимать. Народное время! – воскликнул он страдальчески, косясь на Лавра Федотовича.

– Почему же это я жулик? – осведомился Константин с возмущением. – Вы меня оскорбляете, гражданин Хлебовводов. И вообще, я вижу, что вам совершенно безразлично, пришелец я или не пришелец, вы только стараетесь подсидеть гражданина Фарфуркиса и выиграть в глазах гражданина Вунюкова... Это бесчестно...

– Клевета! – наливаясь кровью, заорал Хлебовводов. – Оговаривают! Да что же это, товарищи? Двадцать пять лет, куда прикажут... Ни одного взыскания... Всегда с повышением...

– И опять врете, – хладнокровно сказал Константин. – Два раза вас выгоняли без всякого повышения.

– Да это навет! Это политический донос! Не те времена, товарищ Константинов! Мы еще посмотрим, чем ваша сотня родителей занималась, что это были за родители... Набрал, понимаете, родственников целое учреждение...

– Грррм, – проговорил Лавр Федотович. – Есть предложение прекратить прения и подвести черту. Другие предложения есть?

Наступила тишина. Фарфуркис, не слишком скрываясь, торжествовал. Хлебовводов вытирался платком, а Константин пристально гляделся в Лавра Федотовича, явно тщась прочесть его мысли или хотя бы проникнуть в его душу, однако, видно было, что все его старания пропадают втуне, и в четырехглазом, безносом лице его виделась мне все более отчетливо проступающая разочарованность опытного кладоискателя, который отвалил заветный камень, засунул по плечо руку в древний тайник, но никак не может там нашупать ничего, кроме нежной пыли, липкой паутины и каких-то неопределенных крошек.

– Поскольку других предложений не поступает, – провозгласил Лавр Федотович, – приступим к доследованию дела. Слово предоставляется... – он сделал томительную паузу, во время которой Хлебовводов чуть не умер... – товарищу Фарфуркису.

Хлебовводов, очутившись на дне зловонной пропасти, безумными глазами следил за полетом стервятника, свершающего круг за кругом в



недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая Хлебовводова пометом, затем уселся на гребне, почистил перышки, охорашиваясь и кокетливо поглядывая на Лавра Федотовича, и, наконец, приступил:

— Вы уверяете, товарищ Константинов, что вы есть пришелец с иной планеты. Какими документами вы могли бы подтвердить это ваше заявление?

— Я мог бы показать вам свой бортовой журнал, — сказал Константин, — но, во-первых, он нетранспортабелен, а во-вторых, я вообще не хотел бы затрудняться и затруднять вас какими-то доказательствами. Ведь я пришел сюда, чтобы просить у вас помощи. Всякая планета, входящая в космическую конвенцию, обязана оказывать помощь потерпевшим аварию. Я уже сказал, что мне нужно, и теперь только жду ответа. Может быть, вы неспособныказать мне эту помощь, тогда лучше сказать мне об этом прямо... Тут нет ничего стыдного...

— Минуточку, — прервал его Фарфуркис. — Вопрос о компетентности настоящей комиссии в смысле оказания помощи представителям иных планет мы пока отложим. Наша задача сейчас — идентифицировать вас, товарищ Константинов, как такого представителя... Минуточку, я еще не кончил. Вы упомянули бортовой журнал и заявили, что он, к сожалению, нетранспортабелен. Но, может быть, Тройка получит возможность осмотреть оный журнал непосредственно на борту вашего корабля?

— Нет, это невозможно, — вздохнул Константин. Он внимательно изучал Фарфуркиса.

— Ну что же, это ваше право, — сказал Фарфуркис. — Но, в таком случае вы, быть может, представите нам какую-нибудь иную документацию,ющую служить удостоверением вашего происхождения?

— Я вижу, — сказал Константин с некоторым удивлением, — что вы действительно хотите убедиться в том, что я пришелец. Правда, мотивы ваши мне не совсем понятны... Но не будем об этом. Что касается доказательств, то неужели мой внешний вид не наводит вас на правильные умозаключения?

Фарфуркис с сожалением покачал головой.

— Увы, — сказал он, — все обстоит не так просто. Наука не дает нам вполне четкого представления о том, что есть человек. Это естественно. Если бы, например, наука определила людей как существ с двумя глазами и двумя руками, значительные слои населения, обладающие лишь одной рукой или вовсе безрукие, оказались бы в ложном положении. С другой стороны, медицина в наше время творит чудеса. Я сам видел по телевизору собак с двумя головами и с шестью лапами, и у меня нет никаких оснований...

– Тогда, может быть, вид моего корабля... Вид, достаточно необычный для вашей земной техники...

И вновь Фарфуркис покачал головой.

– Вы должны понимать, – мягко сказал он, – что в наш атомный век члена ответственного органа, имеющего специальный допуск, трудно удивить каким бы то ни было техническим сооружением.

– Я могу читать мысли, – сообщил Константин. Он явно заинтересовался ситуацией.

– Телепатия антинаучна, – мягко сказал Фарфуркис. – Мы в нее не верим.

– Вот как? – удивился Константин. – Странно... Но послушайте, что я сейчас скажу. Вот вы, например, намерены рассказать мне о казусе с «Наутилусом», а вот гражданин Хлебовводов...

– Навет! – хрипло закричал Хлебовводов, и Константин замолк.

– Поймите нас правильно, – проникновенно сказал Фарфуркис, прижимая руки к полной груди. – Мы ведь не утверждаем, что телепатии не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антинаучна, и что мы в нее не верим. Вы упомянули про казус с подводной лодкой «Наутилус», но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание народа от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатические способности, истинные или только вами воображаемые, являются лишь фактом вашей личной биографии, каковая и есть в настоящий момент объект нашего расследования. Вы чувствуете замкнутый круг?

– Чувствую, – согласился Константин. – Но если бы я, скажем, сейчас при вас немного полетал?

– Это было бы, конечно, интересно. Но мы, к сожалению, сейчас на работе, и не можем предаваться зреющим, даже самым захватывающим.

Константин вопросительно посмотрел на меня. Мне казалось, что положение безнадежно, мне было вообще не до шуток: Константин этого не понимал, но Большая Круглая Печать уже висела над ним, как дамоклов меч. А ребят все не было, и я не знал, что делать. Можно было только тянуть время, и я сказал:

– Давайте, Костя.

Костя дал. Сначала он давал несколько вяло, осторожничал, боялся что-нибудь поломать, но постепенно увлекся и продемонстрировал ряд чрезвычайно эффектных экзерсисов с пространственно-временным континуумом, с разнообразными трансформациями живого коллоида и с критическими состояниями органов отражения. Когда он остановился, у меня кружилась голова, пульс неистово колотился, трещало в ушах, и я еле рассыпал усталый голос Пришельца:

— Время уходит, мне некогда. Говорите, что вы решили.

И опять никто ему не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было спокойно и немного печально. Полковник ни на что не обращал внимания — или делал вид, что не обращает. Он нацарапал записку, перебросил ее Зубо, а тот внимательно прочитал ее и бесшумно пробежал пальцами по клавиатуре информационной машины. Фарфуркис листал справочник, уставясь в страницы невидящими глазами, А Хлебовводов мучился. Он кусал губы, морщился, даже тихонько покряхтывал. Из машины сухим щелчком вылетела белая карточка. Зубо подхватил ее и передал полковнику.

— Скачок в тысячу лет... — тихо сказал Хлебовводов.

— Скачок назад, — проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все листал справочник.

— Я не знаю, как мы теперь будем работать, — сказал Хлебовводов. — Мы заглянули в конец задачника, где все ответы.

— Но вы же еще не видели ответов, — возразил Фарфуркис. — Хотите увидеть?

— Какая разница, — сказал Хлебовводов, — раз мы знаем, что ответы есть. Скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то уже нашел.

Пришелец ждал, переплетая руки. Ему было неудобно в кресле с низкой спинкой, и он сидел, напряженно выпрямившись. Его круглые немигающие глаза неприятно светились красным. Полковник отшвырнул карточку, написал новую записку, и Зубо опять склонился над клавиатурой.

— Я знаю, что мы должны отказаться, — сказал Хлебовводов. — И я знаю, что мы двадцать раз проклянем себя за такое решение.

— Это еще не самое плохое, что с нами может случиться, — сказал Фарфуркис. — Хуже, если нас двадцать раз проклянут другие.

— Наши внуки, а может быть, даже дети уже воспринимали бы все, как данное.

— Нам не должно быть безразлично, что именно наши дети будут воспринимать, как данное.

— Моральные критерии гуманизма, — сказал Хлебовводов, слабо усмехнувшись.

— У нас нет других критерии, — возразил Фарфуркис.

— К сожалению, — сказал Хлебовводов.

— К счастью, коллега, к счастью. Всякий раз, когда человечество пользовалось другими критериями, оно жестоко страдало.

— Я знаю это. Хотел бы я этого не знать. — Хлебовводов посмотрел на Лавра Федотовича. — Проблема, которую мы здесь решаем, поставлена

некорректно. Она базируется на смутных понятиях, на неясных формулировках, на интуиции. Как учений, я не берусь решать эту задачу. Это было бы несерьезно. Остается одно: быть человеком. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я – против территориального контакта... Это ненадолго! – возбужденно выкрикнул он, всем телом подавшись в сторону неподвижного Пришельца. – Вы должны нас правильно понять. Я уверен, что это – ненадолго. Дайте нам время, мы ведь так недавно вышли из хаоса, мы еще по пояс в хаосе...

Лавр Федотович посмотрел на Фарфуркиса.

– Я могу лишь повторить то, что говорил раньше, – негромко сказал Фарфуркис. – Меня никто ни в чем не переубедил. Я против всякого контакта на исторически длительные сроки... Я абсолютно уверен, – вежливо добавил он, – что высокая договаривающаяся сторона восприняла бы всякое иное наше решение, как свидетельство самонадеянности и социальной незрелости, – он коротко поклонился в сторону Пришельца.

– Полковник? – произнес Лавр Федотович.

– Категорически против всякого контакта, – отозвался полковник, продолжая писать. – Категорически и безусловно, – он перебросил Зубо очередную записку. – Обоснований не привожу, но прошу оставить за мной право сказать еще несколько слов по этому поводу через десять минут.

Лавр Федотович осторожно положил диктофон и медленно поднялся. Пришелец тоже поднялся. Они стояли друг против друга, разделенные огромным столом, заваленным справочниками, футлярами микрокниг, катушками видеомагнитной записи.

– Мне нелегко сейчас говорить, – начал Лавр Федотович. – Нелегко уже потому, что обстоятельства требуют, вероятно, высокой патетики и слов, не только точных, но и торжественных. Однако, здесь, у нас на Земле, все патетическое в силу ряда обстоятельств претерпело за последний век решительную инфляцию. Поэтому я постараюсь быть просто точным. Вы предложили нам дружбу и сотрудничество во всех аспектах цивилизации. Это предложение беспрецедентно в человеческой истории, как беспрецедентен и сам факт появления инопланетного существа на нашей планете, и как беспрецедентен наш ответ на ваше предложение. Мы отвечаем вам отказом по всем пунктам предложенного вами договора, мы отказываемся выдвинуть какой бы то ни было контрдоговор, мы категорически настаиваем на полном прекращении каких бы то ни было контактов между нашими цивилизациями и между их отдельными представителями. С другой стороны, нам не хотелось бы, чтобы такой категорический, недружелюбный по форме отказ углубил бы пропасть между нашими культурами, пропасть, и без того едва

преодолимую. Мы имеем заявить, что идея контакта между различными цивилизациями в космосе признается нами в принципе полезной и многообещающей. Мы имеем подчеркнуть, что идея контакта с древнейших времен входила в сокровищницу самых лелеемых, самых гордых замыслов нашего человечества. Мы имеем уверить вас, что наш отказ ни в коем случае не должен рассматриваться вами как движение враждебное, основанное на скрытом недружелюбии или связанное с физиологическими и иными инстинктивными предрассудками. Нам хотелось бы, чтобы причины отказа были вам известны, вами поняты и если не одобрены, то, по крайней мере, приняты к сведению.

Хлебовводов и Фарфуркис в неподвижном напряжении, не мигая, глядели на Лавра Федотовича. Полковник получил ответ на последнюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал смотреть на Лавра Федотовича.

– Неравенство между нашими цивилизациями огромно, – продолжал тот. – Я не говорю о неравенстве биологическом – природа одарила вас более щедро, чем нас. Не стоит говорить и о неравенстве социальном – вы давно уже прошли ту стадию общественного развития, в которую мы едва лишь вступили. И уж, конечно, я не говорю о неравенстве научно-техническом – по самым скромным подсчетам, вы обогнали нас на несколько веков. Я буду говорить о прямом следствии этих трех аспектов неравенства, – о гигантском психологическом неравенстве, которое и является главной причиной неудачи наших переговоров. Нас разделяет гигантская революция в массовой психологии, к которой мы только начали готовиться и о которой вы, наверное, давно уже забыли. Психологический разрыв не позволяет нам составить правильное представление о целях вашего прибытия сюда, мы не понимаем, зачем ВАМ нужны дружба и сотрудничество с нами. Ведь мы только-только вышли из состояния беспрерывных войн, из мира кровопролития и насилия, из мира лжи, подлости, корыстолюбия, мы еще не отмылись от грязи этого мира, и когда мы сталкиваемся с явлениями, которые наш разум не способен вскрыть, когда в нашем распоряжении остается только наш огромный, но не освоенный еще опыт, наша психология побуждает нас строить модель явления по нашему образу и подобию. Грубо говоря, мы не доверяем вам, как не доверяем все еще самим себе. Наша массовая психология базируется на эгоизме, утилитаризме и мистике. Установление и расширение контактов с вами означает для нас прежде всего угрозу немыслимого усложнения и без того сложного положения на нашей планете. Наш эгоизм, наш антропоцентризм, тысячелетиями воспитанная в нас религиями и наивными философиями уверенность в нашем изначальном превосходстве, в нашей исключительности и избранности – все это грозит породить чудовищный психологический шок, вспышку

иррациональной ненависти к вам, истерического страха перед вашими невообразимыми возможностями, ощущение огромного унижения и внезапного падения с трона царя природы в грязь. Наш утилитаризм породит у огромной части населения стремление бездумно воспользоваться материальными благами прогресса, доставшегося без усилий, даром; грозит необратимо повернуть души к тунеядству и потребительству, а, видит бог, мы уже сейчас отчаянно боремся с этим, как со следствием нашего собственного научно-технического прогресса. Что же касается нашего закоренелого мистицизма, нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых героев, надежды на вмешательство авторитетной личности, которая грядет и снимет с нас все заботы и всю ответственность, что касается этой обратной стороны нашего эгоизма, то вы, вероятно, даже представить себе уже не можете, каков будет в этом смысле результат вашего постоянного присутствия у нас на планете. Я надеюсь, вы теперь и сами видите, что расширение контакта грозит свести к нулю то немногое, что нам с огромным трудом удалось пока сделать в области подготовки к революции в психологии. И вы должны понимать, что не в вас, не в ваших достоинствах и ваших недостатках лежит причина нашего отказа от контакта – она лежит только в нас, в нашей неподготовленности. Мы отчетливо понимаем это и, категорически отказываясь от расширения контакта с вами сегодня, мы отнюдь не собираемся увековечивать такое положение. Поэтому мы со своей стороны, предлагаем...

Лавр Федотович повысил голос, и все встали.

– Мы предлагаем ровно через пятьдесят лет после вашего отлета повторить встречу полномочных представителей обеих цивилизаций на северном полюсе планеты Плутон. Мы надеемся, что к этому времени мы окажемся более подготовленными к обдуманному и благоприятному сотрудничеству наших цивилизаций.

Лавр Федотович кончил и сел, и все мы сели. Остались стоять только полковник и Пришелец.

– Присоединяясь целиком и полностью к содержанию и форме изложенного здесь председателем, – резко и сухо заговорил полковник, – я считаю своим долгом, однако, не оставлять никаких сомнений у высокой договаривающейся стороны в нашей решимости всеми средствами не допускать контакта до условленного времени. Полностью признавая огромное техническое, а следовательно, и военное превосходство высокой договаривающейся стороны, я, тем не менее, считаю своим долгом совершенно недвусмысленно заявить, что любая попытка насильственного навязывания контакта, в какой бы форме она ни предпринималась, будет рассматриваться с момента вашего отлета, как акт агрессии, и будет встречена всей мощью земного оружия. Всякий корабль, появив-

шийся в сфере достижения наших боевых средств, будет уничтожаться без предупреждения...

– Ну, товарищи! – прервал его Фарфуркис. – Ну, невозможно же работать, ну, куда мы опять заехали?

Полковник пожевал губами, мутно огляделся, сел и тотчас же захрапел с присвистом.

– Да, да! – сказал Хлебовводов. – Надо кончать. Я тут в меньшинстве, но я – что? Я – пожалуйста... Не хотите его в милицию, не надо. А только рационализировать нам этого фокусника как необъясненное явление, ей-богу, ни к чему. Подумаешь, отрастил себе еще две руки...

– Не берет, – горько произнес невидимый Эдик. – Ничто их не берет. Разве плохой был этюд?

– Отличный этюд, – торопливо шепнул я. – Отличный... Только ты не уходи, сейчас тут начнется...

– Грррм, – сказал Лавр Федотович, остекленел взором и разразился небольшой речью, из которой следовало, что народу не нужны необъясненные явления, которые могли бы представить, но по тем или иным причинам не представляют документацию, удостоверяющую их право на необъясненность. С другой стороны, народ давно уже требует беспощадного выкорчевывания бюрократизма и бумажной волокиты во всех инстанциях. На основании этого тезиса Лавр Федотович выражал общее мнение в том смысле, что рассмотрение дела семьдесят два надлежит перенести на декабрь месяц текущего года с тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову К. К. отбыть по месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с надлежаще оформленными документами. Что же касается оказания товарищу Константинову К. К. материальной помощи, то Тройка имеет право оказывать таковую или ходатайствовать об оказании таковой лишь в тех случаях, когда проситель представляет собой идентифицированное ею, Тройкой, необъясненное явление. А поскольку товарищ Константинов К. К. как таковое явление еще не идентифицирован, то и вопрос о предоставлении ему помощи откладывается до декабря, а точнее – до момента идентификации...

Большая Круглая Печать на сцене не появилась, и я облегченно вздохнул. Но рано, рано! Константин, который в ситуации так до конца и не разобрался и которого уже давно, надо полагать, распирало, демонстративно, очень по-нашему, плунул и исчез.

– Это выпад! – сейчас же закричал Хлебовводов радостно. – Видали, как он харкнул? Весь пол заплевал!

– Возмутительно, – согласился Фарфуркис. – Я квалифицирую это как оскорблениe.



— Я же говорил — жулик! — сказал Хлебовводов. — Надо связаться с милицией, пускай его посадят на пятнадцать суток, пускай он улицы пометет, в четыре руки!

— Не-ет, товарищ Хлебовводов, — возразил Фарфуркис. — Здесь уже не милицией пахнет, здесь вы недооцениваете, это плевок в лицо общественности и администрации, это дело подсудное!

Лавр Федотович безмолствовал, но его короткие веснушчатые пальцы возбужденно бегали по столу — то ли он искал какую-то особенную кнопку, то ли телефон. Запахло политической уголовщиной. Выбегалло, которому на Константина было глубоко начхать, не мычал и не телился, а, между тем, налитые глаза уже хищно сверкали, загривки щетинились, клыки готовы были рвать, а когти — драть.

Я прокашлялся и с самым решительным видом попросил внимания. Внимание было мне даровано, хотя и не слишком охотно, — время собирать камни уже миновало, наступило время камнями убивать.

Стараясь говорить, по возможности, более веско, я напомнил Тройке, что в ее интересах занимать галактоцентристические, а отнюдь не антропоцентристические позиции. Я напомнил, что обычай и способы выражения чувств у инопланетных существ могут и должны сильно отличаться от человеческих. Я обратился к изживанной аналогии с обычаями различных племен и народов нашей планеты. Я выразил уверенность, что товарища Фарфуркиса не удовлетворило бы потирание носами в качестве приветствия, принятое некоторыми народами Севера, но что товарищ Фарфуркис все-таки вряд ли воспринял бы это потирание как унижение его положения члена Тройки. Что касается товарища Константинова, то обычай сплевывать на землю избыток жидкости определенного химического состава, образующейся в ротовой полости, обычай, означающий у некоторых народов Земли неудовольствие, раздражение или стремление оскорбить собеседника, может и должен у инопланетного существа выражать нечто совершенно иное, в том числе и глубокую благодарность за внимание. Так называемый плевок товарища Константинова мог представлять собой и чисто нейтральную акцию, связанную со спецификой физиологического функционирования его организма... («Чего там — функция! — заорал Хлебовводов. — Заплевал весь пол, как бандит, и смылся!»). Наконец, нельзя упускать из виду возможности интерпретировать упомянутое физиологическое отправление товарища Константинова как действие, связанное с его способом молниеносного передвижения в пространстве...

Я разливался соловьем и с облегчением наблюдал, как пальцы Лавра Федотовича двигались все медленнее и медленнее и, наконец, покойно улеглись на бюваре. Хлебовводов все еще продолжал угрожающе рявкать, но чуткий Фарфуркис быстро уловил изменение ситуации и пере-

нес острье удара в совершенно неожиданном направлении. Он вдруг обрушился на коменданта, который, полагая себя в полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента.

— Я давно уже обратил внимание на то, — загремел Фарфуркис, — что воспитательная работа в Колонии необъясненных явлений поставлена безобразно. Политико-просветительные лекции почти не проводятся. Доска наглядной агитации отражает вчерашний день. Вечерний университет культуры практически не функционирует. Все культурные мероприятия в Колонии сведены к танцулькам, к демонстрации заграничных фильмов, к пошлым эстрадным представлениям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены сами себе, многие из них морально опустошены, почти никто не разбирается в международном положении, а самые отсталые из колонистов — например, дух некоего Винера — даже не понимают, где они находятся. В результате — аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения. Позавчера птеродактиль Кузьма, покинув территорию Колонии и, несомненно, находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и скусывал электрические лампочки, окаймляющие транспарант с надписью «Добро пожаловать». Некий Николай Долгоносиков, именующий себя телепатом и спиритом, обманным путем проник в женское общежитие педагогического техникума и производил там беседы и действия, которые были квалифицированы администрацией как религиозная пропаганда... И вот сегодня мы сталкиваемся с новым печальным следствием преступно-халатного отношения коменданта Колонии товарища Зубо к вопросам воспитания и пропаганды, Чем бы то ни было на самом деле оплевывание товарищем Константиновым избытка жидкости из ротовой полости, оно свидетельствует о недостатке понимания товарищем Константиновым, где он находится и как обязан себя вести, а это, в свою очередь, есть просчет товарища Зубо, который не разъяснил колонистам смысл пословицы народной «В чужой монастырь со своим уставом не суйся». И я считаю, что мы обязаны поставить на вид товарищу Зубо и обязать его повысить уровень воспитательной работы во вверенной ему Колонии!

Фарфуркис закруглился, и за коменданта принялся Хлебовводов. Речь его была несвязна, но полна смутных намеков и угроз такого жуткого свойства, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пилюли, пока Хлебовводов орал: «Я тебя поплююсь!.. Ты, понимаете что, или совсем ошалели?..». «Грррм», — сказал, наконец, Лавр Федотович и пошел ставить каменные точки над разными буквами.

Комендант получил на вид за недостойное поведение в присутствии Тройки, выразившееся в плевании на пол товарищем Константиновым, а также за утрату административного обоняния. Товарищ Константинов

К. К. получил предупреждение в дело за хождение по потолку в обуви. Фарфуркис получил устное замечание за систематическое превышение регламента при выступлениях, а Хлебовводов – за нарушение административной этики, выразившееся в попытке облыжно оболгать товарища Константинова К. К. Выбегалле был объявлен устный выговор за появление в строю в небритом виде.

– Других предложений нет? – осведомился Лавр Федотович. Хлебовводов сейчас же ткнулся к нему в ухо и зашептал. Лавр Федотович выслушал и закончил: – Есть также предложение напомнить некоторым членам Тройки о необходимости более активно участвовать в ее работе.

Теперь получили все. Никто не был забыт, и ничто не было забыто. Атмосфера сразу очистилась, все, даже комендант, повеселели. А полковник, которого до этой минуты явно мучили кошмары, истово произнес:

– Так точно, товарищ генералиссимус! Так точно – старый дурак!

Пока комендант отыскивал следующее дело, я смотрел на полковника. Руки его непрерывно подергивались во сне: то ли он включал третью скорость, то ли скребницей чистил своего боевого коня. Я смотрел на него и все пытался представить боевой путь и послужной список человека, которому не менее восьмидесяти лет, который дослужился до полковника и ухитрился за все это астрономическое время выслужить всего три юбилейные медали «XX лет РККА», «XXX лет Советской армии» и «40 лет Вооруженных сил». Вероятно, все дело было в его экзотической военной специальности. В самой идее мотокавалерии чудилось мне нечто фантастическое. То мне представлялись приземистые бронетранспортеры, над клепанными бортами которых торчали оскаленные лошадиные пасти и осанисто возвышались чубатые всадники в бурках и с пиками перед себя. То эта картина заслонялась зрелищем совсем уже апокалиптическим: по полу брали лиху разворачивается в лаву табун лошадей, оседланых мотоциклистами на мотоциклах, и все мотоциклы как один – на третьей скорости... Но тут я вспомнил, что полковник был современником и, может быть, даже участником первых успехов авиации и дирижаблестроения, и тогда привиделись мне гигантские баллоны, из гондол которых, брыкаясь и ржая, сыплются на головы ошеломленного противника кавалерийские эскадроны на парашютах...

– Следующий, – произнес Лавр Федотович. – Доложите, товарищ Зубо.

– Дело номер второе, – зачитал комендант. – Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Кличка: Кузьма.

Я вздрогнул. Вот и нашему Кузьке настал черед. «Эдик, – шепотом позвал я. – Ты здесь?». «Здесь», – отозвался Эдик. «Ты не уходи, Эдик, – попросил я. – Кузьку надо спасти...».

— Год и место рождения, — продолжал комендант. — Не установлено. Вероятно, Конго.

— Он что, немой, что ли? — благодушно осведомился Хлебовводов.

— Говорить не умеет, — ответил комендант. — Только квакает.

— От рождения такой?

— Надо полагать, да.

— Наследственность, стало быть, плохая, — проворчал Хлебовводов. — Оттого он и в бандиты подался... Судимостей много?

— У кого? — спросил ошарашенный комендант. — У меня?

— Да нет, почему — у тебя? У этого... у бандита. Как его там по кличке? Васька?..

— Протестую, — нетерпеливо сказал Фарфуркис. — Товарищ Хлебовводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только у бандитов. Между тем, в инструкции в параграфе восьмом главы четвертой части второй предлагается наделять кличкой необъясненное явление, которое идентифицируется как живое существо, не обладающее разумом.

— А! — сказал Хлебовводов разочарованно. — Собака какая-нибудь. А я думал — бандит... Это когда я заведовал кассой взаимопомощи театральных деятелей при ВТО, был у меня кассир...

— Я протестую! — плачущим голосом закричал Фарфуркис. — Это нарушение регламента! Так мы до ночи не кончим!

Хлебовводов поглядел на часы.

— И верно, — сказал он. — Извиняюсь, увлекся. Валяйте, браток, где ты там остановились?

— Пункт пятый, — прочитал комендант. — Национальность: птеродактиль.

Все содрогнулись, но время поджимало, и никто не сказал ни слова.

— Образование: прочерк, — продолжал читать комендант. — Знание иностранных языков: прочерк. Профессия и место работы в настояще время: прочерк. Был ли за границей: вероятно, да.

— Ох, это плохо! — пробормотал Хлебовводов. — Плохо это! Ох, бди-тельность... Птеродактиль, говорите? Это что же — белый он? Черный?

— Он, как бы это сказать, сероватый такой, — объяснил комендант.

— Ага, — сказал Хлебовводов. — И говорить не может, только квакает... Ну ладно, дальше.

— Краткая сущность необъясненности: считается вымершим пятьдесят миллионов лет назад.

— Сколько? — переспросил Фарфуркис.

— Пятьдесят миллионов тут написано, — несмело сказал комендант.

— Несерьезно все это как-то, — пробормотал Фарфуркис и поглядел на часы. — Да читайте же, — простонал он. — Дальше читайте!



— Данные о ближайших родственниках: вероятно, все вымерли. Адрес постоянного местожительства: Китежград, Колония необъясненных явлений.

— Прописан? — строго спросил Хлебовводов.

— Да вроде как бы прописан, — ответил комендант. — Как заявился он, как занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех пор и пребывает. Прижился Кузьма. — В голосе коменданта послышались нежные нотки: Кузьке он покровительствовал.

— У вас все? — осведомился Лавр Федотович. — Тогда есть предложение вызвать дело.

Других предложений не было, комендант отдернул штору на окне и ласково позвал:

— Кузь-кузь-кузь-кузь... Вон, сидит на трубе, паршивец, — произнес он нежно. — Стесняется... Стеснительный он очень. Ку-уузь! Кузь-Кузь-Кузь... Летит, жулик, — сообщил он, отступая от окна.

Посыпался кожистый шорох и свист, огромная тень на секунду закрыла небо, и Кузька, трепеща распахнутой перепонкой, плавно опустился на демонстрационный стол. Сложив крылья, он задрал голову, разинул длинную зубастую пасть и тихонько квакнул.

— Это он здоровается, — пояснил комендант. — Ве-е-ежливый сукин кот, все как есть понимает.

Кузька оглядел Тройку, встретился с мертвенным взглядом Лавра Федотовича и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок одним глазом — огромным, зеленым, анахроничным, похожим на полу-раскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, на свежего человека он производил устрашающее впечатление. Хлебовводов на всякий случай что-то уронил и полез под стол, откуда пробормотал: «Я думал, собака какая-нибудь квакающая...».

— Кусается? — спросил Фарфуркис опасливо.

— Как можно! — сказал комендант. — Смирное животное, все его гоняют, кому не лень... Конечно, если рассердится... Только он никогда не сердится.

Лавр Федотович принялся рассматривать птеродактиля в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Кузька слабо квакнул и со всем спрятал голову в крыльях.

— Грррм! — удовлетворительно произнес Лавр Федотович и отложил бинокль.

Обстановка складывалась благоприятно.

— Я думал, это лошадь какая-нибудь, — бормотал Хлебовводов, ползая под столом.

– Разрешите мне, Лавр Федотович, – попросил Фарфуркис. – Я вижу в этом деле определенные трудности. Если бы мы занимались рассмотрением необычных явлений, я без колебания первым бы поднял руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями – явление довольно необычное в наших климатических условиях. Однако, наша задача – рассматривать необъясненные явления, и тут я испытываю недоумение. Присутствует ли в деле номер два элемент необъяснимости? Если не присутствует, то почему мы должны это дело рассматривать? Если, напротив, присутствует, то в чем он, собственно, состоит? Может быть, товарищ научный консультант имеет сказать нам что-нибудь по этому поводу?

Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном франко-русском жаргоне он поведал Тройке, что прическа Мари Брийои неизменно приводила в восхищение всех собиравшихся на рауты у барона де Водрейля, какого факта он, научный консультант, не может не признать; что необъяснимость... эта... данного ля птеродоктэль Кузьма лежит, значить, в одной плоскости с его необычностью, о чём он, научный консультант, считает своим горьким, но почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису; что Платон был и остается его, научного консультанта, другом, но науке в лице его, научного консультанта, истина дороже; что крылатость крокодилов или, точнее, наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев до сих пор наукой не объяснено, а потому он, научный консультант, попросил бы вашего садовника показать ему те чудесные туберозы, о которых вы говорили в прошлую пятницу; что, наконец, он, научный консультант, не видит особых причин откладывать рационализацию данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право решительно возражать против такой.

Пока Выбегалло трепался, в поте лица отрабатывая свой титанический оклад денежного содержания, я торопливо составлял план предстоящей кампании. Пока мне было ясно одно: передадут ли Кузьку в распоряжение банно-прачечного треста или даже в какой-нибудь посторонний НИИ – Кузьке будет плохо. Совершенно невозможно было отдать чужим людям нашего Кузьку, которого в Китехграде знает каждая собака, которого доброхотные бабки кормят с ладони пшеничной кашей, который всегда готов слетать тебе за папирасами, готов посидеть с ребенком, пока ты в кино, готов поднести тебе тяжелую авоську, который привык к свободе, к добруму отношению... Нет-нет, это было невозможно. Тем более, что наши зоопсихологи уже давно познакомились с Кузькой, очаровались им и теперь прикидывали, как поделикатнее, здесь же на месте, ни в чем Кузьку не стесняя, провести его обследование – без равнодушного ощупывания, отрезания от него кусочков, про-

свечивания рентгеном и прочих штучек. Кузька прекрасно сошелся с Володей Почкиным, у них нашлось много общего, и, если бы мы сейчас упустили Кузьку, Володя был бы безутешен и, возможно, оторвал бы нам головы...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Какие будут вопросы к докладчику?

— У меня вопросов нет, — заявил Хлебовводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу обнагел. — Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями, и больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводил тут нам тень на плетень... И, потом, я замечаю, что комендант развел у себя в колонии любимчиков и прикармливает их там за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что там у него семейственность или он, скажем, взятки от этого крокодила получает, но факт, по-моему, налицо: крокодил с крыльями — самая простая штука, а взялся с ним, как с писаной торбой. Гнать его нужно из Колонии, пусть работать идет...

— Как же работать? — сказал комендант, очень болевший за Кузьму.

— А так! У нас все работают! Вон он, здоровенный лоб какой сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить... или пусть камень грузит. Может, скажете, у него жилы слабые? Я этих крокодилов знаю, я их всяких повидал... и крылатых, и всяких...

— Как же так? — страдал комендант. — Он же, все-таки, не человек, он же, все-таки, животное, у него диета...

— Ничего, у нас животные тоже работают. Лошади, например. Пускай в лошади идет! Диета у него... У меня вот тоже диета, а я из-за него без обеда сижу...

Однако Хлебовводов чувствовал, что заврался. Фарфуркис смотрел на него насмешливо, да и поза Лавра Федотовича наводила на размышления. Учтя все эти обстоятельства, Хлебовводов сделал вдруг резкий поворот: — Постойте, постойте, — заорал он. — Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал?.. Ну да, тот самый и есть! Это что же — и меры, значит, к нему принятые не были? Ты, товарищ Зубо, не выкручивайтесь, ты мне прямо скажите: меры были приняты?

— Были, — сказал комендант с горячностью.

— Какие именно?

— Слабительного ему дали, — сказал комендант. Видно было, что за Кузьму он будет стоять насмерть.

Хлебовводов удариł кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж и я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. Фарфуркис тоже заявил, что протестует, что товарищ Хлебовводов

опять пытается навязать Тройке несвойственные ей функции. Полковник вдруг проснулся, неожиданным басом рявкнул: «Кр-рокодил с крыльями? Ценно, очень ценно. Огнемет!» – и вновь заснул. Лавр же Федотович облизал бледный указательный палец и резким движением перебросил у себя в бюваре несколько листков, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря.

В эту минуту дверь распахнулась, и мрачный курьер, ни к кому специально не обращаясь, прохрипел:

– Кому здесь почту сдать?

На огромном, как сковорода, лице Лавра Федотовича проступило ледяное изумление.

– Почему нашей работе мешают? – осведомился он ровным голосом.

– Товарищ Фарфуркис, в чем дело?

– В чем дело, товарищ Зубо? – мгновенно остервенев, вскричал Фарфуркис. – Что за безобразие?

Комендант был уже на пути к курьеру. Он схватил этого мрачного мужчину за живот и вместе с ним вывалился в приемную, ногой захлопнув за собой дверь.

– Безобразие какое! – кипятился Фарфуркис. – Наглость какая!

– Уволить обоих, – кровожадно потребовал Хлебовводов. – Лезет, понимаешь, на заседание, как к себе в нужник...

Комендант снова вскочил в комнату, рысью подбежал к Лавру Федотовичу и принял что-то докладывать ему на ухо. «Вот оно! – шепнул мне Эдик. – Начинается!». Фарфуркис и Хлебовводов, изнемогая от ревности и любопытства, чутко задвигали ушами.

Черты Лавра Федотовича смягчились.

– Все? – с незнакомым выражением спросил он.

– Так точно, как есть все, – с горячностью подтвердил комендант.

Лавр Федотович горделиво поднял голову.

– Пусть корреспонденцию внесут, – приказал он.

– Заноси! – крикнул комендант.

Здоровенный курьер, пятясь задом, втащил в комнату обширный деревянный тюк, потом второй такой же, потом третий.

– Счастливицо вам оставаться, – сказал он, ни на кого не глядя, и удалился.

– Грррм, – произнес Лавр Федотович. – Ввиду не предусмотренного повесткой поступления большого количества корреспонденции от научно-исследовательских учреждений предлагается утреннее заседание прервать. Товарищам Фарфуркису и Выбегалло предлагается немедленно приступить к произведению разбора прибывшей корреспонденции и доложить предварительные результаты на вечернем заседании. Других предложений нет? Вопросы есть?

– Неужели же все это – из научных учреждений? – благоговейно спросил Хлебовводов.

– Да, – ответил Лавр Федотович просто. – И народу непонятно, что вас так удивляет, товарищ Хлебовводов.

– Нет, я это к чему?.. – сбивчиво забормотал Хлебовводов. – Я ведь это только к тому, что если все это из научных... тогда как же получается... тогда это же, надо полагать, все заявки, требования, поди...

– Есть такое мнение, что все это – заявки, – сказал Лавр Федотович и поднялся. – Заседание Тройки прерывается до восемнадцати ноль-ноль, – он выбрался из-за стола и, проходя мимо коменданта, в высшей степени благодушно обратился к нему: – Ну вот, товарищ Зубо, а крокодила вашего мы возьмем и отдадим в зоологический сад. Как вы на это посмотрите?

– Эх! – сказал героический комендант. – Лавр Федотович! Товарищ Вунюков! Христом богом... спасителем нашим... нет же у нас в городе зоологического сада!

– Будет! – пообещал Лавр Федотович и тут же демократично пошутил: – Простой сад у вас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит.

Взрыв предобеденного хохота побудил Кузьку еще раз сделать не-приличность.

Глава девятая

Вечернее заседание Тройки открылось в небывалой атмосфере всеобщего дружелюбия и взаимопонимания. Благостный и снисходительный Лавр Федотович щедро одарил всех папиросами «Герцоговина-Флор». Хлебовводов и Фарфуркис целую минуту уступали друг другу право первым проследовать за Лавром Федотовичем в комнату заседаний. Увлеченный нахлынувшим валом ренессанса, Выбегалло впервые за лето помылся, и теперь разил земляничным мылом. Полковник, то ли, наконец, отоспавшись, то ли наглотавшись черного кофе, бодрствовал и все время весело смеялся. В угнетенном состоянии духа пребывал один лишь комендант. Во время перерыва он застудил себе на огороде зуб и теперь мучился так, что Лавр Федотович счел себя обязанным поддержать его благосклонной шуткой: «Вот, товарищ Зубо, имели вы против нас зуб, а теперь этот зуб у вас и разболелся».

Мои магистры присутствовали в полном составе и тоже переживали ренессанс, хотя Витька ходил весь покрытый ожогами и залепленный пластирем, а от Романа остался один лишь его дефицитный нос да жгуче-черные глаза, которые он то и дело заводил под лоб от усталости. Я, честно говоря, все еще сомневался в успехе нашего предприятия и пря-



мо так и сказал им об этом. В ответ Витька коротко ответил мне: «Не бе!», Роман похлопал по плечу со странными словами: «Хороший у нас председатель, молодца, молодца!», а Эдик объяснил, что наше ближайшее будущее уже трижды проиграно на моделях и осуществится с вероятностью не меньше 0.99.

— Э-гхм! — произнес, наконец, Лавр Федотович, нарушая все традиции и обнаруживая перед нами неведомую ранее грань своей натуры. — Вечернее заседание Тройки объявляется открытым. Слово для сообщения о повестке дня предоставляется товарищу Фарфуркису.

Фарфуркис встал, заглянул в записную книжку и начал. Он сообщил, что, согласно утвержденной повестке дня, на сегодняшнем вечернем заседании должны были быть рассмотрены: дело номер девяносто семь, так называемый Черный Ящик, и дело номер шестьдесят пять гражданина Долгоносикова Н. П., называющего себя телепатом и спиритом. Кроме того, на вечернем заседании предполагалось дорассмотреть дело номер два о птеродактиле по кличке Кузьма. Далее, согласно повестке дня, предполагался еженедельный разбор жалоб, заявлений, а также информационных сообщений от населения и выдвижение наиболее выдающихся из рационализированных за истекший месяц необъясненных явлений на звание сенсации месяца для широкого опубликования в прессе. Однако, в связи с изменившимися обстоятельствами Тройка поставлена перед необходимостью коренным образом пересмотреть указанную повестку дня.

Он, Фарфуркис, счастлив сообщить, что сегодня в адрес Тройки прибыло около десяти тысяч заявок и требований на необъясненные явления от отдельных научных сотрудников и целых рабочих групп ста восьмидесяти различных научно-исследовательских учреждений и заводских лабораторий. Это свидетельствует о том, что ТПРУНЯ действительно представляет собою необходимейшее связующее звено между миром нашей науки и техники с одной стороны и миром необъясненных явлений — с другой. Но это же требует от нас, товарищи, решительного и принципиального пересмотра означенной повестки дня.

Он, Фарфуркис, со своей стороны, предлагает следующее. Рассмотрение дела номер пятьдесят пять и девяносто семь, а также дорассмотрение дела номер два отложить. (Аплодисменты). По возможности, быстро и без проволочек разобрать письма от населения и провести выдвижение сенсации. (Бурные аплодисменты). После чего вплотную перейти к центральному вопросу сегодняшнего вечернего заседания — к обсуждению положения, создавшегося в связи с притоком большого количества заявок и требований от научных учреждений. (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают).

Лавр Федотович, дождавшись окончания овации, выразил общее мнение, утвердив новую повестку дня, и предложил перейти к письмам от населения.

Писем оказалось семь.

Школьники села Вунюкино сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожай плохой, и внука своего, бывшего отличника, Василия Кормилицына, она превратила в хулигана и двоечника. Школьники просили Тройку разобраться в этой ведьме, в которую они, как пионеры, не верят, и чтобы Тройка объяснила научно, как она портит урожай и как превращает отличников в двоечников.

Братья Андрей и Борис Долгорукие из села Аргунька Уссурийского края написали, что поймана девочка-людоед, бежавшая из-за рубежа от преследования хунвэйбинов и прославившаяся воровством кур. Местные власти отдали ее в детский дом, и братья выражали сомнение в целесообразности такого решения. Они полагали, что ее надлежит вскрыть и отыскать новые законы природы.

Группа туристов из разных городов наблюдала в предгорьях Верхоянского хребта зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпал двух дежурных и скрылся в тайге, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будет оплачена дорога – хотя бы в одну сторону.

Житель города Китехграда Заядлый П. П. жаловался на соседа, второй год роющего подкоп под его дом. Письмо было послано из психиатрической больницы.

Другой житель Китехграда, гражданин Краснодевко С. Т., выражал негодование по поводу того, что городской сад загажен всякими чудовищами и погулять негде. Во всем обвинялся комендант Зубо, использующий отходы колонистской кухни для откармливания трех личных свиней и тунеядца-зятя.

Сельский врач из районного центра Бураново сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина Панцерманова, 115 лет, обнаружил у него в отростке слепой кишечник древнюю согдийскую монету. Врач обращал внимание Тройки на тот факт, что гр. Панцерманов (ныне покойный) в Средней Азии никогда не был и найденной монеты никогда прежде не видел. На остальных сорока двух страницах письма молодой эскулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза и четвертого измерения. К письму прилагались фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натуральную величину.

И, наконец, канадский гражданин М. Фербенкс прислал очередную порцию газетных вырезок относительно появления НЛО и осторожно осведомлялся о гонораре.

Все письма были зачитаны вслух и стремительно обсуждены. По обыкновению, они были переданы для ответа научному консультанту профессору Выбегалле. У Выбегаллы был огромный опыт такого рода работы. Он даже изобрел стандартную форму ответа: «Уважаемый (ая, ѿ) гр. ... ! Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса не представляют. Тем не менее, мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и личной жизни». Подпись. Все. По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы. Нельзя было не испытывать огромного удовольствия, посыпая такое письмо в ответ на сообщение о том, что «Гр. Щин просверлил в моей стене отверстие ипускает сквозь него отравляющих газов».

Затем Тройка, не теряя темпа, занялась выдвижением кандидатур на звание сенсации месяца. Каждый член Тройки предложил своего кандидата. Хлебовводу, например, нравился заведующий Китежаготском, который мог вынимать из карточной колоды заказанную карту, а также, держа карандаш в зубах, мог воспроизводить факсимile великих деятелей Китежградского района. «Такие люди на земле не валяются, – заявил Хлебовводов. – Таких нам надо выдвигать». Воображение Фарфуркиса потрясла девушка, которая очень ловко видела ушами и слышала глазами. Фарфуркис признался даже, что как частное лицо он уже отправил корреспонденцию о ней в журнал «Знание – сила». Корреспонденция называлась: «Она слышит, видя, и видит, слыша». Полковнику тоже предоставили возможность высказаться, и он, заливаясь детским смехом, поведал нам о своем проекте создания сверхзвуковой реактивной кавалерии. В заключение Лавр Федотович сказал «гrrrrm» и, выразив общее мнение Тройки, предложил на выдвижение сверлильщика Китежградского завода маготехники Толю Скворцова, регулярно перевыполняющего план на двести – двести десять процентов. Магистры и я встретили это предложение aplодисментами, потому что Толя Скворцов был прекрасный парень и хорошо нам известный. На том и порешили.

И тогда началось главное.

Слово о предварительном результате разбора прибывшей в адрес ТПРУНЯ корреспонденции было предоставлено профессору Выбегалле. Профессор доложил, что всего прибыло, значит, около десяти тысяч заявок и требований от ста восьмидесяти, по крайней мере, различных учреждений. Разобрано пока около тысячи заявок, все настоящие, на бланках и с печатями, всего на тридцать семь необъясненных явлений, в том числе, на дух Наполеона – сорок пять заявок, на вечный двигатель второго рода – тридцать девять заявок, на волшебный циркуль и волшебную линейку для трисекции угла – тридцать одна заявка, на эври-

стическую машину Машкина – двадцать две заявки и так далее. Среди приславших заявки действительных членов Академии Наук – семь, членов-корреспондентов – девятнадцать, докторов разных наук – семьдесят пять, а все прочие – сплошь кандидаты, магистры и бакалавры. Это, значит, у нас их тысячи. Если же, как говорится, проэкстраполировать, то есть умножить на десять, тогда получится всего этого в десять раз больше, то есть академиков получится семьдесят, членкоров – сто девятнадцать этцетера. Так нам говорит наука футурология. А о чем еще она нам говорит? Она вместе со всеми этими заявками говорит во весь голос о возросшем авторитете настоящей Тройки и, в особенности, о выдающейся роли в нашей жизни товарища Вунюкова, нашего уважаемого и дорогого руководителя. Се нотр опинье¹, закончил он и полез было к Лавру Федотовичу целоваться, но его задержал и остановил стол, заваленный энциклопедией.

Воспользовавшись паузой, Хлебовводов торопливо повторил доклад научного консультанта, безбожно переврав при этом все цифры, и заявил, что вот как эти академики ни старались, как ни выкручивались, а без нас, все-таки, не обошлись, потому что невозможно им обойтись без таких могучих государственных умов, как Лавр Федотович. Одно дело – всякие прутоны там гонять с электронами или, скажем, лекции почитывать, а другое дело – науку двигать и, вообще, осуществлять руководство, как он, Хлебовводов, например, в бытность свою главным бухгалтером «ВНИТАГОРА». Без нас науку не подвигаешь, я это всегда говорил и сейчас говорю. Старый конь борозды не испортит.

Полковник тоже внес свою лепту в обсуждение. Он предложил тост за новорожденного генерала, понюхал рукав и прослезился.

Фарфуркис же сразу взял быка за рога. Он доверительно сообщил нам, что социология все более властно вторгается в жизнь, как в научную, так и в административную. Невозможно теперь работать по ста-ринке, невозможно выносить произвольные решения о рационализации, не опираясь на социологические наблюдения. Времена волонтаризма кончились и не вернутся. Отныне и впредь каждое мудрое решение нашего глубокоценимого руководителя, нашего – я не боюсь этого слова, но поймите меня правильно – вождя, будет подтверждено необходимыми социологическими данными, как то: цифрами, графиками, анкетами и вычислениями.

Затем слово забрал себе Лавр Федотович. Он рассказал о новых задачах вверенной ему Тройки, вытекающих из возросшего ее авторитета и возросшей ее ответственности. Лавр Федотович предложил присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за повышение

¹ Таково наше мнение.

трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень всех и каждого, за здоровую критику и здоровую самокритику, против обезлички, за укрепление противопожарной безопасности, против зазнайства, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. Народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять еще более активно, чем раньше. Народ нам не простит, если эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше. Какие будут конкретные предложения по организации работы Тройки в связи с изменившимися условиями?

Я не без злорадства наблюдал, как было тugo с конкретными предложениями. Сначала Хлебовводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенные обязательства, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом Тройки комендант товарищ Зубо обязался бы увеличить свой рабочий день до четырнадцати часов, а научный консультант товарищ Выбегалло отказался бы от обеденного перерыва. Однако, это партизанское решение не встретило энтузиазма. Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, между прочим, что Тройке предстоит до истечения отчетного года рассмотреть еще пятьдесят три старых дела и, по всей вероятности, столько же новых. Более того, положение чрезвычайно осложнялось тем обстоятельством, что на каждое новое дело была не одна, не две, а десятки заявок и все на бланках, и все с авторитетными подписями, так что к хлопотам по рационализации и утилизации добавлялись еще теперь заботы по арбитражу. Далее случайно обнаружилось, что Тройка выполнила план прошлого года всею на шестьдесят два процента, а план минувшего полугодия – лишь на тринадцать процентов, и, кроме того, комендант мстительно напомнил Хлебовводову о существовании богатейшей залежи отложенных дел двух-, трех- и четырехлетней давности.

Только теперь, по-видимому, Тройка осознала, наконец, в какой глубокой луже она оказалась в связи со своим возросшим авторитетом. В распоряжении Тройки было два очевидных выхода. Первый – увеличить штат человек на десять. Однако, этот выход был лишь кажущимся выходом. Даже Хлебовводов понимал, что увеличение и без того раздутого штата может привести только к увеличению сроков прохождения дел за счет непропорционального увеличения количества болтовни и пререканий. Что же касается второго выхода, то с ним высунулся самый слабонервный из всей компании: профессор Выбегалло. Он предложил передать часть дел некоей Двойке в составе пяти человек, заседающей в городе Харахото и занятой рационализацией всего лишь одного необъясненного явления – электрического червяка олгой-хорхоя. Лучше бы

Выбегалло сидел себе тихо да копался в бороде, не высовывался бы, не малодушничал, не бросал бы тень и не делал бы попыток разбазаривать возросший авторитет Тройки... Когда с ним было покончено, он уже больше не высовывался. Он только икал и повторял одну и ту же французскую фразу: «Мон шер си ву кондуизезис ком у себя дома вуфинире тре маль»¹. Вот тут и наступила кульминация кризиса, которой, как видно, дожидались мои магистры.

Роман Ойра-Ойра поднялся и, скромно потупив глаза, сообщил, что присутствующие здесь представители, посоветовавшись между собой, решили предложить уважаемой Тройке посильную помощь, а именно – взять на себя арбитраж по делам, на которые поступило больше десяти заявок. Это идущее из глубины сердца альтруистическое предложение было встречено штыками и картечью. Больше и откровеннее всех орал Хлебовводов. «Много вас тут таких, – орал он. Арбитраж им подавай, видишь ты. Молод еще академиками распоряжаться! Небось, покуда у нас авторитет не возрос, сидел в уголку и хихикал, а теперь прилетел на готовенько, да еще на самый лакомый кусок зуб точит. Арбитраж ему, понимаешь ты, чтобы академики перед ним на задних лапках ходили! Нет, браток, не будет по-твоему. Не перед тобой они будут ходить...».

– Грррм, – произнес, выражая общее мнение, Лавр Федотович. – Какие будут еще преложения?

Выступил Фарфуркис и предложил установить твердую очередность дел в соответствии с количеством поданных заявок. Народ не может больше мириться с хронологической очередностью. Смешно разбирать дело, на которое подана лишь одна заявка, но давно, раньше дела, на которое подано сорок заявок, но недавно...

По-видимому, все шло по плану, потому что магистры немедленно и одновременно взвыли. «А как же мой Клоп», – плакался Эдик. «О, мой спрут Спиридон», – стонал Роман. «Несправедливо, старых клиентов зажимаете», – мрачно рычал Витька. «Обидно же, – подывал я. – Сколько ждали, сколько надеялись, за что боролись...».

Фарфуркис немедленно дал нам разъяснение. Он снова напомнил, что времена волевых решений окончательно и бесповоротно миновали. Раньше работа административного органа еще могла в отдельных случаях строиться на эмоциональной основе, без учета реальных требований народа. Теперь, же в связи с внедрением социологии мы всегда можем объективно сказать, что более, а что менее необходимо. Вы же грамотные люди! Если на дело подано сорок заявок, значит, это важно, нужно и особо перспективно для науки. Я лично всегда удивлялся, за-

¹ Мой дорогой, если вы будете здесь вести себя, как дома, вы кончите очень плохо.

чем вам, товарищ Ойра-Ойра, какой-то дикий спрут. Я, конечно, не вмешивался, я не специалист, но априорное ощущение совершенной ненужности этого спрута для большой науки никогда меня не покидало. И теперь я вижу, что я был прав. Во всей нашей огромной науке вы – единственный человек, кому понадобился этот спрут. С другой стороны, скажем, дух Наполеона – это, безусловно, нечто важное, необходимое для науки, что и подтверждается количеством поданных заявок...

Роман сокрушенно разводил руки, ронял на грудь повинную голову и каялся во всем. Мы все каялись, кто как умел, но толку от этого покаяния для Тройки, если не считать морального удовлетворения, не было никакого. Фарфуркис, конечно, выстроил дела в очередь, но при всем при том полусотня одно-заявочных дел по-прежнему продолжала висеть у Тройки на шее, угрожая сорвать план и вызвать нарекания народа. И вдруг осененный Выбегалло перестал твердить свое французское заклинание и сказал, что... эта... молоды они, конечно, еще, до арбитража им еще расти и расти, и до серьезных дел тоже, а вот нет ли средства, значит, приспособить их как-нибудь к этим малым делишкам, к этим крокодилам, клопам, пришельцам всяkim... Пусть бы поработали, опыта бы поднабрались... Только неясно вот, как это нам лучше провентилировать...

Наступила тишина. Мы замерли. Тройка раздумчиво переглядывалась. Фарфуркис листал записную книжку, в глазах у Хлебовводова, словно слабый огонек разума, замерцала надежда. Лавр Федотович терпеливо ждал предложений. Протекла минута, другая... и вот нечто прошелестело в воздухе. Где-то лязгнула дверь сейфа, затрещала пишущая машинка, пахнуло затхлой канцеляршиной, и странный, бесплотный голос прошептал: «Подкомиссию бы...».

– Грррм? – сказал Лавр Федотович.

– Да-да! – подскочил Фарфуркис.

– Вер-рна! – возликовал Хлебовводов.

Лавр Федотович поднялся.

– Выражая общее мнение, – провозгласил он, – предлагаю создать из присутствующих здесь представителей Подкомиссию по малым делам в количестве четырех человек с правом предварительной рационализации и утилизации малых дел. Подкомиссия подчиняется непосредственно председателю Тройки. Куратором Подкомиссии назначается товарищ Фарфуркис, председателем Подкомиссии – товарищ Привалов, как наиболее проверенный и активный представитель. Предлагаю товарищу Привалову доложить мне план работы Подкомиссии в понедельник в девять ноль-ноль. Другие предложения есть? Вопросы есть?

У меня были вопросы, у меня было множество вопросов и десятки предложений. Но Эдик и Роман мощным заклинанием Пинского-

младшего парализовали мои конечности, а грубый Корнеев с размаху залепил мне уста Печатью Молчания Эйхмана-Жова.

— Выражая общее мнение, — продолжал Лавр Федотович, — предлагаю товаришу Выбегалле в трехдневный срок разобрать и составить описание вновь поступивших заявок. Ответственный товарищ Хлебовводов. Предлагаю коменданту колонии товарищу Зубо завести новые дела в соответствии с поступившими заявками. Ответственный — товарищ... э-э... полковник. Товарищу Фарфуркису предлагается установить очередность дел и подготовить предварительные соображения по арбитражу. Другие предложения есть? Нет... На этом объединенное заседание Тройки и Подкомиссии по малым делам объявляю закрытым. Предлагаю Подкомиссии удалиться и приступить к исполнению своих обязанностей.

Поскольку я все порывался избавиться от Печати Молчания контрзаклинанием Израэля-Жукова, магистры сочли за благо превратить меня в три букета сирени и трансгрессировать прямо в наш номер. Там я получил обратно свой естественный облик, способность двигаться и способность говорить.

И я говорил.

Когда я выдохся, Корнеев сказал:

— Ну и грубян ты, Сашка. А я-то думал, ты у нас тихий, воспитанный.

— Нехорошо, нехорошо, — подтвердил Роман. — Да еще при посторонних...

Только теперь я заметил, что в номере, кроме нас, находятся еще двое молодых людей, судя по всему — младших научных сотрудников.

— Ну как? — спросил один из них с жадностью. — Выгорело?

— О, да! — сказал Роман. — Разрешите представить вам председателя Подкомиссии по малым делам товарища Привалова. Александр Иванович, это представители, — мелочь всякая, крокодилы им там нужны, клопы и так далее... А вот не угодно ли вам, Александр Иванович, начать заседание? Что нам тратить народное время?

И я понял, что тратить народное время действительно не имеет никакого смысла. Я забрался с ногами на Витъкину койку, упер руки в колени и оглядел всех мертвенным взглядом.

— Грррм, — сказал я. — Выражая общее мнение, предлагаю рационализировать дело номер девяносто семь, именуемое Черный Ящик, и передать его присутствующему здесь Привалову А. И. Другие предложения есть? Нет предложений. Принято. Протокол!

Передо мною лег протокол.

— Следующий, — провозгласил я. — Товарищ Корнеев, доложите!

Неустанно борясь с бюрократизмом и недооценкой собственных сил, мы за пять минут рационализировали и распределили Клопа Говорящего, Жидкого пришельца и спрута Спиридона. Затем, движимые стремлением внедрить здоровую критику и укрепить противовожарную безопасность, мы перераспределили снежного человека Федю лаборантом в отдел Эдика Амперяна. Ненависть к зазнайству и страстная любовь к трудовой дисциплине подвигнули нас отдать птеродактиля Кузьму под покровительство Володи Почкина. Письмо в Президиум Академии Наук об оказании помощи пришельцу Константину мы составили просто так, вне борьбы, из чистого альтруизма.

— А теперь, — сказал я злорадно, — долой обезличку! Да здравствует образцовое ведение отчетности! Сейчас мы переиграем старикашку Эдельвейса.

— Поздно, — сказал Роман. — Мне очень грустно, Саша, но Эдельвейса ты все равно что утратил. На него подана, в общей совокупности, двести одна заявка, и достанется он, несчастный, Кристобалю Хунте.

Я почтил память Эдельвейса минутой молчания, а потом спохватился.

— То есть, как? — сказал я. — Разве заявки настоящие?

— Ну, естественно, — удивился Эдик. — За кого ты нас принцимаешь?

— Обижаешь, начальник. Мы не уголовники какие-нибудь, — сказал Корнеев. — Мы работяги. Мы, если хочешь знать, всю научную общественность за эту ночь перетряхнули. Ты знаешь про такого зверя — солидарность научной общественности называется? Особенно когда дело касается товарища Вунюкова...

— О! — с чувством сказал я. — Это гениально.

Незнакомцы, сидевшие на подоконнике, деликатно, но нетерпеливо покашляли.

— Да, да, конечно, — сказал им Роман. — Времени у нас мало.

— Мало? — переспросил я. — Ты ошибаешься. Времени у нас нет вообще! У меня своих дел хватает, я не намерен заниматься председательствованием всю жизнь. Поэтому, вновь выражая всеобщее мнение, я объявляю первое и последнее заседание Подкомиссии в нынешнем ее состоянии закрытым. Предлагаю кооптировать вот этих типов на подоконнике в состав Подкомиссии, а всему нынешнему составу удалиться в длительный творческий отпуск.

— Правильное решение! — сказал один из этих типов, алчно потирая руки.

— Но имейте в виду, — сказал я. — Пока не прибудет следующая партия просителей, которых можно будет кооптировать, вы будете сидеть здесь, общаться с товарищем Вунюковым и набираться опыта на совместных заседаниях Тройки и Подкомиссии. Это вас закалит.

— Идет, — согласился другой из этих типов.

— И не забывайте содержать в полном порядке отчетность, — напомнил я. — Отчетность — это главное, — я собрал протоколы и встал. — Ну, ладно. Кто хочет, пусть ждет до понедельника. А я, председатель, сейчас пойду к Вунюкову и вышибу из него Большую Круглую Печать.

*Голицыно-Ленинград
март-май 1967 г.*



сторей Кулонцов
Сильва Ермакова



СКАЗКА о ДВОЙКЕ

— Мальчик, — сказал Экселенц почти нежно, — ты думаешь над этим едва полчаса, а я ломаю голову вот уже сорок лет. И не только я.

Аркадий Стругацкий,
Борис Стругацкий.
«Жук в муравейнике».

Они прошли полосу красных опасных мхов. Они прошли полосу белых опасных мхов. Они через многое прошли, разворочив муравейник застоявшихся идей.

С первых шагов Стругацкие были верующими людьми. Они верили в возможность создания Эдема на Земле и во Вселенной. Но что-то неизъяснимо грустное нет-нет да и проскальзывало в их первых повестях, пронизанных иногда режущим светом полдня XXII века. Солнце стояло в зените, и мир, освещаемый им, мир без теней, казался ясным и прекрасным в своей ясности. Стругацкие радовались открывавшимся перед человечеством возможностям и верили, что строительство Эдема в конечном итоге — всего лишь техническая задача, пока над далекой Радугой, планетой, превращенной коммунарами в райские кущи, не нависла черная волна, поднятая развитием науки «без берегов». Человечество было готово к решению этических проблем в экстремальной ситуации, грозившей гибелю его части, но едва ощутимые царапины тронули окуляр телескопа, обращенного к светлому будущему. Высочайший технический уровень цивилизации не снимал вопросов, извечно стоявших перед людьми. «Потемки» человеческой души были первой тайной, настигшей Стругацких в их странствиях по будущему. «Попытка к бег-

ству» в лучезарный мир не удалась. Тайна подстерегала в образе Аполлона ХХII века – физика Робика, с которого Стругацкие были готовы лепить «Юность мира». Поглощенный первым чувством коммунар оказался способен обречь на гибель чужих детей ради спасения возлюбленной.

В «Хищных вещах века» потемки души разрослись до размеров целого общества. Будущее, до сих пор представлявшееся в виде улучшенного до полного комфорта настоящего, стыло в безликой массе собравшихся на дрожку и растекалось волнами слега, загоняя людей в сладкомучительный мир индивидуальных грез, сжимавшийся до размеров собственной ванны. (В середине 60-х Стругацкие написали повесть, проблемы которой в конкретном развороте молодежной наркомании осознаны только теперь.)

Что-то случилось. Что-то произошло с социальной проблематикой. Нет, она не исчезла, но время от времени ее учащенный пульс падал до глухих редких толчков, едва пробивавшихся сквозь немоту предчувствий.

Урок «Соляриса» не пропал бесследно для братьев Стругацких. «Улитка на склоне» и «Пикник на обочине» уже были написаны, когда в 1973 году Андрей Тарковский ошеломил советского, да и не только, зрителя собственной версией лемовской повести. В основе ее лежала почти прозрачная для понимания идея: человечество перед лицом бога-Соляриса, неведомо как, неизвестно из чего и непонятно зачем творящего. Творящего, ибо это качество выступало как важнейшее, ведущее в восприятии одинокого разума, парящего во вселенной. Но если землянам ни его цели, ни способы достижения этих целей не были внятны, то Солярису люди виделись хрупким сосудом тайн и страхов, которые он им же и демонстрировал. Люди пугались себя, своего содержания еще больше, чем загадочного существа, к которому им казалось возможным приюровиться.

Когда в XX веке основанная на тайне религия перестала играть ведущую роль в конструировании общественного поведения человека, ее функции приняла на себя фантастика. Существовавшая испокон веку в виде социальных утопий, гениальных озарений (вроде подводной лодки Жюля Верна), невероятных превращений человека (в осла, невидимку и т. д.), современная фантастическая литература вобрала в себя главную тайну – тайну творения. Когда-то называвшееся Богом, затем Природой, это вечно творящее начало, смысла метаморфоз которого не понять человеку, обрекало его лишь на счастливые догадки и трагические прозрения. А если и раскрывало тайну, то навсегда изменяло душу и тело того, кто мог потрястись вдруг причудливостью соцветий на крыльях бабочки под летним солнцем и мучиться ее необъяснимостью. Изменя-

ло так, что люди шарахались с обывательским ужасом, как от мохнатой Мартышки Сталкера и его самого, вобравшего в себя Зону и веру в нее. А тем самым и знание, ибо вера есть знание, только не изъясняющееся в понятийных рядах. Право, дарвиновская теория порой кажется чем-то выхолащающим-ученым, излишне механистичным перед творческой мощью природы. Неужели же вся неистощимость природной фантазии была направлена к единственной и вполне утилитарной цели – выжить, выжить во что бы то ни стало? Но во имя чего?

«Улитка на склоне» и «Пикник на обочине» были темными вехами художественной эволюции мысли Стругацких. Тайна входила, властно и неотвратимо разверзая трагическую пропасть перед только что готовым раскрыть врата Эдемом. Она еще не была названа, но ее присутствие наполняло мысль о будущем липкими образами ночного кошмара. Тем более, что реальные темпы приближения к сияющей вершине вдруг оказались равными ходу улитки. Родилась страшная догадка, что желанная цель может предстать в виде чуждом и пугающем, вроде биологической ("лесной") цивилизации, а сам человеческий мир превратится в лужайку для пикника каких-нибудь жутких нелюдей. Человек сталкивался с загадкой творения, и это столкновение преображало душу до неузнаваемости. Вырывая из лап технократии, заповедная Зона подминала, калечила людей. И чтобы выжить в двойной переделке, двойной мясорубке, нужно было поверить в нее, не пытаясь разгадать и вычислить. Научному знанию творящее начало противилось с поистине нечеловеческой жестокостью. Но проклиная Зону, убившую славного парня Кирилла, Редрик Шухарт – Сталкер – не мог ее не любить, не мог в нее не верить. Потому она и дала ему силы на последний крик – мольбу о счастье человечества.

Позже тайна, прикинувшись повестью Стругацких, обрекла Тарковского на высокоталантливую неудачу. И мировая свалка вкупе с ортодоксальными верованиями уже ничего не смогли добавить кинематографическому Сталкеру. Он не принял Зону, а она, трагически усмехнувшись, отторгла от себя конкретизированное Тарковским требование чуда.

Чудеса происходили не по, а против желания человека. Даже не происходили, а просто обрушивались в нормальную жизнь ученых Дмитрия Малынова, Валентина Вайнгартера, Филиппа Вечеровского, за миллиард лет напоминая о возможном конце света. Стругацкие еще раз вернулись к конфликту с природой, может быть, потому, что не могли не любить науку. Их корабль лавировал между Сциллой биологического хаоса и Харибдой технократического космоса. Для детей цивилизации уклонение в одну из сторон означало гибель, поворот на «глухие, кривые окольные тропы». Стругацкие назвали тайну и тем самым убили ее.

Разгаданная, она уже не пугала. И Фил Вечеровский забрал незаконченные работы собратьев по науке вместе с проклятьем, которое насыщала на них природа за вторжение в ее заповедные зоны, насыщала в виде рыжих карликов, одурманенных красавиц, ударов молний и пр. Он выстоял право на владение тайной. Но самим Стругацким, похоже, оно уже не доставляло удовольствия, и позже устами Максима Каммерера было произнесено: «Я даже стараюсь никогда не употреблять принятого термина – «раскрыть тайну», я говорю обычно: «раскопать тайну» – и кажусь себе при этом ассенизатором в самом первоначальном смысле этого слова».

Пульс выравнивался. Социальная проблематика брала свое.

ПОЭЗИЯ СОЦИОЛОГИИ

Стругацкие вошли в литературу в период радужных социальных надежд. Они вошли в литературу вместе с Б. Ахмадулиной, А. Вознесенским, Е. Евтушенко, Р. Рождественским – поколением поэтов. Шестидесятым годам покровительствовали две музы – Урания и Эвтерпа – музы астрономии и лирики. Поэтические звезды тогда разгорались стремительно, уступая в яркости только звездам космонавтов. Казалось, что космос будет покорен в, той же стремительностью, с какой поэзия завоевала страну,

Святой уверенностью, что очень скоро на Марсе будут яблони цветести, были рождены и первые повести двух братьев – астронома и япониста. Но творческая система Стругацкий-Стругацкий, в отличие от других систем, сформированных 60-ми, оказалась удивительно мобильна и легко принимала в себя новые знания, точки зрения, иные системы координат. Неслиянное единство двух профессий и индивидуальностей, быть может, позволило им быть не просто конструкторами возможных схем разноудаленного будущего (хотя концепции Стругацких почти всегда нерушимо сбалансированы), но – предсказателями и звездочетами, меж складок мантей которых крылась тайна. Лирическая тайна, Стругацкие были самыми поэтичными социологами 60-х.

Да и не только 60-х, потому что рано осознали недостаточность излюбленного героя этих лет – абсолютизированного идеалиста последнего этапа материалистического учения, Героя, верящего, что высокий уровень цивилизации автоматически выдвигает на первый план вопросы духовного самоосуществления человека, что люди из «бывших» времен, создай им полную независимость от экономических проблем, тут же и «перестроят» свое восприятие жизни.

Стругацкие заговорили о трагичности духовной перестройки, хотя первый раз идея была опробована в повести «Стажеры» вполне в духе

60-х, Город коммунаров там благополучно сосуществовал с капиталистическим миром, выдерживая любое негативное проявление другой стороны. В тот момент Стругацкие верили, что благим примером можно попытаться изменить мир. На этом стажировка закончилась. В «Попытке к бегству» они показали, чем кончаются безответственное прекраснодушие и забвение исторических уроков, затронув проблему, ставшую затем определяющей для многих вещей, – возможности, необходимости и последствий вмешательства высокоразвитой цивилизации в дела тех, кто подобного уровня не достиг.

Тип героя, героев – Вадима и Антона, их профессии структурального лингвиста и звездолетчика – подсказали Стругацким шестидесятые. Наивные, добрые мальчики, выросшие в условиях коммунизма, никогда в жизни не встречавшиеся со злом, свято верившие в то, что человеку достаточно сказать, как можно и должно жить хорошо, чтобы он и стал жить хорошо, были удивительно похожи на героев тех лет, немногим отличавшихся в социальной осведомленности от коммунаров Стругацких. При этом они сделали вещь, которую никто тогда сделать не додался: столкнули героев, пересаженных из светлых 60-х в далекое светлое будущее, с человеком, странным, непонятным образом (Стругацких совсем не интересовал вопрос механики фантастических превращений) вырвавшимся из концентрационного лагеря. Эффект получился неожиданным. Саул Репнин, недавно испытавший весь ужас XX века, оказался более подготовленным к восприятию возможных проблем будущего, чем мальчики, выросшие при коммунизме. «Прививка зла», отсутствовавшая у них, оказалась необходимой человечеству, чтобы на чужом примере понять и заново пережить урок истории. Наивность при столкновении с жестокой социальной несправедливостью рождала ослепительную идею пятилетней переделки рабов в коммунаров. У Саула иллюзий не было: он-то знал, какой ценой покупается такая наивность. Репнин и стал первым профессором – человеком, пытающимся ускорить ход чужой истории.

Его попытка вмешательства в дела планеты Саула закончилась полным крахом, но сами Стругацкие отстаивали идею прогрессорства как тяжелого, отмеченного потерями, но единственного возможного пути цивилизации коммунаров. «Простите меня, – говорил Саул, расстреляв обойму. – Сердце не вытерпело. Я просто не смог. Надо было хоть что-нибудь сделать». Сердце не выдержало, но еще могло терпеть. У следующего прогрессора – Антона – оно разорвалось,

«Трудно быть богом» выламывалась из литературы 60-х и воспринималась (позже и до сих пор) с болезненной обостренностью. В первый и последний раз лирическим героям повествования стал человек, сердце которого разрывалось от Любви. Оно разрывалось на протяже-

нии всех мытарств Руматы Эсторского – прогрессора, милого мальчика Антона (не он ли так доверчиво пытался переубедить гитлереныша с планеты Саула, угощая его вареньем?). И оно разорвалось. «Душа не выстрадала счастья», но отстрадала право на Любовь.

Стругацкие никогда больше не давали восприятия мира такими горячечными от любви и ненависти глазами. Все описания в повести располагались на двух точках? или нежной жалости, той жалости, которую знает только большая Любовь, или презрительной Ненависти, даже презгливости... Бледный от пьянства, тоже почти мальчик, поэт Цурэн, выкрикивающий строку сонета «Как лист увядший падает на душу», сломленный духовно Гур-сочинитель, переломанный физически Арата Горбатый (когда-то Красивый), пропавший арканарский Кулибин-Кабани, – все они (привлекательно-отталкивающи? отталкивающе привлекательны? – да нет же!) показаны с той беспощадностью, на которую способна только демонстрирующая их, обращенная к ним Любовь. Стругацкие истекли любовью в эту повесть, как истекают кровью смертельно раненые пониманием несовершенства мира люди. О ней можно было бы сказать, что она написана трясущимися от гнева руками, как лучшие романы Достоевского и Салтыкова-Щедрина. Никогда больше, если не считать социально разъяненной «Сказки о Тройке». Стругацкие не позволяли себе «взрывать» сердце, ибо его осколками можно ухаждать очень много априорно любимых людей.

Румата-Антон был хорошим актером, он был профессиональным актером, то есть никогда не проживал предложенного персонажа. Участие в историческом спектакле раздирало его душу на две неравные части, одна из которых мешала профессионализму другой. Ируканский Дон Жуан хорошо играл свою роль, лишь до того момента, пока роль не грозила его съесть – Антона, а не Румату Эсторского. Он был слишком разборчив – непрофессионально разборчив. Не для актера – для прогрессора. И Максиму Каммереру не довелось стать Дон Жуаном Обитаемого острова не потому, что его вымутило бы в пикантной ситуации, а потому, что стихийно выбранная им роль не предполагала таких условий игры. С игры. С Каммерера грязь соскачивала, как с прорезиненного, и, пользуясь определением арканарского люда, ноги этого бога, вышедшего из болот, были чисты. Он, Каммерер, уже был, то есть стал богом. Румата же так и выдохнул из глубин души: Трудно быть Богом. Он не был прорезинен профессионализмом, его можно было свалить и запахом, и ударом в спину. Каммерер же и радиоактивный фон воспринимал как досадную, но устранимую помеху, и в спину получить не мог – интуитивно не подставлял, а то и пули из себя изгонял.

Настоящие прогрессоры уже не были ни так болезненно ранимы, как Румата, ни так обостренно чувствительны. Они были профессионалы.

Даже мечущийся по Земле в поисках себя Лев Абалкин, так видимо страдающий и так здраво мучающийся, любил эту работу. Она ему нравилась. Нет, не муки сердца, не ощущение бессилия в восстановлении социальной несправедливости, не невозможность проявить любовь к талантливым и до конца не осознающим собственную талантливость людям бросили Абалкина на путь преступления. Но с каждой новой книгой герои испытывали все более возраставшее удельное давление непредсказуемых последствий прогрессорства на нравственную позицию человека. В «Обитаемом острове», где счастливая развязка приключений Каммерера сглаживала некоторую тень сомнений, упавшую на прогрессорство, Стругацкие не дали развернутой картины центрально спланированных акций спасения как следствия деятельности коммунаров, вооруженных базисной теорией исторических последовательностей. Эти акции стихийные и часто бесполезные, предпринимал Каммерер, попавший на Саракш, как кур в оцинк, и выворачивающийся из положений почти нечеловеческими усилиями личных человеческих качеств. Он – действующий – просто мешал планам Рудольфа Сикорски, не стихийно-прирожденного, а профессионального прогрессора, планам, которые скорее обнаруживали всю сложность положения Земного Эмиссара, нежели его активную деятельность. И безнадежность в голосе Сикорски, когда он предлагал Максиму забрать влюбленную Раду и валиТЬ домой, заставляла задуматься о его отношении с социальному энтузиазму нежданного прогрессора так же, как и к деятельности землян на Саракше вообще. Похоже, что самого-то Экселенца держало только слово «нужно».

Позже и Сикорски, и Каммерер, и Тойво Глумов – блестящие прогрессоры – оставили свою деятельность ради контроля, ибо мысль о возможном проникновении сверхцивилизации Странников на Землю стала ужасом их жизни. А к самим Стругацким пришла мысль, что институт прогрессорства держится на инерции мышления и дотаций, и любимый не только авторами Горбовский сказал – высшие цивилизации и прогрессорство несовместимы.

И опять что-то произошло с социальной проблематикой. И профессор ощутил себя страшно одиноким. И чтобы скрасить его одиночество среди землян и других гуманоидов, Стругацкие попытались найти преданное ему существо...

КАК ХОРОШО ИМЕТЬ ГОВОРЯЩУЮ СОБАКУ...

Братья Стругацкие сидят над обрывом, свесив вниз ноги, и бросают камешки по кустам. Гайки они тоже бросают. Смотрят, что получается.

Вообще-то задача – выманить из кустов говорящую собаку. Иметь такую собаку хорошо. В этом сомнения нет. Правда, где-то недалеко шляется какая-то Альма, над которой злые дяди в ФРГ произвели вивисекцию, и она нудно навязывает услуги советским разведчикам сплющененным голосом. Надо понимать, в отместку. Но, во-первых, это на краю памяти, во-вторых, чужая повесть. И, в-третьих, братья не любят мучить животных.

Конечно, время от времени из кустов вылезает Домарошинер. Клавдий Октавиан. Но опять же вид у него, как у человека. К тому же, это глупая и, если глупость заденешь, злобная собака. Подлежит самоискоренению. Неудачная мутация. А что удивительного? Ходят всякие, учат, сосредоточиться не дают.

Так. Начнем с простого. Говорящие собаки – это уже уровень Эдика Амперяна, даже Витьки Корнеева. А мы еще не достигли. Мы еще молоденькие. Мы еще – камешек в кустик. Оп! Ну-те-с, кто же это там у нас? Ага, машинка. Даже машина. Ого, танк-вездеход! Куда же тебя с таким профилем, да с гусеницами, да с манипуляторами? Кроме как на Венеру, пожалуй, что и... А вот как тебя назвать? Циклопом назвать, как у Лема? Или, допустим, так назвать – Танк Вездеход Имени Непобедимого Научного Дерзания Лучшей Части Человечества? Суховато как-то... А назовем-ка мы тебя – Мальчик! Будет в тебе что-то такое, преданное. Вот эта преданность и есть наш первый вклад в идею создания говорящей собаки.

Недолго сказка сказывается. Долго сидят братья, свесив в обрыв ноги. Бросают камешки по кустам. Но вообще-то с кустами надо поосторожнее. А то кинешь камешек – хрись! И – в чужой белый рояль. Бывали такие случаи. Тут Камноедов и накинется:

– Товарищи авторы! Вы что о себе вздумали?! Белый рояль заинвенцирован! Как народное достояние! Если каждый писатель будет разбазаривать белый рояль, то никаких кустов не хватит! Так мы никогда не докажем, что тунгусский метеорит был посланцем этих... как их... Светлого Будущего на Атомной Тяге! Прекратить!

И, бывало, прекращали. Действительно, братьям поосторожнее бы с камешками да с гайками. По одному. А то вот кинули горсть и попутно изменили программу. Братья и писатели, зачем вам понадобился семи ногий баран без мозжечка, шесты на колесах, паровозы с глазами и прочая гадость? Признаем, что это послужило авторам уроком. В дальнейшем даже самые негуманоидные киберы были способны на высоконравственный поступок. Например, открыть банку с ананасовым компотом обезвоженному археологу, который, не думая о насущном, ухилялся с Земли на попутном чужом звездолете-автомате. Вообще, если не придержаться к чистоте эксперимента, становилось все интереснее. Попутно

было сделано открытие – важно не количество камней и кустов, а их качество. Отлично сформулировано! Братья выбирают один, но серьезный камень, один, но серьезный куст, и... Нет, говорящая собака еще не появилась. Но какие роскошные перспективы! Вдумайтесь, вдумайтесь! Говорящие коты! Говорящие щуки! Отрада детства, ностальгия академиков. Знаменитый Бегемот не был склеротиком, ну и что? Склероз у говорящего кота очень обаятелен. Ведь – не начальник, сказитель. А титанический акт перевоспитания и постановки на службу РДВ¹ вампиров, домовых и ведьм! Зачисление гекатонхеев на твердые оклады вахтеров – это же культурная революция!

Какая добрая фантастика появлялась из радужных, горнодышащих кустов! Как смешон, а не страшен был профессор Выбегалло, нес па?² Как в сущности легко оборим его гений-потребитель – вывезли на полигон и дело с концом! Как прочно был закрыт отдел оборонной магии. Последние пьяницы, вроде Хомы Брута и Х. М. Вия перевоспитывались энтузиастическими программистами, и по-над золотыми рыбками добрые люди творили добрые дела под трепет крыл контрамотных попугайчиков.

Да-с... Признаемся, положа руку – это здорово было! Вспомнить приятно. Только вот ведь факт – Говорящая Собака не выманивалась. Что-то не вытанцовывалось на оживленных вечеринках энтузиастов понедельника, начинающегося в субботу. Наверно, авторам было очень трудно. Даже мучительно. И ведь цели были ясны. И задачи определены, настолько ясны и определены, что реальная картина мира скользила куда-то вбок из фокуса видения, как выскакивает из-под пальцев гладкий и скользкий шарик.

А вокруг все ходили домароцинеры и не унимались камнеедовы. А заселившие Подкаменную Тунгуску пришельцы, расширяя зону Контакта добрались до обрыва, где сидели, свесив ноги, и думали братья, и изрекли:

– И правильно. И неча. Сидят тут, понимаешь, и думают, понимаешь, шерсть на носу! Одному такому дали по соплям, он сам думать перестал и детям заказал, шерсть на носу!

– О! – сказали авторы. – Это мысль! – И бросили камешек туда, где думать было бессмысленно.

Камешек упал в обрыв прямо под ноги братьям. Иногда хорошо взглянуть под ноги. Как только взгляд последовал за камнем и уперся в дно, которое дном вовсе не было, стало ясно, что пройдена половина пути до Говорящей Собаки, а вокруг – сумеречный лес. Молодые энту-

¹ Разумное, Доброе, Вечное.

² Не правда ли? (фр.)

зиастические ученые остались на обрыве, и энтузиазм почти не проматривался – рефракция атмосферы здесь была ужасная. Мир искривлялся, заворачивался, замыкался на себя, а лес тянул к ним пальцы-лианы, прораставшие сквозь комбинезоны, и окружал, и наскакивал на них прыгающими деревьями, и пугал страшными рукоедами, так что двум братьям пришлось слиться в одного, чтобы не потеряться на болотистых кочках среди мертвых парных озер, куда проваливались деревни, и все следы лес зализывал буйной своею жизнью, не оставляя проходов в загадочном теле.

А жители загадочных деревень говорили:

– И чего ты все бегаешь? Бегаешь и бегаешь. Тебе чего нужно? Ты скажи, чего тебе нужно? Вот жену тебе дали, но тебе, видно, жены не нужно. И дом у тебя, и бродила вдоволь, а тебе не нужно. Тебе, вишь, собаку нужно. А ее нету, никакой собаки-то, а ты все бегаешь. Посидел бы, нас бы пожалел.

Он жалел, но надо было не забывать о Говорящей Собаке, потому что чувствовалось – она недалеко. И дальше, дальше, через Лес. А потом, словно издеваясь над целью поиска, появились мертвяки, белые, горячие, страшные, в сопровождении Хозяек. И молодые женщины были страшнее мертвяков и допытывались:

– Ну что, козлик, нужна говорящая собака, ишь ты! Любит сладенько! – И гладили рукоедов, и свивали их в узлы. – А ты можешь сделать живое мертвым?.. Убить?.. Убить и рукоед может. Нет, сделать живое мертвым.

Но это было непонятно и нелюбимо, и главное было – не сбиться, потому что с обрыва доносились отрывки выборных собраний и выстрелы стартовых пистолетов, а крестьяне тянули свое: «Ты пожалей, пожалей нас!» А женщины требовали: «Сделай живое мертвым». И надо было помнить о собаке.

А потом был взрыв, и стало ясно, что корабль погиб, и что назад не вернуться, и река была сильно радиоактивной, и лес был радиоактивный и пер танк, злой и радиоактивный – алтер это почти забытого Мальчика. И не было в нем никакой преданности, кроме преданности убийству. И выскоцил Бойцовский Кот без всякого склероза и никакой не сказитель, а детина в форме ротмистра и каркнул: «Отставить собак! Немедленно в машину! Буду стрелять!» Достал из трости нож и кинулся на Раду, и пришлось его убить.

А потом Гай, старина Гай, добряк и умница, брызгая слюной, орал, что это – мутанты, убийцы! И ничего нельзя было доказать, потому что никто не хотел думать.

Среди всего этого Братья По Разуму с Тунгусского Метеорита письменно заявляли о бесперспективности поисков, потому что у них на

четвертой планете тройного розово-голубого солнца, на прекрасной Счастливии, говорящих собак не водится и вам не советуем, так как дезориентируется многочитающая молодежь и Огненосные Творцы будут недовольны.

И как всегда в неразберихе и панике событие проскочило мимо. И авторам, которых к тому времени на планете стало опять двое, массаракш, было невдомек, что они уже встретили ее. И не узнали.

Только позже, когда братья получили возможность вернуться на обрыв, и ими завладела другая, очень важная идея, когда они почувствовали, что в них самих может крыться нечто чрезвычайное и огромное, они кинули камешек, и из кустов появилась Говорящая Собака – Щекн Итруч, разумный киноид, голован.

Авторам лучше знать, как выглядят реализованные П-абстракции. Теряют ли они что-нибудь в реализованном виде. Им лучше знать. Потеряла ли что-нибудь говорящая собака, реализовавшись? Да нет, наверное. Это – одно из самых обаятельных и загадочных из знакомых созданий. Его феноменальные способности, его гастрономические привязанности, сам вид эдакой большой чау-чау вызывает уважение и умиление. Но вот личный кот авторов Калям, согласившийся пережить ряд метаморфоз на страницах произведений своих хозяев, и, вероятно, поэтому потерявший охоту разговаривать, остался преданным животным и никуда не ушел от Дмитрия Малянова, на которого ополчилась вся Вселенная.

А Щекн... Возможно, он обиделся, что авторы не признали его как реализованную мечту. Возможно. Голованы странно, даже неожиданно обидчивы. Они, наверное, ничего не прощают. А замечают все. И когда Щекн «ссотоварищи» почуяли, что в человечестве вызревает Нечто, они повернулись и ушли. С ними няньялись и цацкались. О них заботились, теряя слони умиления. Их лечили, их кормили, любили их, массаракш и массаракш! А они повернулись и ушли. Потому что разглядели грядущее несчастье. Что это доказывает? Ничего» Кроме того, что Щекн Итруч почуял нелюдей.

...И ОТДЕЛИЛИ ЛЮДЕЙ ОТ НЕЛЮДЕЙ...

Нелюди появились почти сразу. Существование в человеке нечеловеческих возможностей начало мучить Стругацких еще на Далекой Радуге. Камилл – один из 13-ти (чертова дюжина!), срастивших себя с машинами, – был первым Агасфером человеческого мира. Посмотрев на него, Стругацкие поняли, что, выходя за пределы людских возможностей, теряя способность потерять жизнь, новорожденный бог обрекал себя на кромешное одиночество. И тосковал, как Малыш, превращен-

ный цивилизацией другой планеты в нелюдя, по человеческим контактам; и метался, как Лев Абалкин, под воздействием программы, заложенной в него неведомыми космическими Странниками; и негодовал, как Тойво Глумов, пытаясь отловить контрпрогрессоров, вмешивающихся в земные дела; и все-таки уходил, потому что был homo ludens'om – человеком играющим. Не живущим, а играющим в жизнь или множественность жизней.

Что-то претило Стругацким в самой идеи игры с людьми. Может быть, потому, что она казалась им нечестной, как игра Бога с человеком, где ставкой одного была собственная жизнь, а другой не ставил на карту ничего, уверенный в заведомом выигрыше. (Не потому ли Стругацкие разлюбили институт профессоров, что эта программа оберегалась застрахованным результатом?).

Может быть, потому, что людины – новая генерация, родившаяся, сформировавшаяся в недрах человечества и ушедшая от него в повести «Волны гасят ветер», – были не способны на страдание и сострадание.

Может быть, потому, что в этих ангелах космического Эдема простили черты вечного скитальца и выяснилось – не только люди неинтересны ангелам, но и ангелы неинтересны ангелам.

Может быть, потому, что в этих люденах было нечто, пугавшее даже зверей.

Может быть, потому, что в людях было нечто, отличавшее их от нелюдей.

Милосердие – вот главное для человека, поскольку предполагает возможность и радость от существования других, на него не похожих. И оно предполагает невмешательство в дела других до первого призыва о помощи. И тогда человек способен пожалеть человека. Он способен пожалеть ангела. Он способен пожалеть Агасфера. Он способен пожалеть даже Бога с поистине божественной широтой.

Они сказали что-то очень важное. Настолько важное, что при чтении порой кажется: самое главное они оставили в зонах молчания; они просто не хотят говорить прежде, чем человек дойдет до этого сам. А уж когда дойдет, ему не потребуется дополнительных объяснений.

...НЫНЕ ДАЮ Я ТЕБЕ ТРИ ЗАВЕТА...

БОРИС СТРУГАЦКИЙ:

Нужно быть оптимистом. Как бы плохо вы ни написали вашу повесть, у вас обязательно найдутся читатели, тысячи читателей, которые сочтут ее шедевром.

Нужно быть скептиком. Как бы хорошо вы ни написали свою повесть, обязательно найдутся читатели, и это будут тысячи читателей, которые сочтут ее сущим барахлом.

Нужно просто трезво относиться к своей работе. Как бы хорошо и как бы плохо вы ни написали свою повесть, всегда найдутся миллионы людей, которые останутся к ней совершенно равнодушны.



От составителя

Первое, что я прочел из фантастики (без малого тридцать лет назад), было: «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких, детлитовская книжка с рисунками Евгения Мигунова.

Первое что я перепечатал в самиздате (без малого двадцать лет назад), было: «Сказка о Тройке» братьев Стругацких, разумеется и к сожалению без иллюстраций.

Первое признание в любви к братьям Стругацким, под которым я бы подписался и о котором сами братья отзывались: «ТАК о нас еще никогда не писали!», было эссе «Сказка о двойке» Андрея Кузнецова и Ольги Хрусталевой (без малого пять лет назад).

Первое желание возникшее (без малого год назад) с приходом подлинных энтузиастов на смену вымирающим ящерам-гослитиздатам, было: книга братьев Стругацких с «Понедельником ...» и «Тройкой...» под одной обложкой – и, конечно же, с рисунками Евгения Мигу нова, и конечно же, с послесловием Андрея Кузнецова и Ольги Хрусталевой ... Этакий «all stars», этакий «the best», этакий литпамятник – о недалеком прошлом, о настоящем (и не только в смысле временном, но и качественном) и на – будущее.

Кстати, о будущем...

Первое, что прочла моя дочь из фантастики, было: «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких, детлитовская книжка (та самая) с рисунками Евгения Мигунова.

Кстати, о будущем...

«Постарайтесь понять, (...), что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какое-нибудь из них».

Да уж, Янус Полуэктович. Да уж...

P.S. А «Сказка о тройке» в этой книге – тот самый первый вариант, которых (вариантов) ныне два, даже... м-м... три. А еще точнее – окончательный, последний, «канонический»...

«Но это уже совсем-совсем другая история».

Андрей Измайлов.

Содержание

АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ, БОРИС СТРУГАЦКИЙ

Понедельник начинается в субботу	7
Сказка о Тройке	206

<i>A. Кузнецов, О. Хрусталева</i>	
Сказка о Двойке	370
<i>A. Измайлов</i>	
От составителя	383